



נכתב בישראל
НАПИСАНО В ИЗРАИЛЕ

יעקב שבתאי



זיכרון דברים

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ישראל

1977

Яков Шабтай

МЕМОРАНДУМ ГОЛЬДМАНА

перевод с иврита и послесловие
Наума Ваймана



Израиль
2026

ЯАКОВ ШАБТАЙ

МЕМОРАНДУМ ГОЛЬДМАНА

Роман

*Книга в переводе на русский язык публикуется
с любезного разрешения вдовы писателя
Эдны Шабтай, и его дочерей Хамуталь Шабтай
и Орли Фокс-Шабтай*

ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«КНИГА СЕФЕР»



ISBN 978-965-7848-88-3

Редактор проекта Алла Борисова-Линецкая

Верстка, оформление, марка серии

Юлия Дозорец

Издатель Виталий Кабаков

Фотографии Дана Хадани

ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר,
הספרייה הלאומית

© עדנה שבתאי, חמוטל שבתאי ואורלי פוקס-שבתאי 2026

© Наум Вайман, перевод на русский язык, 2026

© Dan Hadani Collection, The Pritzker Family
National Photography Collection, The National
Library of Israel

© Юлия Дозорец, оформление, 2026

© Книга Сефер, издание, 2026

*Моей матери, Маше Шабтай,
в девичестве Померанц*



Отец Гольдмана умер первого апреля, а Гольдман скончался с собой первого января, именно в тот момент жизни, когда ему показалось, что теперь, благодаря собранности и сосредоточенности, перед ним открылась перспектива новой жизни, что он находится на пороге обновления с помощью «Бульворкера» и самоконтроля, а в основном благодаря астрономии и переводу «Сомниум¹». Только Цезарь обратил внимание на это странное совпадение дат смерти Гольдмана и кончины его отца, и даже отметил это несколько дней спустя после похорон Гольдмана, когда стоял на кухне с Израэлем и тот разливал им чай, но он отметил это как курьез, не имеющий никакого значения, потому что к тому времени Цезарь уже совершенно пал духом и не был готов даже к малейшему усилию сверх самых непосредственных надобностей, и в этом болезненном состоянии растерянности (при этом он продолжал одеваться по последней моде с ее кричащей расцветкой, отращивать усы, курить самые дорогие сигареты, жрать до отвала и гоняться за каждой юбкой), когда все его мысли и оставшиеся душевные силы сосредоточены на болезни старшего сына, находившегося в безнадежном состоянии, Цезарь уже смотрел на жизнь либо как на затянувшийся и беспощадный разгром, либо – как на великий случай, из которого нужно выжать максимум наслаждений, в минуты просветления и раскаяния, которые случались у него время от времени, он называл это «веселым

¹ *Somnium* (по-латыни означает «Сон») — полное название: *Somnium, seu opus posthumum De astronomia lunari* — роман, написанный на латыни в 1608 году Иоганном Кеплером и считается первым серьезным научным трактатом по лунной астрономии. Карл Саган и Айзек Азимов называли его одним из самых ранних произведений научной фантастики.

самоубийством». Единственным человеком, кто без сомнения постарался бы расшифровать тайный смысл этого совпадения дат, мог бы быть сам Гольдман, но он уже умер. На самом деле, тут не было, конечно, никаких тайных знаков, кроме тех, что Рухама, сводная сестра Цезаря, наверняка обозвала бы с иронией «литературщиной», просто в начале нового года, как в начале каждого года, да, в сущности, почти каждый день, Гольдман собирался, будучи не в силах нести «бремя существования», начать все сначала, открыть новую страницу жизни, которая станет полным освобождением от прошлого и переходом к другому образу жизни (или, если употребить его собственное выражение: к «другому типу бремени»), в этой новой жизни должна быть полная свобода и абсолютная определенность, он старался верить, что такое возможно, вопреки своей трезвости и верности рационализму (кроме одного периода, когда, изменяя своим социалистическим убеждениям, он неудачно попытался приобщиться к религии), а что касается смерти отца Гольдмана, Эфраима, то можно было бы вообразить, что он собрался таким образом пошутить, умерев именно первого апреля: это был единственный доступный ему вид юмора, кроме фокусов, довольно простых, хотя забавных, и в любом случае давно позабытых, когда-то он демонстрировал их в редкие минуты веселости. Его жена Регина, которая через несколько дней после похорон стала называть себя Стефана, увидела и в этом проявление его злобы и мстительности, и не потому что он решил умереть первого апреля, а потому что в тот день налетел тяжелый сухой ветер, возвестивший о приходе ненавистного ему лета, и продолжался без продыху и на следующий день похорон, даже усилился, казалось, будто весь город, залитый мутным светом и спелёнатый горячим, как из печи, воздухом, вот-вот рассыпется и превратится в облако тонкой пыли, а обжигающий восточный ветер медленно поднимет его и рассеет в пустых, затуманенных небесах, и посреди неба торчало и гнало страшный жар солнце, жар не спадал даже ночью, и Израэль, которому с трудом удалось задремать после того как он принял душ и простоял целый час на

балконе, глядя на темные и безлюдные улицы, проснулся до рассвета и провалялся почти весь день в своей комнате в студии Цезаря, растянувшись на узкой кровати, покрытой коричневым пледом из толстой и грубой шерсти. Поутру он еще сел за рояль, чтобы продолжить работу над «Вариациями Гольдберга», но вместо этого, пока жара и слабость не разморили, непринужденно сыграл на память «Сарказмы» Прокофьева. Уступая жаре, он вновь растянулся на кровати, и его мысли, путавшиеся, мелькавшие и бесследно исчезающие в голове, каким-то образом зацепились за принца Кайзерлинга из Дрездена, который страдал бессонницей, и за его придворного цимбалиста Иогана Готлиба Гольдберга, и он стал играть этими словами, которые тасовались в голове без всякого смысла, с приятной однообразностью соединяясь сами по себе в разных калейдоскопических сочетаниях: Иоган Гольдберг Готлиб Дрезден Кайзерлинг Гольдберг Голден Иоган Кайзерлинг Готлиб Дрезден Готлиб Иоган Кайзер Иоган Готберг Готлинг Либерг Иоган Дрезден Гольден, при этом его взгляд ползал, как паук по зеркалу, отражаясь в нем, по потолку, по запыленной неоновой лампе, по белым, но испачканным стенам, на них, как и на широкой двери между двумя комнатами, были развешаны цветные фотографии заснеженных гор, озер и зеленых деревьев, фешенебельных автомобилей и загорелых сексапильных девиц в бикини, или совсем голых. Часть снимков были сделаны самим Цезарем и развешены им с помощью кнопок и изоленты, они радовали взгляд и в то же время служили тщеславным свидетельством его гедонической жадности, откровенной и безудержной, которую он унаследовал от отца, Эрвина, а кое-что усвоил и сам, и демонстрацией соответствующего образа жизни, к которому он был верен с гордостью и неутомимо. Только на фронтальной стороне рояля, там где место для нот, в углу, висела почтовая открытка, которую принесла Израэлю Элла, она же и поместила ее в этот угол, с фрагментом из «Святого Франциска» Эль Греко, где был изображен высокий и худой человек с удлиненным, обрамленным черной бородой, очень серьезным, даже грустным лицом, опустившийся на колени,

закутанный в нечто похожее на тяжелую монашескую рясу и держащий в руках череп мертвеца, он показывает череп юноше гораздо меньшего роста, чем его наставник, юноша расположен рядом, тоже на коленях и в такой же монашеской рясе, голова его, как и голова пожилого человека, покрыта капюшоном, он молитвенно сложил на груди руки и, закатив глаза, смотрит на череп наивным и испуганным взглядом, тогда как во взгляде пожилого светится мудрость, а главное – чувство примирения с неизбежной участью. Белый луч солнца, проникший через щели жалюзи правого окна, выходящего на улицу, упал на открытку, и Израэль, очнувшись от глубокого сна, весь в поту, рассеянно посмотрел на юношу, на пожилого и на череп, и услышал шаги Цезаря, который, почти бегом поднявшись по лестнице, распахнул дверь студии и вошел, одетый в фиолетовые брюки и пятнистую яркую рубашку, его крупное, покрасневшее лицо лоснилось от пота, а настроение было явно приподнятым: маленькие глазки под густыми бровями бегали за мутными стеклами очков как две счастливые мышки. Он снял с шеи тяжелый фотоаппарат и спросил Израэля, не было ли звонков, Израэль сказал, что звонила Теила и обещала позвонить еще раз ближе к вечеру, Цезарь спросил: «А Элизэра?», и с ожиданием посмотрел на Израэля, но тот, продолжая неподвижно лежать на боку, обронил: «Нет, она не звонила», Цезарь бросил: «Сука», достал из кармана рубашки пачку «Ротманс», закурил сигарету и снова сообщил Израэлю, почти с радостным торжеством (Израэль уже знал это со вчерашнего дня, сам же Цезарь и сообщил ему об этом по телефону), что отец Гольдмана умер, и что похороны состоятся в два часа на городском кладбище. Израэль промолчал, на минуту воцарилась тишина, и тогда Цезарь – он, не переставая, вытирал пот с лица и шеи мокрым платком и в этот момент разозлил Израэля тем, что стряхнул пепел от сигареты на пол – спросил его, что он думает об этой смерти, но, не дождавшись ответа от Израэля, чей взгляд был невольно сосредоточен на горстке пепла, тут же рассеявшейся, добавил, что уже половина второго и пора поторопиться. Израэль сел на край дива-

на и спросил, нельзя ли отказаться от участия в похоронах и удовлетвориться визитом соболезнования в дом покойного, особенно после того как оба они прекрасно знают какими были отношения Гольдмана с отцом, а также и тот факт что Гольдман не любит, если не сказать ненавидит, подобные церемонии, и неизвестно еще, явился бы он сам на похороны отца кого-то из своих приятелей, но Цезарь, который любил сближения, праздники и разного рода драматические события, остался тверд в своем намерении и сказал, что в этих похоронах обязательно нужно принять участие, поскольку характер отношений между Гольдманом и его отцом – это не их дело, особенно теперь, когда отец Гольдмана уже умер, и он не сомневается, что несмотря на отвращение Гольдмана к церемониям и его рационализм, в глубине души он никогда не простит им, если они не придут и оставят его одного с матерью хоронить отца, и в связи с этим заметил, что у разума и логики даже самого умного человека есть граница, и что жизнь не раз заставляет совершать нелогичные поступки, а также, само собой, и неприятные, и в заключение заявил, что примет участие в похоронах в любом случае, даже один, и снова поторопил Исроэля, тот встал с дивана злой и отправился в ванную мыться, ругая при этом Цезаря, и самого себя, и отца Гольдмана, чья смерть не вызвала в нем никакого сожаления или сочувствия, или даже удивления, поскольку тот почти две недели, не приходя в сознание, лежал в больнице после неожиданного кровоизлияния в мозг, и врачи считали его положение безнадежным. Время от времени он приходил в себя и что-то требовал или раздраженно бурчал, однажды он даже ясно, хотя и с усилием, глотая концы слов, произнес на ухо Гольдману глухим и очень низким голосом, уже не своим, а как будто прорывавшимся из темных и пустых глиняных труб: «Я думаю, что все-таки кое-что сделал в своей жизни», и Гольдман слегка кивнул ему головой, отец, лежащий теперь на смертном одре, беспомощный, вызывал в нем жалость, но в основном неловкость, и не только из-за того как он выглядел, но прежде всего потому, что в глубине души Гольдман, даже и теперь, ненавидел его. Вра-

чи не придавали этим кратким возвращениям сознания никакого значения и советовали членам семьи «приготовиться к самому худшему», и Регина (отец Гольдмана, очнувшись в один такой прекрасный момент, потребовал не подпускать ее к своей кровати) в самом деле приготовилась «к самому худшему», пока это «самое худшее» не пришло и ей полегчало: он умер, и никакая сила в мире уже не могла вернуть его к жизни.

Исраэль помыл лицо, вытер его и, причесываясь, вспомнил, что несколько раз сопровождал Гольдмана в больницу, когда тот навещал отца, один раз даже вошел в палату, где лежало неподвижное тело, завернутое в белое одеяло и присоединенное ко всяким трубочкам, широко раскрытые глаза, всегда немного красные, как у кролика, были мутно-белыми и лишенными всякого выражения, а распухшее, искаженное лицо стало серо-синим. Гольдман сел рядом с кроватью и положил руку рядом с плечом отца, на миг он даже дотронулся до него, ласково, но без любви, а Исраэль остался стоять в некотором отдалении и смотрел на лежащего абсолютно равнодушно, даже с отвращением, но потом, когда они с Гольдманом вышли и зашагали по улице, и в последующие дни, воспоминание об этом эпизоде неизменно угнетало его из-за той омерзительной обстановки отчуждения и беспомощности, царившей вокруг отца Гольдмана, обстановки обреченности и неизбежности, и несмотря на все усилия позабыть об этом, оно возвращалось и омрачало его настроение, иногда от случайного увиденного, или услышанного, или от сообщения в газете, даже из-за каких-то запахов, а в последнее время в основном из-за Эллы, тоска по ней вцепилась в него с утра и не отпускала, пока время тяжело ползало по жару, царящей в комнате. Они встретились случайно, в кино, и в своих джинсах и черном свитере под замшевым темно-зеленым пиджаком она ничем не отличалась от обычных девиц, но с первой встречи у него возникло ощущение, что она явилась непонятно откуда, не в смысле бездомности, а будто возникла из пустоты и в один прекрасный момент навсегда исчезнет, так что уже ничто не вернет ее, он

никому не рассказывал об этом, тем более Цезарю, тот зашел тем временем в другую комнату, служившую ему офисом и фото-студией, забитую стульями, фильтрами, прожекторами, коробками, фотоприборами, тряпками, старыми журналами и всяким хламом, и, напевая «облади, облада, лайф гос он»², поменял в камере фильм, потом налил себе полстакана виски, остановился в дверях ванной и снова спросил Израэля, не звонил ли кто. Израэль сказал, что нет, Цезарь сделал глоток виски и сказал: «Этот Гольдман давно уже должен был закруглиться. Он заработал эту смерть до последней крошки», а потом добавил: «Умереть в его возрасте это здорово. Больше не надо», и посмотрел на Израэля, тот ничего не сказал, только повесил полотенце на место, вернулся в свою комнату и начал одеваться, Цезарь, поставил стакан с виски на рояль и, облокотившись на него, со словами «Смотри, что я достал», вытащил из кармана рубашки белый конверт и извлек из него пачку порнографических снимков, на них двое мужчин и две женщины, одна брюнетка, а другая блондинка, обе с большими грудями, сношались в разных позах, парами, и все вместе, покрасневшее лицо Цезаря свидетельствовало об удовольствии, с которым он перебирал фотографии, иногда хмыкая, или что-то кратко поясняя самому себе, или удивленно восклицая, время от времени он протягивал одну из фотографий Израэлю и говорил: «Что ты скажешь об этой даме», или: «Смотри, как он над ней работает, сукин кот»; перетасовав колоду, он задержал взгляд на последнем снимке, потом вернул фотографии в конверт, снова хлебнул виски и сказал: «Я люблю крепкие ноги и большую грудь, это я люблю», вернул конверт в карман рубашки, потом зашел на минуту в лабораторию, а когда вышел оттуда, позвал Израэля, тот был в ванной, и сказал: «Пошли уже, пока этот Гольдман от нас не удрал». Приведя себя в порядок, Израэль надел сандалии, Цезарь между тем допил виски, и они вышли на улицу, залитую режущим глаза светом

² «Облади, облада» – Ob-la-di ob-la-da, life goes on bra, припев модной в то время песенки «Битлз»

белого солнца, раскалившего стиснутый воздух с запахами расплавленного асфальта, пыли и выхлопных газов, смешавшихся с тяжелым и сладковатым ароматом внезапно расцветших, будто за одну ночь, кустов китайской сирени и олеандра. Огненный жар шел от белеющего небесного купола, от тротуара и стен домов, и был так ужасен, что казалось, будто гигантские костры горят под тонкой коркой земли, даже самых маленьких птиц добила жара, и они замерли в ветвях застывших в неподвижности деревьев, Израэль, ослепленный на мгновение, сказал: «Просто ад», и зашагал рядом с Цезарем, который нес на шее фотоаппарат и напевал про себя «облади, облада», без конца повторяя те же слова и нежно-сердно фальшивя. Они пошли к автобусу, потому что машина Цезаря поломалась и уже два дня была в гараже, но по дороге Цезарь попросил задержаться на минуту, он хотел позвонить Вике, они зашли в кафе, и Цезарь три раза набрал номер, но безрезультатно, бросил: «Сука», и раздраженно повесил трубку, но потом, когда они вышли, улыбнулся и сказал: «Она прелесть, эта маленькая Вика, жаль только, что замуж выходит». Он произнес это без особого сожаления, поскольку считал, что Вика принадлежит ему, просто в силу того, что все что доставляет ему удовольствие, или в чем он заинтересован, принадлежит ему, а значит, она и не может принадлежать кому-то другому, и был уверен, что и после того как она выйдет замуж, они продолжат радовать друг друга торопливыми и сладостными постельными схватками, Цезарь был не готов, просто был не в состоянии представить себе, что приятные вещи могут когда-то закончиться, и единственное, что беспокоило его в последнее время, кроме отношений с Теилой и Элизерой, это выпадение волос, ставшее уже довольно серьезным, он воевал с ним с помощью всяких сортов мыла, косметики и массажа, продолжал лысеть, но не сдавался, вот и сейчас, когда они уже стояли на остановке автобуса, Цезарь забежал в расположенную рядом аптеку и купил две бутылки «Юхмас-гормон», продукта против облысения, он уже две недели употреблял его, возвращаться пришлось бегом, автобус как раз подъезжал, они поднялись в

него, и Цезарь заплатил за обоих. Он был как-то уж слишком оживлен, и эта суетливость усугубляла раздражение Израэля, но его лицо осталось непроницаемым, так что Цезарь ничего не заметил, еще и потому, что всегда был сосредоточен только на себе и своих делах, а когда они сели, начал с воодушевлением рассказывать о «Юхмас-гормоне», который, согласно прилагаемому проспекту, был открыт после 14-летних исследований и опытов и обладал возможностью полностью предотвратить выпадение волос на любой стадии, что было доказано бесчисленными примерами, в частности, случаем с известным голландским боксером Баф Ван Клаураном, который страдал от раннего полысения, две фотографии его головы со стороны затылка – до лечения «Юхмас-гормоном» и после – красовались в центре проспекта, потом рассказал о снимках, которые сделал в то утро на консервном заводе, потом удивился, почему это Элиэзра не позвонила. Это его беспокоило, как и сообщение Теилы, что может быть, она позвонит еще раз ближе к вечеру, он замолчал, закурил и погрузился в свои мысли, но через минуту обратился к Израэлю: «Когда Теила позвонит, скажи ей, что я поехал в Иерусалим и вернусь завтра», Израэль сказал: «Хорошо» и стал смотреть в пыльное окно автобуса на магазины, на прохожих, на здание кинотеатра, на этом месте, когда он еще был мальчишкой, был большой пустырь, и однажды он увидел там отца Гольдмана в пробковом шлеме и рабочей одежде, мокрого от пота и толкающего тачку: вместе с другими рабочими он закладывал фундамент здания. Тогда в воздухе тоже пахло китайской сиренью и олеандром, и небеса были такими же безоблачными, но пепельно-голубыми, и воздух был свеж и приятен, и даже немного прохладен, как в тот осенний день, перед сумерками, когда отец Гольдмана подтащил за ошейник черного пса Каминской и привязал его к трубе во дворе дома, где они жили. И во всем, что произошло тогда, было мрачное зверство, страшное своей бездонностью, в то время как в благодатном воздухе царило бархатное, убажывающее успокоение, и птицы, свившие гнезда в кустах олеандра и мальвы с их красными цветами, и в кипарисах, и в вет-

вах огромной кудрявой сикоморы, уже терявшей листву и свои красные цветы, пели во все горло, будто у них праздник, и наполняли двор веселым шумом. А сама Каминская – один Бог знает, что с ней было! – высокая, взбалмошная блондинка, дикая и распущенная, с испуганными зелеными глазами, с полными чувственными губами, возможно, в это самое время трахалась со своим бывшим балетмейстером, которого все звали «Дягилев», или с молодым художником, с которым ее иногда видели, или еще с кем, да хоть с водопроводчиком, или просто с незнакомым мужчиной, а может быть, она в это время была занята чтением, или спала, ведь ее распорядок дня был, можно сказать, неупорядочен, и дни смешались у нее с ночами, что неизменно злило отца Гольдмана, который фанатично верил в мировой порядок, в котором есть добро и зло, без всяких «буферных зон», и его неотъемлемой частью был постоянный распорядок дня, начиная с подъема в семь, самое позднее в восемь утра, а эта Каминская была такой необузданной и взбалмошной, что во время войны несколько раз спускалась в бомбоубежище только в трусиках и бюстгальтере, и такой своевольной и подверженной приступам печали, что иногда пела по ночам, как сумасшедшая, как будто хотела порвать тьму на куски и потревожить за предельный мир своей тоской, которую она, с русскими словами и интонациями, отпускала этим пением на свободу. В сущности, она была потерянной и беспомощной до такой степени, что иногда искала выход даже в жестокосердии, или во лжи и грубости, но отец Гольдмана не желал быть снисходительным, он ненавидел ее, ее образ жизни, ее песни, ее платья и ее черного пса, которого Каминская звала Нои Сомбре³, пес этот спокойно стоял, привязанный к водопроводной трубе, и смотрел на отца Гольдмана, чье лицо, искаженное страхом и злобой, было бледным как простыня. Нои Сомбре даже вилял хвостом, ведь он не мог представить себе, что отец Гольдмана убьет его через несколько секунд, а отец Гольдмана приблизился к нему, неожиданно вытащил из-под рубаш-

³ Нои Сомбр – «Темная ночь» (фр.)

ки большой строительный молоток и быстро, в приступе ярости ударил собаку по голове, Нои Сомбре издал странный писк и закачался, а отец Гольдмана заорал изо всех сил: «Чтоб он сдох! Чтоб он сдох! Он должен подохнуть!», и продолжал в исступлении махать молотком, пока пес не упал на землю с разmozженной головой, дернулся пару раз, издал слабый хрип и остался лежать без движения, а земля, и листья лантаны и мальвы, которые еще цвели всюю, и водопроводная труба, и стена дома были забрызганы кровью и кусками мозга, которые оставались там пока не пошли первые дожди. Убив Нои Сомбре, отец Гольдмана поспешил вымыть молоток, руки и все его тело дрожали, он запихнул собачий труп в мешок и отнес его на один из дальних пустырей, покрытых колючками, чертополохом и дикой травой, простиравшихся тогда за садами до самых кактусовых оград арабских деревушек, исчезнувших через несколько лет вместе с пустырями, полями и виноградниками, вместе с маленькими рощами эвкалиптов и шакалами, которые пожрали тело Нои Сомбре, а вместо них встали построенные в бешеном темпе кварталы новых домов и ухоженные улицы, и по одному из таких кварталов проехал сейчас автобус, приближаясь к конечной остановке, на которой Цезарь и Израэль сошли и направились вместе с еще несколькими людьми к конторе городского кладбища, а Цезарь, весь взмокший от пота, не переставал говорить об Элизэре: он надеется, что она придет на похороны, но одна, потому что у него нет никакого желания встречаться с Гидеоном, ее мужем, во всяком случае, не в такую изнурительную жару. Израэль молчал, а Цезарь продолжал говорить об Элизэре, что она попусту тратит свою жизнь с этим Гидеоном, который не в состоянии сексуально удовлетворить ее и кроме красивой шевелюры, английского, некоторой образованности и скучного добросердечия в нем ничего нет, потом заметил, что жара вызывает половое возбуждение; между тем они подошли к дому, где располагалась контора, отсюда, с широкого двора, начинались похоронные процессии, во дворе толпилось много людей, пришедших отдать долг умершим, проводив их в по-

следний путь, они ждали очередной процессии, прохаживались взад-вперед, или, собираясь в группы, беседовали о тех, кто умер, о болезнях, о близких и родственниках, о жаре, о политике, и о делах. Там и сям слышался сдержанный плач, покашливания и шмыганье носом, на одной из стен огромными медными буквами было выведено: «Дни смертного, как дни травы луговой, как полевой цветок отцветет он»⁴, Цезарь и Исраэль задержались при входе во двор и, оглядываясь вокруг в поисках знакомых, постепенно, почти невольно, оказались внутри толпы и смешались с ней, Цезарь приготовил свой фотоаппарат и начал фотографировать, а в это время из громкоговорителей раздался голос, который объявил имя покойного, чья похоронная процессия должна выйти в путь, и в ту же минуту усилился плач, началось движение, некоторые люди приблизились и собрались вместе, другие расступились и освободили дорогу тем, кто нес черные носилки, на них колыхалось тело покойного, за носилками потянулись родственники, близкие, друзья, знакомые и соседи. Цезарь быстро фотографировал тех, кто нес носилки, мертвого, его жену и плачущих родственников, похоронную процессию, и продолжал снимать, пока процессия не покинула двор и черная машина, в которую погрузили покойного, не тронулась в свой путь, а тем временем по громкоговорителю объявили имя следующего покойника, но и этот покойник не был отцом Гольдмана, как и следующий; Исраэль, стоял в толпе приходящих и уходящих людей, измученный жарой, мокрый от пота, и чувствуя, что его терпение лопается, бросил Цезарю, продолжавшему фотографировать: «Я ухожу», Цезарь остановил его, сказал: «Подожди минуту. Я сейчас выясню», и пошел узнать, что там с процессией отца Гольдмана. Через несколько минут он вернулся с возгласами «Нас поймали! Его процессия уже давно в пути. Пошли», Исраэль спросил: «Куда?», Цезарь сказал: «В

⁴ Псалтирь, псалом Давида 102, 15 «Дни смертного как дни травы луговой, как цветок полевой отцветет он. 16. Пройдет ветер над ним и нет его, и место где он был его уже не узнает».

Кирият Шауль»⁵, Израэль онемел и хмыкнул, хотя в глубине души пожелал, чтобы в эту минуту земля разверзлась и поглотила бы весь мир вместе с ним и Цезарем, а тот сказал: «Пошли, пошли, жалко время», и быстро зашагал к выходу, чтобы сесть на автобус, идущий в Кирият Шауль. По правде говоря, Израэль предпочел бы сбежать и вернуться в студию, принять душ, поиграть и подождать Эллу, но он поплелся за Цезарем, на автобусной остановке встал рядом с ним с застывшим от злости выражением лица, отдав его солнечным лучам на всесожжение, а солнце жгло беспощадно, от легкого марева, затянувшего воздух, пустые небеса стали серебристыми, Цезарь в это время заглянул в проспект «Юхмас-гормон» и стал снова разглядывать голову известного голландского боксера, вдруг улыбнулся и сказал: «Жулики», вернул проспект в карман, а потом обругал хозяина гаража, уговорившего его оставить машину на ремонт, и еврейские похоронные обряды, и похвалил погребальные обычаи древних римлян, которые по его словам сжигали своих мертвецов, а пепел хранили в красивых вазах, выставляя эти вазы в прихожих своих домов, и добавил, что он в завещании потребует, чтобы с ним поступили также, но пепел свой велит развеять ко всем чертям, Израэль тем временем – он так и не понял, почему отец Гольдмана убил Нои Сомбре тем вечеряющим осенним днем – смотрел на эвкалипт на другой стороне улицы, на пробежавшие машины и продолжал молчать. С Ханохом Левитаном, младшим братом Авинаома и Сони, они тогда учились в одном классе (спустя пару лет после этого события Ханох умер от воспаления легких), и в этот момент спрятались за кустами мирта в тени больших кипарисов, которые удивительно пахли, и глазели на это страшное зрелище, происходившее всего в нескольких шагах от них, Ханох весь дрожал, а он стоял как вкопанный до тех пор, пока отец Гольдмана не ушел с трупом собаки, и тогда его стошнило и долго рвало, так что он, обмыв лицо и губы, с трудом, без сил добрался до дома. Какие-то соседи говорили,

⁵ Град Саула (Кирият Шауль) – городское кладбище в Тель-Авиве.

что отец Гольдмана убил собаку за то, что она лаяла по ночам и будила его, а другие говорили, что он убил ее из-за того, что, по его мнению, держать в те времена собаку было не только подлостью, но и наглостью, и он был не единственный, кто так считал: времена были тяжелые, сразу после Войны за Независимость, отец и мать Гольдмана, как и большинство жителей этого дома и граждан города, проводили ночи и дни, порой в тяжелейший хамсин, порой в холод и дождь, в бесконечных стояниях в очередях, которые тянулись от дверей продуктовых магазинов, овощных и мясных лавок, а также рыбных магазинов, чтобы вернуться домой после долгих часов ожиданий и толкотни, измученными и униженными, с жалкой добычей: куском мяса, костью для супа, несколькими яйцами, луковицами и картофелинами, да и это доставалось зачастую только после униженных просьб или громких скандалов с руганью и проклятиями, нередко переходящих в драки. Похожая ситуация была в дни мировой войны, но и теперь, как и тогда, отец Гольдмана отказывался использовать свои знакомства чтобы купить на черном рынке хотя бы крупинку риса, и они жили почти всю неделю на черном хлебе со вкусом отрубей и запахом джутовых мешков, иногда появлялась половина яйца и творог, будто сделанный из муки, а еще селедка и суп из коричневой вермишели в молоке, которую разбавляли водой и подслащивали бурым сахаром, смешанным с песком, это было главным обеденным блюдом, а о Каминской говорили, что она кормит Нои Сомбре копченой колбасой и швейцарскими сырами, и поит его французским коньяком и английским пивом, и таким же макарон балуют собаку и ее любовники: тот самый бывший балетмейстер, молодой художник, один архитектор, который жил с ней несколько месяцев, учитель физкультуры, а какое-то время даже Эрвин, отец Цезаря. Так или иначе, несомненно одно: отец Гольдмана приговорил Нои Сомбре по причинам, как он считал, достаточно убедительным, и убил после того как ему стало ясно, что пес заслужил смерть, и даже если бы это была его собственная собака, он повел бы себя точно так же, потому что он был си-

онист и социалист, и стоял за простоту, трудолюбие и моральную стойкость, и за воспитанность в самом элементарном смысле, и ненавидел ревизионистов, и людей, которые стремятся разбогатеть, или тратят деньги на всякие излишества, и тех, кто любит позлословить о Стране, все это было частью общей системы ясных и неизменных принципов, имеющих значение во всех областях жизни и деятельности и не терпящих противоречий, и, несмотря на превратности и трудности жизни, он никогда в них не усомнился, и не видел необходимости изменять им ни при каких обстоятельствах. Он всегда знал что хорошо и что правильно, и отклонения, не только для него, но и для всех, были совершенно недопустимы, любой уклон был смертным грехом, начиная с разбитой рюмки и неудачной покупки ботинок и кончая воровством или прелюбодеянием, так что, даже при определенной душевной щедрости и даже сентиментальности, он не умел никому ничего прощать, даже если речь шла о родном человеке или о друге, его прямота граничила с фанатизмом, а чувство справедливости – с иезуитством, но превыше всего сидело в нем диктаторское, необузданное желание заставить весь мир жить по этим принципам, мир, однако, не обращал на это внимания и шел неисповедимыми своими путями, вынуждая отца Гольдмана метаться между разочарованием и яростью: всегда находились люди, не понимавшие, что хорошо для них и что плохо, и всегда находились такие, кто вел себя неправильно, не говоря уже о настоящих грешниках, в сущности все нарушали правильный порядок вещей, все, кроме него, потому что он был воплощением этого порядка, и поэтому не знал ни минуты душевного успокоения, и вся его жизнь, полная вражды и обид, прошла в жалобах, обвинениях и конфликтах, из-за этих принципов ему удалось перессориться со всеми друзьями и знакомыми и остаться в полном одиночестве (с кем не поссорился, того предал анафеме и выгнал из дома), но эти принципы не помогли ему преодолеть одиночество и разочарование, и свое горе, когда Наоми, его дочь, старшая сестра Гольдмана, погибла в результате дорожного происшествия, это по одной версии, а по другой –

покончила с собой. Известие об этом вызвало у него дикую вспышку разрушительной ярости, он похоронил ее с каменным лицом без единой слезинки, ведь в глубине души он уже давно отвернулся от нее, потому что она завела роман с женатым мужчиной, по-видимому, англичанином, за что и понесла, как он считал, наказание, и только ночью, лежа в кровати, которая уже несколько лет была отделена от кровати Регины, после того как потушил свет, он отвернулся к стене, закрылся с головой одеялом и заплакал, но потом взял себя в руки, вытер глаза простыней и под утро заснул с плотно сжатыми губами. Наоми была похоронена на кладбище в Нахалат Ицхак, и Цезарь однажды побывал на ее могиле, когда несколько лет назад, зимой, повез туда Гольдмана и его мать с саженцами тамариска, он напомнил об этом Израэлю, когда они сели в автобус и сказал: «Это был ужас, все развезло от дождя», и через минуту добавил: «Она была замечательной девушкой, эта Наоми, но любовь это безумие, поверь мне», и снова добавил: «Все расстанутся», после чего замолчал и не произносил ни слова всю дорогу до самого кладбища в Кирият Шауль, заполненного людьми, пришедшими участвовать в череде похорон, которые шли там весь день, и шумевшего, как разбуженный улей. Люди приходили и уходили, сидели на скамейках, измученные ожиданием, стояли группками или сновали туда-сюда под палящим солнцем, и похоронные процессии шагали одна за другой, проходя мимо уродливого здания, на фасаде которого красовалась огромная надпись: «Для всех пришедших приют уготовлен», они черными змеями извивались по дорожкам между рядами белых надгробных памятников: во главе хазан⁶, за ним носильщики с черными носилками, за ними родственники, близкие и друзья. Цезарь закурил сигарету и сказал: «Весь город тут», они смешались с толпой и стали искать процессию Гольдмана, или хоть какое-то знакомое лицо, потом попытались выяснить что-то у работников кладбища, но те были страшно заняты,

⁶ Запевала (ивр.), руководитель религиозных церемоний и песнопений.

спешили по своим делам, мокрые от пота и раздраженные, и ничего не могли объяснить о похоронах отца Гольдмана, пока, в конце концов, кто-то посоветовал им обратиться в контору кладбища, около Дома Омовения⁷, так они и сделали, и обогнув одноэтажный дом, поднялись на пару ступенек, постучали в дверь и вошли; служащий, крупный мужчина с белыми и толстыми ладонями, аккуратно одетый, принял их вежливо и, выслушав Цезаря, стал просматривать какие-то списки, он просмотрел их дважды, а затем сказал, что к его сожалению никакого Эфраима Гольдмана сегодня не хоронили, он подчеркнул «к моему сожалению», Цезарь спросил: «Может быть, вчера?», человек сказал: «Может быть», просмотрел другой список, и повторил, что к его сожалению, под таким именем и вчера никого не хоронили. Цезарь воскликнул: «Не может быть!» и раздавил свою сигарету в стоявшей на столе пепельнице, и это было в первый раз за весь день, когда он обнаружил признаки гнева, вернее, раздражения; служащий посмотрел на него строго, однако сдержал себя и вежливо добавил, на этот раз тоном подчеркнутой твердости, что к его сожалению, а у него нет никаких сомнений в этом, потому что у него образцовое кладбище, где все прекрасно организовано, быть такого не может, что кто-то похоронен тайком, случайно, или незаметно, так, чтобы это не было внесено в список, и тем же жестким тоном предложил им обратиться на кладбище Нахалат Ицхак, может быть, там они найдут человека, которого ищут. После этого вытер свои руки и высокий лоб белым платком, выражение его лица не оставляло места для новых вопросов или обсуждений, поправил ермолку на голове и, приблизив к себе вентилятор, погрузился в изучение лежащих на столе бумаг; Цезарь, бросив на него быстрый взгляд и догадавшись о бесполезности дальнейшего разговора, обронил: «Спасибо», и они вышли из конторы. Лицо Цезаря вытянулось, праздни-

⁷ Дом Омовения – неотъемлемая часть еврейского кладбища, здесь омывают покойников, проходят церемонии поминовения и начинаются похоронные процессии.

ное выражение исчезло, остались только досада и усталость, оно выглядело как корка на остывшей каше, и Израэль, взглянув на него, не заикнулся о возвращении в город, а молча поплелся вслед за Цезарем, который прокладывал им дорогу через толпу скорбящих, мимо настойчивых до наглости попрошаек, а когда вышли с территории кладбища и двинулись по узкой дороге к шоссе (с одной стороны простирались поля с редкими кипарисами и апельсиновые сады, с другой были мастерские для кладбищенских памятников), там они рассчитывали поймать такси или автобус и доехать до кладбища в Нахалат Ицхак, Израэль решил, что даже если Цезарь на коленях будет его умолять вернуться, он не согласится, но Цезарь не стал его умолять, он закурил сигарету и сказал: «Все суки, особенно эти религиозные», а потом добавил: «Ты видел эту морду в конторе? Я тебе клянусь, что это — человек из «Франкфуртера», ну вылитый», Израэль сказал: «Возможно», а Цезарь сказал: «Пошел он ко всем чертям вместе со своим кладбищем», потом продолжил: «Как бы там ни было, тот был все-таки больше похож на человека, спроси у Гольдмана, только жена его подкузьмила», и действительно, служащий в конторе напоминал чем-то господина Герберта из «Франкфуртера», где Гольдман обедал долгое время после того как ему осточертели вермишелевые супы, которыми мать пичкала его каждый день. Гольдман обедал во «Франкфуртере» один, Наоми в это время находилась в Александрии, она служила шофером в британской армии, а отец его работал с утра до ночи в британских военных лагерях и возвращался домой только в субботу, а когда работал в городе, то удовлетворялся завтраками, которые готовила ему Регина, злобно поедая их под вечер, после возвращения с работы, и всегда по дороге в ресторан у Гольдмана было приподнятое настроение, а когда он проходил мимо огромного пустыря краснозема (когда-то здесь играли в футбол, но рыжий австриец с женой превратили его своим неутомным трудолюбием в цветущий сад посреди города, выращивая на нем овощи, а потом и цветы: розы, гвоздики, «львиный зев», гладиолусы и шиповник, а через несколько лет после Войны

за Независимость, когда цены на землю подскочили, они ликвидировали сад и продали участок, и на этом месте построили большое здание для учреждений, со стоянками, ресторанами, ночным клубом и кинотеатром), в его сердце поднималось ожидание радостной неожиданности, но неожиданность, о которой он мечтал, так ни разу и не случилась, так же как никакой неожиданности не могло произойти и с меню во «Франкфуртере»: неизменные несколько нарезанных кусков черного хлеба, жидкий овощной суп или что-то вроде мясного супа с двумя картофельными варениками, пара сосисок с какой-нибудь добавкой, или варево, которое называлось «Гупель-пупель» и было приготовлено из нескольких жалких кусков колбасы, сделанной из крупы, плавающих в красноватой жидкости, а на десерт – полстака на лимонного пудинга, украшенного сладкими красными пятнышками, которые Цезарь, иногда сопровождавший Гольдмана, обожал, собственно только ради них он и сопровождал его, терпеливо ожидая, когда Гольдман закончит трапезу. Господин и госпожа Герберт, выходцы из Германии, оба высокого роста, черноглазые, гладкокожие и смуглые, хорошо одевались, вызывали всеобщее уважение, у госпожи Герберт были крепкие ноги, полные красивые губы и черные волосы, собранные сзади в пучок, а господин Герберт был всегда тщательно выбрит и носил черную шелковую ермолку. Они молчаливо, вежливо и приветливо обслуживали посетителей, и друг к другу тоже относились вежливо и приветливо, и вообще выглядели, как двое близких людей, живущих в полной гармонии, пока в один прекрасный день эта гармония не лопнула в результате неожиданно возникшего между ними разговора, и господин Герберт, лицо которого побледнело от ненависти, вдруг начал клясть свою жену по-немецки и бить ее посреди ресторана, сначала руками, а потом колбасой, которую, будучи вне себя от гнева, сорвал с одного из крюков на стене. Все произошло так внезапно и быстро, что в первый момент посетители были в полном шоке, некоторые из них, почувствовав себя крайне неловко, продолжали есть, делая вид, будто ничего не видят и не слышат,

другие попытались вмешаться и успокоить господина Герберта, но большинство, включая тех, кто собрался на улице, застыв на месте, смотрели на эту сцену, а один человек, который стоял за спиной Гольдмана, все время повторял: «Хватит. Ладно. Жалко колбасу. Жалко колбасу. Война все-таки». На следующий день госпожа Герберт сбежала со своим любовником-арабом, и ресторан вскоре закрылся, а на его месте возник книжный магазин, торговавший еще и письменными принадлежностями, а потом, через несколько лет, на этом месте возник обувной магазин, и только потом – опять ресторан, но уже не такой, конечно, какой был у господина Герберта, самого же господина Герберта Гольдман случайно обнаружил через какое-то время в магазине хрусталя, посуды и всяких столовых приборов и украшений из серебра, он показал этот магазин Израэлю и Цезарю, а тот, бросив в сторону Израэля взгляд, сказал: «Все – психи. Удрать с арабом?!», и хмыкнул себе под нос, а через минуту добавил: «Я тебе говорил, что любовь это безумие», и поддал ногой маленький камешек на дороге, потом вытащил из кармана порнографические снимки, быстро пересмотрел их и сказал: «Слушай, просто хочется рвать и метать», и тем же тоном, хотя и без всякой связи, вспомнил об Авигдоре, бывшем муже Рухамы, его сводной сестры, который в свободное время занимался поднятием тяжестей, чем вызывал у Цезаря, в основном относящегося к нему с пренебрежением, странное чувство удивления и сочувствия, он не мог понять, почему тот продолжает любить Рухаму и продолжает с ней жить после всего того, что она вытворяет, и точно также он никак не мог понять, что толкает этого тихого человека мучить себя без всякой пользы: три дня в неделю ходить после работы в спортклуб чтобы в одиночестве, в жалкой, душной комнате, скрипя зубами, из последних сил толкать эти тяжелые железки к потолку, и он повторил: «Все – психи», Израэль едва заметно кивнул головой и Цезарь добавил: «Даже больше, чем принято думать, возьми хотя бы этого Авигдора, чем он лучше госпожи Герберт», вернул открытки в карман, пробежал несколько шагов до шоссе и, подняв руку, остановил

такси, они уселись в него и поехали в Нахалат Ицхак, а когда приехали, солнце уже склонилось, тени кипарисов стали длиннее, но жара все еще была невыносимой, а может, еще тяжелее, чем прежде. Она будто рвалась вонючим паром из трещин асфальта на шоссе, поднималась над бурой землей, над кишачим людьми кладбищем, над могучими кипарисами, хранящими, так казалось издалека, прохладу. Они прошли ворота кладбища, спросили об отце Гольдмана, но и здесь никто о нем не слышал, и Цезарь, отказываясь верить, носился туда-сюда, разгневанный, на грани истерики, расспрашивал, требовал, пока не сдался, и, как обычно, когда он сдавался, капитуляция была быстрой, абсолютной, полной претензий ко всему миру и вызывающей жалость. Он вытер мокрым платком шею и лицо, бросил: «Его здесь нет, гада», и сплюнул, Израэль взглянул на него и сказал: «Но раз он умер, значит, где-то похоронен», а Цезарь, продолжая вытирать лицо, закричал: «Где?! Может в Петах-Тикве? А может его сбросили в море? Он и живой был мерзавцем, и остался им после смерти. Пошли домой. Он без нас устроится», и зашагал к воротам кладбища, но Израэль остался стоять и сказал: «Может он в Холоне?», Цезарь остановился и переспросил: «В Холоне?», Израэль сказал: «Да. Там есть какое-то кладбище», а Цезарь, лицо которого исказилось от гнева, отрезал: «Ничего не хочу слышать. Я с этим господином покончил и больше за ним бегать не собираюсь. Как-нибудь приземлится без нашей помощи. Так и так он уже давно должен быть в могиле». Израэль ничего не ответил и двинулся дальше, пересек улицу и зашагал к автобусной остановке, а Цезарь, который остался стоять, посмотрел на него с удивлением и закричал: «Куда ты идешь?», Израэль повернул голову и сказал: «Давай, пошли, подьем в Холон», Цезарь спросил: «Ты это серьезно?», Израэль сказал: «Не будем терять время», и побежал навстречу автобусу, который приближался к остановке. Цезарь побежал за ним, фотокамера болталась у него на груди, а когда поднялись в автобус и сели, он, еще тяжело дыша, сказал: «Этот мертвец хуже живого. Он просто убил мне день. Я бы мог навестить детей или что-то

сделать. А эта блядь Элиэзра не могла поднять трубку и слово сказать?», он снял камеру и положил ее на колени, зажег сигарету и сказал: «Я уже четыре дня не видел детей», через несколько минут добавил: «Слушай, есть дни – ну полный провал. Все не ладится», бросил зажженную сигарету в окно и удрученно замолк.

Когда доехали до холонского кладбища, уже смеркалось: синева неба смягчилась и стала глубже, а в раскинувшихся далях и воздух, полный тонких запахов, стал нежнее; сторож кладбища, он выглядел измученно и уже собирался закрывать кладбищенские ворота, поведал, что хоронили сегодня какого-то Эфраима Гольдмана, но это было давно, часа три-четыре назад. Это сообщение обрадовало Цезаря, он вновь преисполнился энергии и предложил Израэлю сходить к могиле, постоять там с минуту, отдать покойному последний долг, а главное – в знак соболезнования Гольдману, и, не дожидаясь ответа, спросил у сторожа, тот уже стоял у ворот, покручивая в руках связку ключей, где находится могила, сторож неопределенно показал пальцем на тысячи белых плит, рассеянных по всему широкому и молчаливому пространству кладбища насколько хватало глаз, и сказал, что не может их проводить, потому что это очень далеко, а уже пора закрывать кладбище, он свою работу закончил и идет домой. Цезарь не стал настаивать и предложил Израэлю подъехать сюда в один из ближайших дней, даже возложить венок на могилу покойного, а пока вернуться в город и зайти к Гольдману, чтобы извиниться перед ним и выразить ему свое соболезнование, Израэль тут же согласился, хотя у него не было сомнений, что за маленькую мзду сторож согласился бы проводить их к могиле, в сущности, он этого и ждал, судя по тону его слов и по выражению разочарования на его лице и той холодности, с какой он расстался с ними, когда убедился, что они решили уйти. Перед тем как остановить такси они отошли немного в сторону, и, повернувшись лицом к кладбищу, с наслаждением опорожнились, а в такси Цезарь произнес: «Я убит. Но стоило все-таки», и замолчал, он молчал всю дорогу, лишь трижды нарушив тишину: один раз,

когда вновь вспомнил мудрые погребальные обряды древних римлян, не забыв недобрым словом помянуть отца Гольдмана, во второй раз, когда снова стал переживать, что четыре дня уже не видел детей, а в третий раз, когда попросил Исроэля позвонить Элизре как только они вернутся в город, Исроэль сказал «Ладно», он продолжал смотреть в окно, а в голове его звучали отрывки из «Папа Марчелли»⁸, произведения, которое он несколько месяцев до этого зимним утром услышал в первый раз с Эллой в одной церкви в Иерусалиме, французский священник играл его на органе, плотные и медлительные звуки будто лились из других миров и дрожали в воздухе, полные благоговения и возвышенной праздничности, заполняя сумрачную пустую церковь, они обволакивали и проникали в него, наполняя счастьем покоя и упоительным ощущением воодушевления, никогда прежде не испытанного, вызывая желание пожертвовать собой, раствориться и исчезнуть, а Элла, положив свою светлую головку на его грудь, сосала палец, и одинокий желтый луч солнца проник внутрь через трещину в витраже и упал на одну из колонн, а когда они вышли на улицу, небеса были синими и безоблачными, пахло дождем, он шел всю ночь и утром, и запах влаги, смешавшись с запахом сосен, дыма и мокрой земли, стоял в прохладном воздухе, Элла смотрела на группу арабских детей, которые на перерытой улице играли гремющей жестяной банкой в футбол, а он наблюдал за ней, идущей рядом, и чувствовал к ней нежность и близость, а главное, желание укрыть, защитить ее, чувства, которые невольно и совершенно неожиданно сменялись в нем враждебностью и желанием причинить боль, он уже много раз собирался прекратить навсегда эту связь, и часто представлял себе, что они расстались и больше не увидятся, но тут же на него находила тоска, упадок духа и чувство пустоты, то же чувство возникло те-

⁸ «Missa Papae Marcelli» – месса средневекового итальянского композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, о котором известная строчка Мандельштама: «Как Пелестрины песнь снисходит благодать».

перь, когда он смотрел на вечереющий летний воздух, на потемневшие, вдруг покосившиеся дома, открытые окна, облупившиеся и треснувшие балконы, на женщин и мужчин, неподвижно сидящих там, или стоящих у дверей магазинов, на уродливые, заброшенные улицы, на детей, играющих на дороге, на дворы, гаражи и склады, и до него доносились слова души-шофера, который, пытаясь разговорить Цезаря, объявил, что может трахнуть любую, а потом сказал, что ненавидит запах женского тела, а Цезарь, занятый своими мыслями, сказал: «Есть разные женщины», но шофер стоял на своем: «Все они одинаковы», затем добавил: «Я страдаю от сексуальной скуки» и усилил звук радио чтобы услышать новости, а между тем за окном побежали более веселые и нарядные улицы, и через некоторое время шофер остановил машину по просьбе Цезаря, который заплатил ему, оставив даже на чай, а когда они вышли, мертвые от усталости, постоял с минуту, потягиваясь и разминая кости, а потом предложил Израэлю зайти в «Портофино», выпить чего-нибудь, отдохнуть и набраться сил перед тем как зайти к Гольдману, а оттуда уже позвонить Элиэзре; они пересекли Дизенгоф, и под звук медного колокольчика, висевшего над дверью, вошли в «Портофино», где кроме хозяина, худого и низкорослого грека с высохшим и зеленоватым, безнадежно печальным лицом и некрасивой девушки за прилавком бара, никого не было. Хозяин узнал Цезаря, тот часто бывал здесь, выпивая с друзьями и разными девицами, сказал медленным слабым голосом: «Шалом» и посмотрел на него с тем же неизменным выражением лица, испуганными и настороженными глазами, спрятанными под нависшей лобной костью, Цезарь бросил ему в ответ: «Шалом», заказал два пива «Туборг», сыр, и уселся за столик, а Израэль нехотя пошел звонить Элиэзре. Ее муж Гидеон поднял трубку, и Израэль назвал себя, и задал общий вопрос о делах, Гидеон ответил: «Спасибо, все в порядке», но по неуверенности в его голосе Израэль понял, что Гидеон его не узнал, и поэтому он снова назвал себя и напомнил, что несколько месяцев назад они были вместе в кино, в «Бурсолино», а через несколько недель после

этого встретились на улице, рядом с «Розой», и Гидеон произнес: «Да-да», но еще неуверенно, но потом все-таки догадался: «Аа, вы приятель Цезаря», и извинился, что сразу его не вспомнил, а Израэль сказал, что ерунда, трудно запомнить человека после двух мимолетных встреч, и спросил, дома ли Элиэзра, и Гидеон сказал, что она несколько минут тому назад вышла, но к девяти должна вернуться, так как они собирались пойти вечером в кино, и спросил Израэля, какое дело привело его к ней, Израэль сказал, что он хотел сообщить ей, а, в общем-то, им обоим, что скончался отец Гольдмана, он должен был сообщить об этом раньше, но забыл, а Гидеон чуть хмыкнул и сказал, что это им известно со вчерашнего дня и Элиэзра даже была на похоронах и спросил Израэля, был ли он на похоронах. Израэль на миг смутился и сказал: «Нет, я опоздал», потом добавил: «Извините за беспокойство», Гидеон сказал: «Ерунда. Все в порядке», и предложил Израэлю вместе с Цезарем присоединиться к ним, пойти вместе в кино, Израэль сказал: «Может быть», Гидеон стал настаивать: «Пошли, пошли. Есть несколько хороших фильмов», Израэль повторил: «Может быть. Вполне возможно» и, посмотрев на Цезаря, который выжидательно посматривал в его сторону, добавил: «В любом случае, если мы решим пойти, то позвоним. До свидания», затем положил трубку, подсел к Цезарю и пересказал ему свой разговор с Гидеоном, умолчав только о предложении сходить вместе в кино; выслушав его, Цезарь обронил: «Ты видишь, жалко что мы не были на этих чертовых похоронах», и после того как откусил кусок сыра и отхлебнул пива добавил: «Он хороший малый, этот Гидеон, только пусть не старается» и улыбнулся, потом заказал еще сосиску, банку «Туборг» и произнес: «Она изобрела секс, Элиэзра. Поверь мне, и жалко каждой минуты, которая она тратит на этого импотента. Я его знаю, мы вместе учились, и какое-то время вместе служили в армии. Этого достаточно чтобы узнать человека»; перекусив, они поднялись, Цезарь сказал: «Я ее люблю до безумия, особенно летом», и снова улыбнулся, затем купил в баре пачку «Ротманс», расплатился, и они оба вышли на

улицу, смешавшись с толпой, она была так велика, что казалось, будто весь город оставил свои дома и высыпал на улицы, еще остававшиеся во власти душной жары. Цезарь молчаливо шагал с фотокамерой, болтающейся у него на груди, его уставшие маленькие глазки бегали туда-сюда (всем своим видом: брюшком, смехом, жадными взглядами, движениями рук он напоминал Эрвина и не уступал ему в привлекательности, хотя отец был выше и плотнее, и куда хитроумнее), а когда они остановились перед светофором, то вытер пот с шеи и обронил: «Смотри, что творится. Сумасшествие какое-то», потом сказал: «Я уверен, что она пришла на похороны из-за меня», а когда они приблизились к дому Гольдмана, продолжил: «Это лето меня достало. А может, не лето, а все эти дела с мертвецами», через несколько шагов прибавил: «Я где-то читал, что скорбь, усталость и езда в поезде вызывают сексуальное возбуждение, как алкоголь»; они поднялись по лестнице и Израэль нажал на электрический звонок, но еще когда поднимались, Цезарь вдруг остановился и сказал: «Ты не представляешь себе, как печально быть отцом», он высказал это с непосредственностью и трогательной прямоотой, и как бы в продолжение другой мысли, которая донимала его, и снова стал подниматься вслед за Израэлем, тот ничего не ответил, а остановившись у дверей Гольдманов, которая была открыта, подождал Цезаря, и оба вошли, и через узкий коридор попали в песочного цвета гостиную, полную мужчин и женщин, пришедших после похорон разделить с вдовой ее траур. Там был Йоэль, старший брат умершего, и его жена Ципора, двое их сыновей, Меир и Йермияху, они вдвоем подняли ее наверх: из-за болезни правой ноги она с трудом передвигалась и уже не могла подняться по ступенькам сама, и была Браха, младшая сестра Йоэля и отца Гольдмана и дяди Лазаря, ее лицо было угасшим, губы сухими и бледными, ее муж Шмуэль, явился наперекор тяжелой жары в клетчатом костюме при голубом шелковом галстуке в красную крапинку, и был Хаим-Лейб в черной праздничной шляпе с женой, госпожой Хаей, и его старший

сын Шломо, который в свое время был в Эцэле⁹, и Моше Целермеир, с глазами красными и опухшими от слез, со своей огромной женой, которая держала большой букет белых роз, и Макс Шпильман, и Матильда, вдова Иосифа Левитана, и Давид Костомольский, как всегда, без госпожи Ди-Бутон, он чинил трубки и весь пропах табаком, и Сара, вдова Реувена, брата Регины, и еще Юдит Майзлер, Авраам Шехтер, вдова Моше Цеймера, Манфред, и Ехиэль Лавенкопф с женой Шошаной, они жили у Гольдманов в качестве квартирантов в последние три года войны, хотя на самом деле там жила только Шошана с трехлетним сыном, потому что Ехиэль, работавший механиком, служил в английской армии. Она жила в маленькой комнате Наоми, где спала, шила, гладила и готовила на керосинке себе и сыну, потому что теснота на кухне была невыносимой, а прежде всего потому, что отец Регины, который прожил еще несколько лет после смерти жены, терроризируя весь дом своей фанатичной религиозностью и злобной вспыльчивостью, прорывавшейся время от времени громкими скандалами, боялся что Шошана осквернит посуду и еду тем, что внесет на кухню некошерную пищу, или перепутает мыло с аронником и мясное с молочным. В первый год службы, когда Ехиэль сидел в Сарафенде¹⁰ и Джюлисе и занимался общевойсковой подготовкой и охраной, он время от времени приезжал на побывку и привозил с собой всякие вещи и продукты из НАФИ¹¹: шоколад, сахар, сигареты, но потом его перевели в качестве связного на мотоцикле в Египет, а оттуда – в Западную пустыню, а затем в Италию, и Шошана начала работать, чтобы прокормить себя и ребенка, какое-то время она работала официанткой в рабочей столовой, но работа там была грошовая и скучная, и она перешла в одну из огромных пивных рядом с морем, которые были предна-

⁹ Эцель – боевая подпольная организация сподвижников Жаботинского, вела вооруженную борьбу с англичанами.

¹⁰ Сарафенд – большая английская база, теперь израильская база Црифин.

¹¹ НАФИ – аббревиатура английского военного распределителя.

значены для солдат союзных армий и всегда были набиты англичанами, бело-розовыми новозеландцами, южноафриканцами и австралийцами с широкополыми шляпами, а еще шотландцами, которые иногда, привлекая всеобщее внимание, шагали на городских парадах в клетчатых юбках, при монотонных звуках своих дудок, украшенных бахромой и всякими цветными лентами. Солдаты сидели в больших полутемных залах, пропахших пивом и табачным дымом, медленно пили свое пойло и молчали, или рассказывали анекдоты, вспоминали, думали о своей судьбе, напивались и дрались, ругались, плакали и пели под рокот моря, меняющего цвета на закате, под кокосовыми деревьями около взлетных полос, под рисунками полуголых женщин, намаленных на высоких стенах с глупыми рожами и огромными грудями, и Шошана подавала им это пойло, а иногда – что-то из еды, брала с них деньги и убирала столы, а к вечеру возвращалась домой и занималась с сыном, и готовилась встречать всяких ухажеров, которые приглашали ее в кино или на какие-нибудь развлечения, все это крайне злило отца Гольдмана, начиная с ее работы и кончая ухажерами, а Гольдман подстерегал возможность подглядеть в замочную скважину как она моется в душе и несколько раз ему это удалось, и он, с замершим от страха и волнения сердцем, видел, как она поглаживает свои тяжелые груди, и лобок, и гладкий живот, белый, как фарфор. Она не была красивой, но была одинокой, и поэтому привлекательной, а кроме того у нее были блестящие черные волосы, чувственные губы и какая-то дикость, дерзкая, вызывающая, но только ничего от этого не осталось, теперь она сидела рядом с Региной, усталая и равнодушная, с длинным, измятым, как у старой индианки, лицом, с затуманенным взглядом, и зевала во весь рот с такой силой, что серебряная бабочка, украшавшая ее шею, как будто взлетала с каждым зевком, она без всякого интереса оглядывала присутствующих, рассеявшихся на диване, на кухонных стульях и старых мягких креслах с выгнутыми ручками, рядом с большим коричневым столом, на котором были чашки и тарелки, и ваза с фруктами, и отличный тво-

рожный пирог, из тех, что отец Гольдмана очень любил, его принесла Браха, а Ципора, несмотря на боли в ноге, быстро разрежала его и раздавала присутствующим, даже предложила кусочек Регине, отношения между ними были всегда прохладны, она попробовала уговорить ее что-то перекусить, но Регина отказалась. Она сидела в тяжелом кресле у телевизора, очень усталая, ее удлиненное и морщинистое лицо было бледно, только на щеках цвел слабый, едва заметный румянец, как будто она их покрасила, а присутствующие пили чай и кофе, ели фрукты и пирог, разговаривали между собой приглушенными голосами, иногда обращаясь к Регине, которая почти не реагировала, одна только вдова Цеймера, как обычно, тараторила без умолку и в полный голос, что выводило из себя Юдит Майзлер, и она, в конце концов, встала, попрощалась с Региной и сказала ей, что зайдет завтра или послезавтра. Йоэль и Авраам Шехтер молчали, молчал и Манфред, который сидел, скрестив руки, в черных элегантных брюках и в белой, тщательно выглаженной рубашке, отчужденно глядя на всех и на его смуглом, некрасивом, но очень выразительном лице, было заметно нетерпеливое беспокойство, неподвижность его позы лишь изредка нарушалась, когда он медленно проводил нервными пальцами по высокому гладкому лбу, легко касаясь своих черных волос, аккуратно подстриженных, или чуть поворачивал голову и смотрел в сторону, на дверь балкона. Каким-то непонятным образом он выделялся из всех присутствующих и сразу бросился в глаза Цезарю и Израэлю, когда они вошли в гостиную и пожали руку Гольдману, который, обрадовавшись, с улыбкой, разгладившей его лицо, встал им навстречу, потом пожали руку Регине, Израэль поприветствовал также вдову Цеймера и Матильду Левитан, но Матильда либо не заметила, либо не узнала его и подумала, что приветствие адресовано не ей, Цезарь пожал руку Максу Шпильману, и они с Израэлем уселись с серьезными лицами рядом с Гольдманом, тот спросил их как дела, и Цезарь, тоном глубокого сожаления и извинения, рассказал, почему они не присутствовали на похоронах, развернув все перипетии сегодняшнего дня,

вплоть до нынешней минуты, Гольдман, на его лице еще оставались следы радости от встречи с ними, утешил их тем, что похороны прошли как положено, и что они ничего не потеряли и никуда не опоздали, кто умер, тот уже умер, с ними или без них, и предложил им выпить чай или кофе, но Цезарь отказался: «Ничего не нужно. Сядь. Мы только что пили», но Гольдман настаивал, пока не добился согласия, и тогда вышел приготовить им кофе, а они пока сидели и слушали разговоры мужчин, беседовавших между собой о политике. Все старались говорить тихо, но спор разгорелся и обострился после того как Ехиэль Левенкопф, у него был низкий и громкий голос, сказал, что это правительство вообще не хочет мира, а хочет увековечит нынешнее положение, и что если бы это зависело от него, то он вернул бы за мир все территории и даже Восточный Иерусалим вместе со Старым городом, потому что он действительно не видит никакой необходимости, чтобы в купчей крепости на эту груду камней было записано именно его имя, но Моше Целермеир сказал: «Ерунда это все», а Хаим-Лейб подтвердил: «Совершенно верно», а Макс Шпильман застучал по столу толстыми волосатыми пальцами и сказал, что ни одно правительство не вернет Иерусалим, и никакую другую территорию, и правильно сделает, потому что это для нас вопрос жизни и смерти, и тот, кто проиграл войну, должен платить за это, и нет никаких причин быть более праведными, чем весь мир. Ехиэль Левенкопф сказал: «Весь мир меня не интересует, меня интересует только наше положение, и я хочу мира», но Макс Шпильман, не теряя хладнокровия, возразил, что это и есть единственный путь к миру, да мы и так живем в мире, который будет со временем все крепче, потому что арабы слабы, они отсталые и никогда не согласятся пожертвовать тем экономическим процветанием, которое евреи им принесли; Авраам Шехтер, младший сын которого погиб три года назад в Долине Иордана, сделал слабый жест рукой, как будто собрался что-то сказать, но Ехиэль Левенкопф, жена которого осторожно попыталась его урезонить, выпалил, что все это типичные рассказы бандитов, страдающих манией вели-

чия, и грабеж никогда не приведет к миру, как материальное благополучие никогда не заглушит ненависть арабов к евреям и не заставит палестинцев забыть о своем достоинстве и национальных чаяниях. Моше Целермеир снова сказал: «Ерунда это все», а Шмуэль вставил: «Не шумите, в любом случае, от нас это не зависит», но никто его не услышал, потому что Шломо, сын Хаима-Лейба, который до этой минуты сдерживал себя, сорвался и заявил, что, на самом деле, у нас нет никакой необходимости в мире, и если бы от него зависело, он бы заставил всех арабов уехать из страны, конечно, выплатив им компенсацию, в любом случае бессмысленно говорить о национальных чаяниях палестинцев, потому что нет такого народа. Ехиэль Левенкопф, побледнев от гнева, прокричал, что это наглость и глупость, потому что только палестинцы вправе решать, народ они или нет, но Шломо в долгу не остался, и повторил, что нет такого народа, что это изобретение евреев и коммунистов, и что Страна Израиля обещана нам вся по Танаху, нам и никому больше, тогда Ехиэль Левенкопф, грубо отбросив руку жены, которая попыталась его удержать, с силой ударил по столу и закричал: «К черту Танах! Это не политическая программа и не план раздела!», он не унялся бы, но жена буквально вцепилась в него и стала умолять прекратить, к ней присоединились Шмуэль, и Хаим-Лейб, и Ципора, и даже Макс Шпильман, который сказал: «Ладно, ладно. Не стоит из-за этого нервничать», а Брахя спросила его, не хочет ли он чайку, или сока, Ехиэль Левенкопф буркнул: «Нет», и, не удержавшись, добавил: «Не приведи Господь, если это – наше Освобождение», и встал, а Авраам Шехтер, как всегда застенчиво и неуверенно, проговорил: «Да, это Освобождение. Другого, во всяком случае, нет», Ехиэль Левенкопф, который, видимо, не слышал его слова, обратился к жене и сказал: «Пошли. Я ухожу», и, не дожидаясь ее, вышел из комнаты, Шошана быстро попрощалась со всеми и вышла вслед за ним. С минуту все молчали, затем вдова Моше Цеймера сказала: «Он ужасно вспыльчивый», а Шмуэль сказал: «Эта дискуссия была совершенно лишней», а Хаим-Лейб сказал: «Человек дол-

жен уметь себя вести», и все снова замолчали, но постепенно разговоры возобновились, о жаре, о родственниках, о квартирах, детях и здоровье, зашли соседи, муж и жена, пожали руки Регине и сели, Давид Костомольский встал, попрощался с Региной и присутствующими и ушел, тем временем зашла речь о бизнесе, в основном между Максом Шпильманом и Шмуэлем, которого родные и близкие звали «богач» или «Сам», а отец Гольдмана звал его «этот надутый пузырь». Он изначально его не принял, а в последнее время относился откровенно враждебно, и всегда жалел, что Браха, которую он очень любил, вышла за него замуж, а все потому, что Шмуэль в его глазах был человеком легкомысленным, с необузданной склонностью к переменам и приключениям, не говоря уже о расточительности, он начинал плотником, а потом стал парикмахером и даже открыл парикмахерскую, потом переключился на торговлю и разные сделки, он всегда стремился разбогатеть самым быстрым образом, а согласно принципам отца Гольдмана все это было паразитизмом и жульничеством, но самым непростительным было его жизнелюбие и умение радоваться жизни, он и дела свои вел с той же естественной веселостью и беззаботностью. Еще до того как он ликвидировал свою парикмахерскую и открыл на ее месте убыточный магазин писчебумажных принадлежностей, Шмуэль начал торговать железом и электроприборами, потом стал компаньоном частного кинотеатра и основателем всяких фирм для капиталовложений, открыл компанию по экспорту мяса, и одно время она приносила хороший доход, пока дела не запутались, и пришлось ее ликвидировать, а в последнее время стал получать серьезные доходы от большого ресторана, в котором был компаньоном, и от торговли поддержанными автомобилями, и от аренды автомашин, но с другой стороны, он потерял солидную сумму у Барни Коренфельда на акциях «А.О.С», он приобрел их, несмотря на то, что знающие люди предупреждали его не влезать в это дело, в надежде быстро стать миллионером, и был не так уж далек от этого, через эти акции он стал компаньоном в «Локхид», «Дженерал Моторс», «Телефункен», «Фиат», «Филипс»,

«Мицубиши», «АВМ», в алмазном концерне «Де Бирс» и в еще десятках преуспевающих предприятий: нефтеперегонных заводов, судоверфей, банков, компаний, занимающихся недвижимостью по всей планете, а еще шахт магния и меди, железа и урана, и самых богатых в мире нефтяных скважин, эксплуатация которых должны была вскоре начаться в глубинах Аляски. Но он не обиделся на Барни Корнфельда за то, что его надежды не оправдались, и не разозлился и не впал в отчаяние, потому что всегда, даже когда терял большие деньги и попадал в нелегкое положение, не изменял широте души и не впадал в мелочную расчетливость, поскольку был наделен лучезарной щедростью, крылатой фантазией и бесконечным оптимизмом, он и к отцу Гольдмана, хотя тот и относился к нему холодно, не чувствовал неприязни, даже наоборот, он чувствовал по отношению к нему, вместе с уважением, родственную теплоту и близость, и смерть отца Гольдмана очень огорчила его, он даже отменил традиционную игру в рамми¹² в субботу вечером, на которую, как обычно, собиралось каждый субботний вечер человек двадцать друзей, знакомых, родственников и земляков, все сидели – отдельно мужчины и отдельно женщины – вокруг столов в большой гостиной и на балконе, играли и смеялись, пили чай и кофе, и ели замечательные пироги, которые Брахя пекла каждую неделю, готовясь к предстоящей игре. Теперь, когда беседа перешла на экономические темы, Шмуэль заявил, что в свете нынешнего экономического положения Регине стоит немедленно продать коллекцию марок, которую оставил после себя отец Гольдмана, и приобрести за вырученные деньги магазин сувениров и бижутерии для туристов, или магазин мехов, потому что именно это сейчас хорошо идет, хотя, если бы зависело от него, он вложил бы все деньги в золотые монеты, в основном в медали, цены на которые стремительно растут, а Моше Целермеир сказал: «Это не для нее. Только ценные бумаги, привязанные к индексу», а Хаим-Лейб заметил, что пока еще не вскрыли завещание и неизвестна воля по-

¹² Карточная игра.

койного в отношении этих марок, а Макс Шпильман, карауливший минуту, когда можно смыться, сказал, что предложил бы вдове вложить деньги в земельные участки или квартиры, это более верное капиталовложение, чем магазин, и не менее выгодное, или посоветовал бы ей вложить деньги в машинное оборудование, тракторы или грузовики, чтобы сдавать их в аренду подрядчикам, эти подрядчики сейчас гребут огромные деньги на строительстве зданий и военных укреплений, а если уж думать о биржевых спекуляциях, то он не стал бы вкладывать деньги в медали, а предпочел бы акции, в основном банковские, или акции инвестиционных фондов, или кампаний по торговле недвижимостью, потому что по акциям еще выплачивают дивиденды, а в конце заметил, что по самой грубой оценке, эта коллекция марок потянет тысяч на двести лир; у отца Гольдмана действительно была великолепная коллекция марок, он собирал ее много лет с большой любовью, тайно соревнуясь с двумя своими братьями: дядей Лазарем, но прежде всего с Йоэлем, высоким, слегка сутулым, с большим загорелым лицом, покрытым сетью морщин, под которой неизменно пряталась тонкая, еле заметная улыбка, в последнее время он выглядел усталым, как будто на него внезапно навалилась старость. На похоронах он стоял рядом с Ципорой, дядей Лазарем и Юдит Тенфус, как всегда молчаливый и замкнутый, не проронив слезинки, и только после того как могилу засыпали и все зашагали к выходу, он на миг положил руку на плечо обессиленной от рыданий Брахи, а когда поднялись в автобус, обратился к Хаиму-Лейбу и сказал: «Несмотря ни на что он был достоин уважения и любви», и потом, почти весь вечер, не произнес ни слова, только пил чай, поглядывал на людей и слушал, потому что в отличие от отца Гольдмана, и от Брахи, Йоэль был человеком уравновешенным и молчаливым, причем молчаливость только подчеркивала его вдумчивость и скептицизм, иногда он неожиданным образом мог удивить саркастической фразой, сказанной спокойно, будто невзначай, так он, улыбнувшись, заметил Меиру во время обсуждения судьбы коллекции марок: «Они уже делят про-

цент с капитала, который Господь им еще не дал». Он тоже был сионистом и социалистом, со своими взглядами, но они не носили у него всеобъемлющий и бескомпромиссный характер, а просто были образом жизни, он никому их не навязывал и никогда не судил людей по их идеологии, и никого не пытался убедить в справедливости своих взглядов, ни детей, ни жену Ципору, маленькую, умную, энергичную женщину с румяным лицом, рыжеватыми, но теперь уже поблекшими волосами, и с глазами полными жизни, всегда окруженную уважением, почти благоговением, она полвека спланировала семью любовью и преданностью и, преодолевая тяжелым трудом, экономией и немалой изобретательностью тяготы жизни, ухитрялась содержать семью на его зарплату, всегда малую, хотя он и был искусным формовщиком. Она шила одежду и постельное белье, и вязала, и стирала, и убирала дом, который всегда сиял чистотой, и, пока могла, даже белила его и штукатурила, и покупала самые дешевые продукты и готовила из них самые вкусные вещи, растила и воспитывала своих пятерых детей: Меира, Ермяху, Эстер, Рут и Авиэзера, дружившего с Гольдманом, когда они были детьми, а кроме этого всю жизнь, не жалея себя и не ожидая благодарности, помогала родственникам и близким, и всяким знакомым и друзьям, при этом у нее была куча всяких болезней: и что-то в печени, и что-то в сосудах, и чувствительная к солнцу кожа, а после пятидесяти врачи предупредили ее о смертельных последствиях, если она не заставит себя отдыхать и соблюдать диету, но Ципора не придерживалась всех этих указаний и продолжала жить как и жила все время, потому что всегда было полно работы, которую никто кроме нее не мог сделать, и всегда кто-то зависел от ее помощи, да и смерть ее не пугала, она видела много горя в жизни, но и много радостей, и никогда не стремилась и не надеялась жить вечно, все, что она хотела, это умереть раньше Йозеля или вместе с ним. Ципора сама рассказывала однажды Авиэзеру, что когда ее отец умер, она его поцеловала, ей было тогда тринадцать, и этот поцелуй излечил ее от страха смерти, может быть, не сам поцелуй, а просто близость к мертвому, а в

другой раз она заметила, что не боится смерти, потому что всю свою жизнь, с тех пор как помнит себя маленькой девочкой, была погружена в повседневные заботы семьи и других людей, и у нее не было свободного времени для рассуждений об этом страхе, так что она о нем вообще забыла. Йозель, который любил ее и заботился о ней, не занимался домашними делами, разве что изредка, Ципора и не просила его об этом, он обычно возвращался с работы к вечеру, усталый и грязный, снимал тяжелую рабочую обувь, мылся, переодевался, Ципора подавала ему поздний обед, после чего он, наконец, освобождался для своих любимых дел: занимался цветами на балконе, делал домашнее вино, гулял со своей беспородной рыжей собакой Муссолини, читал исторические книги и биографии, а иногда и хороший роман, планировал что-то по работе и лелеял свою коллекцией марок, из-за нее его отношения с отцом Гольдмана долго были испорчены. Коллекция марок отца Гольдмана, хранимая в больших альбомах и в специальных жестяных коробках, была организована по темам, а коллекции дяди Лазаря и Йозеля, с которыми он соперничал, были организованы по странам, в этом был корень зла, по крайней мере с точки зрения отца Гольдмана, и их отношения остались плохими и после того как это соперничество завершилось полной победой отца Гольдмана после того как дядя Лазарь забросил свою коллекцию, отправившись в Испанию, чтобы принять участие в гражданской войне в рядах интернациональной бригады, а коллекция дяди Йозеля в один прекрасный день сгорела вместе со всей комнатой при пожаре, возникшем из-за падения керосиновой лампы, она превратилась в прах, который летал по комнате, покрывал пол, вылетал в окно и витал над палисадником, это произошло вечером, Йозель в это время гулял с Муссолини, а когда вернулся, его перед домом ждала с печальной вестью Ципора, долгие недели и месяцы он ужасно переживал, хотя и не заговаривал об этом, потеря не давала ему покоя, и только постепенно, как-то незаметно для себя самого, он, как говорят, отошел, и однажды вдруг почувствовал себя свободным от угрызений, как будто сняли с него тяжкую ношу, а

она, на самом деле, все еще на него давила и как-то мешала его отношениям с братом, отцом Гольдмана, хоть они давно уже помирились. А за семь или восемь лет до этого примирения ссора была почти открытой, отец Гольдмана даже думал не приглашать Йоэля с семьей на свадьбу Гольдмана с красавицей Ямимой Чернов и отступился от этого намерения только из-за неустанных просьб Брахи, единственного человека, которого он всегда безоговорочно любил, исключая короткий период времени, когда она отказалась разделить его ненависть к дяде Лазарю и присоединиться к отлучению, отец Гольдмана был настолько разъярен этим, что даже его любовь к Брахе померкла: уж если он на кого-то злился, то все обязаны были разделять его гнев, как и его ненависть, горе или любовь, но Браха не отстала от него, пока он не согласился пригласить Йоэля. А сам конфликт начался с разногласий по поводу ценности одной итальянской марки, от них перешел на неприятную дискуссию о сравнительной ценности двух коллекций, и, наконец, превратился, из-за неуступчивости отца Гольдмана, в бесконечную перепалку о классификационном принципе, по которому нужно собирать марки. Отец Гольдмана, в ходе перепалки он задел даже Ципору, которую в глубине души уважал и ценил, не только непримиримо отстаивал «принцип темы», но и старался навязать этот принцип Йоэлю, который, хоть и пытался уйти от всех этих споров, но не проявил никакой склонности изменить свой принцип построения коллекции, что вывело из себя отца Гольдмана, и он посчитал себя настолько задетым, что разорвал всякие отношения с братом и не разговаривал с ним несколько лет. Все попытки Йоэля помириться с ним, все посреднические миссии Хаима-Лейба и Авраама Шехтера, Мира и Самуила, и других родственников и друзей не увенчались успехом, как и тяжелый разговор с Ципорой сразу после свадьбы Гольдмана, и даже мольбы Брахи, ее мучила эта ссора, как и отлучение дяди Лазаря, все было напрасно: отец Гольдмана, становясь с годами все мрачнее и желчней, держался за свою обиду, разрываясь между чувствами гнева и отчуждения, с одной стороны, а с другой – любви к брату и

страха за собственное одиночество. И он ждал хотя бы еще одного жеста примирения со стороны Йозеля, пусть самого малого, чтобы уцепиться за него и поправить ситуацию, он чувствовал себя виноватым, но Йозель уже не верил в пользу таких попыток и ничего подобного не предпринимал, и так прошли годы, пока однажды у Йозеля вдруг не случился инфаркт, и отец Гольдмана, испугавшись этого известия, поспешил в больницу, решив заодно попросить у брата прощения и помириться с ним, но когда вошел в палату и приблизился к его кровати, и увидел сидевших вокруг Ципору и Меира, Авиэзера и Рут, и Йону Кучинского, и Браху, почувствовал, как тяжело ему будет это сделать, особенно после того как прошло столько времени, он с волнением пожал Йозелю руку, спросил его о самочувствии и произнес: «Ничего не поделаешь, мы не становимся моложе», затем разговорился с ним и с присутствующими, даже попытался шутить, он был бледен, слезы царапались под веками, но намеченный поступок он все отодвигал и, в конце концов, так на него и не решился, посчитав, что уже сам факт визита является актом примирения, так оно и случилось, но известная неловкость осталась в их отношениях и рассеялась только через много лет, уже после того как коллекция Йозеля сторе-ла. Отец Гольдмана никогда не признался, что причиной этой ссоры был дурацкий бессмысленный спор вокруг коллекции марок, и старался позабыть об этом, только один раз, через годы, объяснил Аврааму Шехтеру, что не мог простить человека, пытавшегося сжульничать в карты, он сказал это по своему обыкновению совершенно прямо, лишний раз не подумав, но Йозель не играл в карты, в отличие от отца Гольдмана, который играл в рамми и видел в этом свою главную, хотя и единственную слабость, терзавшую его всю жизнь, ведь он считал картежную игру позорным занятием, граничащим с продажностью, и в то же время был страстным игроком, играл с энтузиазмом и такой властью, что в последние годы уже почти невозможно было сидеть с ним за карточным столом, потому что он постоянно поучал игроков как им играть, причем с такой настойчивостью и сердито-

стью, что портил всем настроение от игры и частенько вызывал взрывы гнева и обиды, и все попытки Шмуэля и других обуздать его были тщетны, он гнул своё, в большинстве случаев не отдавая себе в этом отчета, а иногда и вопреки собственной воле, и не отступал от своего мнения даже тогда, когда ходы, которые он навязывал своим противникам, могли привести к его собственному поражению, потому что он играл воистину ради самой игры, и ему было наплевать, что таким образом он лишает игру смысла, это от раза к разу становилось все невыносимей, пока, наконец, Моше Целермейер, который всегда сидел рядом с женой с мрачным лицом, перестал приходить на вечера рамми, и он не был единственным, так и не объяснив, почему он это сделал, потому, что любил отца Гольдмана и испытывал к нему бесконечное чувство благодарности и уважения, но вместе с тем поклялся в душе, что никогда больше не сядет с ним за общий карточный стол и даже не будет находиться в одной комнате, и он выполнил свой обет, вопреки сожалению и неловкости, и, конечно, ценой отказа от удовольствия поиграть, и это невзирая на повторяющиеся приглашения Шмуэля и Брахи, они между тем прощались с Максом Шпильманом, тот собрался уходить, пожал на прощанье руку Регине, что-то сказав ей при этом, потом кивнул головой Цезарю и, уже уходя, коснулся плеча Гольдмана, тот как раз вошел в комнату с двумя чашками кофе Цезарю и Израэлю, чашки были фарфоровые, одна – с поломанной ручкой, а фарфоровые блюда были украшены ярким и изящным рисунком. Гольдман протянул друзьям кофе и попытался пошутить: «Пожалуйста, чешский сервиз», потом обратился к Меиру и Ермияху, обменялся с ними несколькими общими фразами и спросил, не хотят ли они чего-нибудь, он любил их, и Авиэзера, и Рут, и Эстер, но с годами потерял всякую связь с ними, осталась только память о любви и, конечно, память о родственной близости вместе с тягостным чувством какого-то невыполненного долга, он обратился с тем же вопросом к Йоэлю и Ципоре, она всегда, больше чем кто-либо, вызывала в нем чувство глубокого уважения, и это не считая благодарности

за то, что она взяла его к себе и опекала, когда у Регины была болезнь почек, Ципора сказала: «Не волнуйся. Все в порядке», Гольдман попробовал настоять: «А может, все-таки, тетя Ципора?», но Ципора снова отказалась: «Нет, нет. Ничего не нужно», и Гольдман, кивнув, сел рядом с Цезарем и Исраэлем. Могло показаться, что он в приподнятом настроении: говорил без умолку, хотя и несколько рассеянно, шутил, но в углах губ и в зеленых глазах была печаль и влажный блеск, которые он не мог скрыть, так, улыбаясь время от времени, он иронизировал об успешных похоронах отца, о завещании, которое тот сочинял в течение последних четырех лет, о членах семьи и друзьях, которые вот снова вместе, как в лучшие годы, и о том, что, наконец-то, можно без всяких опасений пользоваться чешским сервисом, ведь отец умер и теперь все дозволено, при этом он наклонил голову в сторону Манфреда и сказал: «А вот Манфред, любовник мамы», и хмыкнул, а Цезарь сказал: «Молодец», и улыбнулся от удивления и неловкости, даже почувствовав определенное удовлетворение, Исраэль промолчал, и его лицо осталось неподвижным, хотя и он был удивлен и смущен, но не только тем, что Гольдман позволил себе ляпнуть такое, но и тем фактом, что у Регины есть любовник, потому что она уж никак не была похожа на женщину, которая может себе такое позволить. Цезарь повторил: «Ну, ты молодец», и, продолжая улыбаться, перевел взгляд от Манфреда к Регине, которая сидела замкнутая и равнодушная, не глядя на Манфреда, а Гольдман, не обративший внимания на улыбку Цезаря, сказал: «Он один из немногих, кто действительно опечален, но не из-за моего отца», при этом взял печенье, покрутил в руке и добавил: «Что касается меня, то мысль о мертвых меня радует», он не сказал, каких мертвых он имеет в виду, откусил печенье и, посмотрев на вдову Моше Цеймера, которая продолжала что-то шептать и раскачиваться, сказал, что он всегда думал о смерти и о мертвых, стараясь при этом не терять спокойствия и радости, ведь, в конце концов, смерть реальная часть жизни, и он знает, что её не нужно бояться, Цезарь сказал: «Правильно», хотя было очевидно, что он во-

все не слушал Гольдмана и высказался по какому-то другому поводу, но Гольдману было все равно, он продолжал свои мысли вслух, о том, что его любимая литература, кроме поваренных книг, которые он ежедневно почитывает, это публикуемые в газетах траурные объявления, особенно те, что сопровождаются короткой историей, иногда в форме акrostиха, построенного из букв имени умершего, о достижениях покойного и горе его семьи, вдруг он замолчал, улыбка погасла, и тут же тень легла на его сухое лицо, так что Израэлю, посмотревшему на него в этот момент, показалось, что он внутренне сжался. Цезарь отхлебнул из чашки и сказал: «Все глупо», и Гольдман, снова заулыбавшись, поддакнул: «Ты прав», посмотрел на мать, на людей, сидящих в комнате, на Йоэля, на вдову Моше Цеймера и сказал: «Эту женщину я терпеть не могу», взял еще печенье и рассказал, что прочитал однажды о китайском художнике, который нарисовал монаха, сидящего на дереве и смотревшего вниз, и сделал на картине надпись, где были, приблизительно, такие слова: «Невозможно найти покой в этом мире страданий и хаоса. Вы спрашиваете меня, зачем я сюда забрался. Так вот, здесь на дереве я могу быть свободным от всех забот, как птица в гнезде. Люди говорят, что я опасен, но я им отвечаю – вы сами демоны!», Цезарь сказал: «Мне сейчас не до этого. Я не китаец», но Гольдман возразил: «В этом смысле все китайцы», он хотел еще что-то прибавить, но в этот момент вошла Элиззра, и все присутствующие повернулись к ней, Цезарь сразу напрягся, а Гольдман встал и направился ей навстречу, она пожала ему руку, потом Регине, кивнула Израэлю, и, приняв приглашение Цезаря, села рядом с ним, Гольдман спросил, что она будет пить, Элиззра ответила: «Ничего. Только что пила», а Цезарь, широко улыбнувшись, положив руку на ее колено и бросил: «Я звонил тебе, никто не ответил», Элиззра, мягко сняв его руку, ответила: «Я, наверное, была уже в дороге», Цезарь обронил: «Возможно». Сам он врал легко, без всяких угрызений совести, даже когда его вранье было очевидно, и когда в нем не было никакой необходимости, а иногда и во вред себе, он так привык к вранью, что

оно выскакивало из его рта как выскакивают из травы молодые кузнечики, он так часто врал, что даже сам забывал иногда, где правда, а где ложь, но все это, как уже было сказано, мало его беспокоило, поскольку он превратил вранье в принцип, начав с вранья для удобства или из трусости, он научил себя верить в то, что никакой морали не существует и что ложь сильнее правды, и только она способна направить течение жизни в тихие заводи счастья, а правда, которую так любят превозносить, приносит, как он считал, мало пользы, но много горя, конфликтов и ненужных трудностей, и Цезарь (он вновь положил руку на колено Элизэры) не видел никакого смысла тратить время на доказательства своих принципов; Элизэра, осторожно отодвинув ногу, сказала: «Не сейчас», Цезарь убрал руку и сказал: «Глупости», улыбнулся ей и зажег себе сигарету. На ней было сине-зеленое свободное платье с большим круглым вырезом, открывающим красивую и гордую шею, ее золотистые волосы были завязаны фиолетовым шелковым шарфиком, и груди вызывающе торчали как большие груши, в общем, она была красива и знала это, это знание, с одной стороны, укоренило в ней ощущение, что в ее красоте есть некий непреходящий высший смысл, но, с другой стороны, она не была в этом уверена и жила в постоянном опасении, что с каждым днем красота ее пропадает, уничтожается, и это двойственное ощущение сделало из нее женщину заносчивую и капризную, полную страхов и горечи (со временем они почти ничего не оставили от ее природной прямоты и душевной щедрости), требующую неустанного к себе внимания, восхищения и поклонения, хотя на самом деле ей нужно было хоть немного уверенности в себе и ощущения своей нужности, а поскольку она не могла этого найти в себе самой, то шла по жизни вновь и вновь спотыкаясь. Цезарь поигрался с ее шелковым шарфиком, а потом положил руку ей на плечо, и Элизэра спросила: «Почему вы не были на похоронах?», Цезарь сказал: «Не получилось», и погладил ее затылок, Элизэра, позволив ему себя трогать, сказала: «Я ненавижу свадьбы и похороны, потому что всё там фальшиво», Цезарь кивнул и что-то пробурчал в

знак согласия, не потому что одобрял или вообще обращал внимание на ее слова, даже если бы она сказала, что солнце это жертвенный петух, а стол это бабочка, он и тогда подтвердил бы ее слова не задумываясь, потому что ему важен был только тот факт, что она к нему привязана и с пылкостью отдается ему каждый свободный час. Израэль отвернулся от Цезаря и Элизры и посмотрел на ожерелье, одетое матерью Гольдмана, потом на Манфреда, и на Матильду Левитан, которая сильно состарилась, и на фотографию Наоми в коричневой деревянной рамке, стоявшую на одной из полок книжного шкафа, где теснились тома Берла Кацнельсона и Бен Гуриона вместе с сочинениями Бялика, Бренера и Шалом Алейхема, а также другие старые и новые книги, которые отец Гольдмана покупал, экономя на всем, и хранил с фанатичной аккуратностью, почти в них не заглядывая, и Израэль вдруг почувствовал раздражение, мысль о том, что Элла заходила в студию как раз, когда его не было, вцепилась и не отпускала, лишая душевного равновесия, и постепенно он так разозлился, что пожелал в сердцах, чтобы она вообще никогда больше не приходила и оставила бы его в покое, он собрался встать, попрощаться со всеми и уйти, чтобы вернуться в студию, принять душ и поиграть, но в этот момент к нему обратилась Элизра и спросила, как продвигается освоение органа, он бросил: «Нормально», а Гольдман, который протянул им тарелку с печеньем, начал рассказывать о новой диете, которую нашел в американском журнале воздухоплавания, она, мол, способна продлить жизнь на семь-десять лет, если, конечно, соблюдать её без отклонений. В рамках этой диеты, основанной на тщательном подборе и сочетании белков и углеводов, нужно голодать раз в год две или три недели подряд, в зависимости от возможностей конкретного человека, чтобы очистить тело от скопившихся шлаков, и в той же статье рекомендуется ампелотерапия, лечение виноградом, эта система лечения предусматривает потребление двух с половиной килограмм винограда в день, и больше ничего, в течение нескольких недель, что улучшает кровоснабжение и полезно для сердца, легких, печени, по-

чек и сосудов, закончив объяснение, Гольдман прибавил, что собрался придерживаться диеты с голоданием, а заодно и полечиться ампелотерапией, и посоветовал Израэлю, и особенно Цезарю, последовать его примеру, Цезарь обронил: «Может как-нибудь, пока не горит», а Гольдман сказал: «Ты укорачиваешь себе жизнь просто так», после чего заговорил о мотоциклах, но прежде чем углубиться в эту тему, попрощался с Сарой, золовкой Регины, женщиной тяжелой и неуживчивой, которая собралась уходить после того как решила, что она выполнила свой долг по отношению к этим людям, виновным по ее мнению в том, что со дня смерти мужа почти никто из них не потрудился ее навестить, хотя и муж порядком ее недолюбливал, но Гольдман все-таки, расставаясь с ней, старался быть приветливым и проводил ее до двери, а когда вернулся, вновь обратился к Меиру, Ермиаху, Йозелю и Ципоре и спросил, не хотят ли они чего-нибудь, а также спросил Хаима-Лейба и госпожу Хаю, а затем вернулся на место, рядом с Израэлем, и опять заговорил о мотоциклах, это была новая мечта, которая воодушевляла его и фокусировала его стремления и надежды, он уже сэкономил некоторую сумму для этой цели и последние несколько недель постоянно просматривал объявления о продаже мотоциклов в газетах, в магазинах и гаражах, интересовался у друзей и читал всякие проспекты. В начале он собирался купить «BSA» или «Нортон», но потом решил на «Хонду», а все потому, что страстно желаемый «Харлей-Девидсон» был ему не по карману, в конце концов, он обнаружил подержанный «Триумф», пять лошадиных сил, в отличном состоянии, и решил его купить, но неожиданная болезнь отца спутала все планы, и он опасался, что мотоцикл продадут кому-нибудь другому, и тогда он снова окажется в том же положении, в каком пребывал, перед тем как нашел этот великолепный «Триумф». Гольдман говорил о своих проблемах с мотоциклами, обращаясь в основном к Цезарю, у которого было хоть какое-то представление о машинах и общие понятия о механике, а Цезарь, хотя его мысли были заняты совсем другими вещами, и в последнее время ему уже не раз приходи-

лось все это выслушивать, сделал вид, что вникает в сомнения и колебания Гольдмана, он даже ронял время от времени какое-то замечание о свойствах различных мотоциклов, пока Элиэзра неожиданно не нарушила эту гармонию: «Хоть убей меня, Гольдман, но я не могу понять, для чего тебе мотоцикл», и Гольдман, смутившись, сказал, что мотоцикл это очень удобное средство транспорта, особенно для города, гораздо удобнее автомобиля, и намного дешевле, а потом, усмехнувшись, добавил, как бы с иронией, что его привлекает скорость мотоцикла, в скорости есть некое стремление, свойственное, возможно, каждому человеку, подразнить смерть, но Элиэзра прервала его: «Если тебе захотелось стать новым Джеймсом Дином, то ты позновато спохватился, а если ты просто хочешь себя убить, то лучше прыгни с крыши. В любом случае американская диета оказывается излишней», и она рассмеялась. Рассмеялся и Гольдман, пытаясь таким образом скрыть охватившую его неловкость и проглоченную обиду, ведь сам был во всем виноват, потому что без всякой необходимости стал откровенничать, а это всегда смешно, тем более что ему уже за сорок, и он прекрасно сознавал и свое бессилие, и свои возможности в этой жизни, которых становилось все меньше и меньше, и знал насколько смешна и бессмысленна вся эта затея с мотоциклами, и насколько права Элиэзра, она в это время сделала глоток из чашки Цезаря и, безжалостно взглянув на Гольдмана, бросила: «И не жди, что кто-то тебя пожалеет и будет умолять тебя остаться в живых», Гольдман сказал: «Я ни от кого ничего не жду» и, снова улыбнувшись, обратился к Цезарю: «Я куплю этот «Триумф»», Цезарь сказал: «Купи», взял чашку из рук Элиэзры и сказал ей: «Давай. Пошли», и оба встали, попрощались с Региной и Гольдманом, который проводил их до двери, а когда вернулся, сказал Исраэлю: «Пошел ее трахать» и тут же добавил: «Баба классная, но я бы не хотел попасть в ее руки, настоящая Брунгильда, нет в ней ни капли любви или скромности, или чего-то такого, она испорчена насквозь и думает только о себе, точно как Цезарь», и, извинившись, вышел в туалет. Исраэль решил подождать, пока Гольдман

вернется, чтобы попрощаться с ним, а пока рассеянно слушал утомительную беседу, которая велась за столом, наблюдал, как вдова Моше Цеймлера встала, попрощалась с Региной и со всеми присутствующими, Ципора, которая с трудом ответила на ее «шалом», следила за ней тяжелым взглядом, пока та не вышла, после чего сказала Йозлю: «Человек не может заклеить себе рот, но надо хоть на время его закрывать, есть же и другие люди на белом свете», и через минуту добавила: «Такая трещотка. Это не говорит о большом уме», и, снова обратившись к Регине, предложила ей стакан сока и кусок пирога: «Поешь. Тебе не за что себя наказывать», Регина сказала: «Я не хочу есть», затем попрощалась с Матильдой Левитан, которая тоже поднялась, чтобы уйти, а когда проходила мимо Исраэля, тот кивнул ей и сказал: «Шалом», Матильда, чье дряблое как тесто лицо годы и бедствия лишили всех признаков жизни, задержалась, посмотрела на него неуверенно и ответила: «Шалом», но по взгляду, брошенному на него и по тому, как неуверенно она произнесла приветствие, было ясно, что она не помнит его, и действительно прошло уже двадцать лет, с тех пор как он заходил в ее дом, когда дружил с Ханохом, который умер в течение 48 часов в один из летних дней, когда ему было лет двенадцать, заболев, так утверждали соседи и учителя, тяжелым воспалением легких из-за того что бегал целый день, горячий от температуры и вспотевший, за телегой со льдом, и съел целый брусок льда, подбирая осколки, падающие на дорогу. Это случилось через несколько лет после Войны за Независимость, Авиноам, который был ранен на войне, был еще в Америке, куда его послали лечиться, он учился на агронома, а позже вернулся в страну с женой-американкой, поселился в мошаве¹³ и завел хозяйство, а Соня уже рассталась со своим французским инженером, с которым жила четыре года в Ницце, родив ему сына, и по слухам оставила Францию и переехала в Лондон, или в Амстердам, где работала в барах и ночных клубах то пианисткой, то танцовщицей и ждала, что

¹³ Кооперативное сельскохозяйственное поселение.

кто-то заметит ее и даст ей роль в театре или в кино, надо сказать, что это ожидание не было совсем безнадежным, у нее были способности, и она привлекала внимание, и хотя к этому времени ничего не достигла и была этим удручена, но несколько раз была близка к осуществлению своих желаний, два или три раза о ней, как об актрисе, даже писали газеты в Израиле, однажды даже написали, что она будет сниматься в кино, что не принесло ее отцу, Иосифу Левитану, ничего кроме разочарования и стыда, которые он молча носил в себе, а отец Гольдмана сказал о ней: «Она просто блядь». Ее фотография красовалась на пианино, а маленький, гипсовый, цвета бронзы, бюст Бетховена, стоял в углу большой комнаты, а посреди комнаты располагался тяжелый черный стол, и каждый день, кроме суббот и праздников, его открывали во всю длину, и человек двадцать пять садились вокруг обедать, Матильда готовила на всех и подавала обед в больших фарфоровых тарелках, глубоких и разукрашенных по краям маленькими цветами или полоской, золотой или голубой. Еда была простой, но вкусной и сытной, кормили щедро и дешево, и кроме того царил приятная, домашняя обстановка, потому что Матильда, женщина старательная и по матерински заботливая, создавала вокруг себя атмосферу легкости и свободы от всяких условностей, и к тому же посетители были постоянные, знакомые друг с другом: служащие, врач, художник, несколько владельцев соседних магазинов, двое учителей, инженер строитель и один человек по имени Йошуа, он был вегетарианцем и напоминал аскетической внешностью Ганди: такой же худой, быстрый, поджаренный солнцем до черноты и совершенно лысый, летом и зимой он ходил в странных парусиновых тапках, шортах и рубашке из хлопка или льна, каждый день купался в море и занимался гимнастикой, а все свободное время проводил либо на берегу, либо в полях, фруктовых садах и рощах вокруг города, он умел подражать звуку морского прибоя, шуму ветра, шуршанию листьев и голосам птиц и зверей, особенно он удивлял всякими фокусами с вырезанными силуэтами гусей, лебедей, лисиц, огромных бабочек, и всяких удивительным су-

ществ, созданных по прихоти его фантазии: рыб с крыльями, двуглавых птиц и всяких невиданных зверей, которых он весело передвигал на стене и оживлял разными голосами; дети, прилипнув к стульям, смотрели на эти представления, не отрываясь, впрочем, как и взрослые, в полном изумлении, а иногда и с легкой тревогой, порой вскрикивая от удивления. Он притягивал к себе, но в то же время чем-то смущал и даже пугал, и не только своей монашеской внешностью, на самом-то деле он был веселым и жизнерадостным человеком, а еще и тем, что в его необычности было что-то чужое и таинственное, он абсолютно пренебрегал общими целями и стремлениями, всякими принятыми образами жизни и их проявлениями, и был полностью уверен, что живет в гармонии с природой и близок к пониманию ее самых сокровенных тайн и законов, на что в какой-то мере намекали его фантастические силуэты, двигавшиеся на стене (он и сам выглядел как один из них), несмотря на свою странность, они казались совершенно естественными, как будто существовали испокон века в лесах, ущельях или глубинах морей, а он только вытаскивал их на минуту и весело открыв зрителям, но близость к природе не была для него развлечением или вызовом, но верой и предназначением, и во время обеда он часто повторял, что природа девственна и безошибочна, и что человек во всех своих исследованиях не пытается понять ее по-настоящему и ужиться с ней, а постоянно ее насилует и истязает, тем самым роая себе могилу, потому что природа в конце концов, победит, и только в соответствии с ее волей можно создать жизнеспособную цивилизацию, ведь природа выражает гармонию, правильный порядок вещей и основной закон вселенной, который нельзя безнаказанно нарушать, только ценой полного хаоса и катастрофы, он не раз с увлечением делился своими апокалипсическими фантазиями, любил попугать концом мира, захваченного сонмами насекомых или гигантскими травами и растениями, и часто повторял за обедом, обращаясь ко всем, и особенно к Иосифу Левитану, который с интересом его слушал: «Все, что противоречит природе, в конце концов, погибает», но Иосиф Левитан мало

задумывался о природе, которая казалось ему примитивной, его больше интересовал человек, общество. Высокий и мрачный, с большими ушами, длинными руками и печальным лицом, всегда озабоченным и беспомощным, он служил бухгалтером на предприятии, принадлежащем Профсоюзному Объединению, и неизменно носил, весьма необычно для своего круга, коричневые костюмы на размер больше чем нужно, они выглядели на нем старыми и скомканными, и все что он знал о жизни в результате долголетнего за ней наблюдения, чтения книг и размышлений, привело его к убеждению, что общественное устройство несправедливо, возможно, не поправимо, а человек, особенно городской, находится под постоянным экономическим и психологическим прессом, и чем больше город, тем сильнее в нем отчуждение и насилие, тем страшнее давление на человека, город лишает свободы, одухотворенности и радости жизни, превращая существование человека в нечто низменное, лишённое смысла, надежды, и даже просто покоя, и он пришел к выводу, что необходимо действовать, чтобы изменить это положение, и вот, под влиянием социалистической и либеральной литературы, и примера киббуцев, ему пришла в голову мысль о создании городских коммун, которые смогут вернуть человеку то, что мир отнял у него, и после того как эта идея засела у него в голове Иосиф Левитан (он не был особенно деловым человеком, но был старательным и упорным в работе), стал делиться ею с разными людьми, некоторые ею заинтересовались, постепенно вокруг него сформировался небольшой кружок энтузиастов, поставивший перед собой цель: создать городскую коммуну, в которой объединятся рабочие, торговцы, ремесленники и лица свободных профессий, они будут продолжать заниматься своим прежним делом, но свои доходы будут сдавать в общую кассу коммуны, которая будет обеспечивать каждому его потребности, они будут жить все вместе, вместе есть, вместе устраивать праздники, вместе растить детей, и все это на основе полного равенства, сотрудничества, взаимной помощи, дружбы и абсолютной политической и личной свободы. Кружок постепенно расширялся, присоеди-

нялись новые люди, в том числе и отец Гольдмана, который знал Иосифа Левитана еще со времен «Молодого рабочего»¹⁴, потом их пути разошлись, а вот теперь, через много лет, они снова сблизились, часто встречались и вели долгие многочасовые беседы о делах группы, она время от времени собиралась, чтобы обсудить свои проблемы и выработать программу и устав, способные объединить людей с разными мнениями: социал-утопистов, полумарксистов, всяких мечтателей либерального толка, что было не просто, так что, несмотря на целеустремленность и воодушевление, все эти разъяснения занимали время, и только через два года им удалось сформулировать устав, удовлетворивший всех, он охватывал все стороны жизни: личную, семейную, общественную, определял права и обязанности, и даже предусматривал место для всяких отклонений и неожиданностей, а жизнь всегда их преподносит. К уставу прилагалась программа, где вместе с описанием предыстории создания коммуны и провозглашения ее принципов: сотрудничества, равенства, свободы и дружбы, объявлялись и общественные цели коммуны, и было подчеркнуто, что коммуна не видит себя как нечто особое и временное, созданное чтобы решить проблемы ее участников, но видит себя первым этапом и проводником для многих, кто пойдет по этому пути и осуществит мечту о мире, полностью состоящем из таких свободных коммун; и действительно, одновременно с формулировкой программы и устава коммуны, были сделаны и практические шаги для ее создания: коммуна зарегистрировалась, как добровольное объединение и присоединилась к Центру Кооперации, был приобретен большой участок земли около города, на котором началось строительство жилых помещений и других зданий, запланированных после многочисленных консультаций с членами группы, и через несколько лет, после многих и досадных задержек, большинство подготовительных работ было завершено, члены город-

¹⁴ Апоэль ацаир – молодежная организация социалистического сионизма.

ской коммуны перешли в построенный комплекс, по общему согласию это было сделано с достаточной осторожностью, никто, например, не продал своей городской квартиры и многие оставили в своей квартире большую часть мебели и других вещей, и даже не сдали ее. Отец Гольдмана покинул группу за год до этого, вскоре после гибели Наоми, а когда первые коммунары начали переселяться, он уже был за границей, вернувшись через три года, он не нашел ни коммуны, ни Иосифа Левитана: коммуна распалась, а Иосиф Левитан умер от сердечного приступа за полтора года до его возвращения, это известие, через несколько дней после возвращения, вызвало у него приступ страшной ярости, с побледневшим лицом он грохнул кулаком по столу и хрипло закричал: «Это безобразие! Почему вы мне не сообщили!», а затем уединился на кухню, схватил голову обеими руками и заплакал, как маленький. Регина закрылась у себя в комнате, Гольдман сбежал из дома, а его отец сидел один и плакал до изнеможения, и вновь начинал плакать, и так до вечера, вечером он встал, вымыл лицо и пошел навестить Матильду, которая жила на маленькую пенсию мужа и на те обеды, которые возобновила у себя в доме для пары десятков клиентов, почти все были новенькие, а прежние рассеялись или умерли, и он сидел у нее часа два и за эти два часа не произнес ничего кроме нескольких банальных фраз, а после выпуска новостей поднялся, пожал ей руку и ушел, а на следующий день навестил могилу Иосифа Левитана, и продолжал еще некоторое время навещать ее с необъяснимым упорством и последовательностью, однажды он попросил и Гольдмана пойти с ним, но Гольдман увильнул, он просто не в состоянии был находиться наедине с отцом, тот ни разу в жизни не заговорил с ним по душам, и лишь иногда, очень редко, глядел ему прямо в глаза, кроме того он ненавидел кладбища и всякие церемонии, особенно поминальные, а если бы мог, то и сейчас сбежал бы из дома, только вежливость и чувство долга принуждали его остаться, но когда он вышел из туалета, то сказал Израэлю: «Давай, посидим немного в моей комнате. Я устал от всех этих людей, и прежде всего от матери», и оба

зашли в комнату Гольдмана, которая была между салоном и маленькой комнаткой, которая когда-то принадлежала Наоми, только комната Гольдмана выходила, как и комната Наоми, окнами на большой домашний двор, а салон выходил окнами на улицу. Исключая период Войны за Независимость, когда он прервал учебу в гимназии и служил в армии, и те три недели, когда он был женат на красавице Ямиме Чернов, Гольдман не покидал этой комнаты, и в ней за все эти годы почти ничего не изменилось: все та же железная кровать, покрытая грубым шерстяным одеялом цвета беж с зеленым, уже выцветшим орнаментом, а на нем все те же тяжелые подушки в ситцевых наволочках с цветочками, вышитыми Региной, у окна – старый, ободранный письменный стол, а перед ним коричневый стул с овальным подголовником, и еще большое, тяжелое кресло в углу комнаты, в случае надобности его превращали в постель, а рядом, напротив кровати Гольдмана, стоял застекленный книжный шкаф; даже тройной подсвечник и занавески на окнах были все те же, новым было только ощущение необжитости и тонкий запах старья, стоявший в комнате, хотя она, как всегда, была идеально прибрана, впрочем, несколько новых вещей прибавилось, и среди них выделялся своим уродством светильник на длинной ножке в виде позолоченной змеи, держащей во рту лампу, покрытый куполообразным красным абажуром с золоченой бахромой. Эта лампа на ножке была одним из многочисленных свадебных даров, оставшихся у Гольдмана после того как почти все подарки были со стыдом возвращены многочисленным родственникам и друзьям, побывавшим на грандиозной свадьбе, организованной отцом Гольдмана, хотя и не имевшего никакой склонности к бахвальству и внешнему блеску, но зато отличавшегося щедростью, а главное, неутолимым стремлением к идеалу, и, невзирая на сопротивление Гольдмана, чуравшегося этой пышности, он пригласил на свадьбу целый оркестр из семи музыкантов и заказал такое количество пива и сосисок, не говоря уже о пирогах, что еще целую неделю после свадьбы вся семья питалась этими жареными, вареными и печеными сосисками,

не забывая поделиться изобилием с соседями и друзьями, и конца этому обжорству все не было, наконец, Регина, опасавшаяся отравления, выбросила оставшиеся сосиски на помойку к большому неудовольствию отца Гольдмана, который хоть и вздохнул вместе со всеми с облегчением – эпопея как ни как завершилась – , но при этом не забыл и осудить подобную расточительность; однако все это было мелочью по сравнению с позором неожиданного развода Гольдмана, поступка совершенно непростительного в его глазах, тем более что он посчитал это действием, направленным против него лично, с которым он так и не примирился, развод, по его мнению, мало чем отличался от проституции, и он старался изо всех сил предотвратить его, а затем, и совершенно безуспешно, – скрыть факт развода от соседей и близких. А эту лампу, уже после того как Гольдман и красавица Ямира Чернов растались, привезли из магазина по заказу какой-то дальней родственницы Регины, приехавшей из Америки в качестве туристки и к тому времени уже успевшей вернуться, так что некому было возвращать эту лампу, она так и осталась в комнате Гольдмана, стояла возле его кровати у стены, обклеенной в стародавние времена фотографиями быков и матадоров, потом фотографиями автогонщиков и гоночных машин, а в последние годы на ней висел только один темный пейзаж и увеличенная фотография его сестры. В этой комнате Гольдман бился над своими и мировыми проблемами и черпал из своего разочарования и отчаяния картины грядущей освобожденной, дерзкой и безудержной жизни, в ней он развлекался своими фантазиями и учился, с безмерной горечью и тяжелым чувством поражения, смиряться с неосуществимостью своих мечтаний, но потом вновь и вновь, от зависти, тоски и надежд, отчаянным усилием воображал себе яркую и дикую жизнь, вне всяких законов и реальных возможностей. И при этом он неустанно приучал себя думать о своей неизбежной смерти с абсолютным спокойствием, и даже с готовностью ее встретить (хотя и жаждал жить тысячу лет), вот только все эти неустанные и изощренные тренировки ума приносили жалкие результаты: ему не удавалось прими-

ряться с тем фактом, что однажды он навсегда перестанет существовать, а сама смерть, хоть и была в его глазах реальной и приближающейся, и он разными путями старался утвердить для себя ее реальность, все равно оставалась чем-то таинственным и непонятным, а потому мучительным и пугающим, она так и не превратилась в нечто, что дано почувствовать или сравнить с чем-нибудь, уже пережитым, кроме разве что внезапной смерти Наоми, которая глубоко потрясла его и совершенно разрушила всю семью. В одночасье, сразу после ее смерти, лопнули все обручи, стягивавшие семью в единое целое, и преисподняя ненависти и ожесточения, годами шевелившаяся под покровом привычек, обычаев вежливости и общественных правил, вырвалась наружу, и это извержение, казалось, вот-вот поглотит и уничтожит семью, но буря продолжалась недолго, эти могучие и мрачные обручи ненависти и ожесточения, и, конечно, страха, всегда державшие его родителей вместе, так что они выглядели как обычная семья, и теперь одолели все центробежные силы и сохранили внешние рамки, только, в отличие от прошлого, ненависть, теперь ядовитая и разнузданная, осталась открыто бурлить, беспощадно отравляя остаток их дней. Не исключено, что они пришли бы к тому же и без гибели Наоми в дорожной катастрофе, но эта гибель вызвала, хотя в тот раз и не Наоми вела машину, темную ярость отца Гольдмана: он изначально был против того, чтобы дочь стала шофером, и десятки раз предрекал ужасные последствия, потому что вождение машины женщиной никак не согласовывалось с его мировоззрением и было, как и большинство поступков Наоми, «плохим поведением», предназначенным для того, чтобы разозлить его, однако Наоми, которая была очень замкнутой и самостоятельной, хоть и относилась к нему всегда с уважением и пониманием, и даже с любовью, открыто и упрямо шла своей дорогой, не принимая во внимание его недовольство, это касалось и ее отношения к деньгам, или к одежде, также решительно она перестала заниматься скрипкой, когда решила, вопреки его планам, стать после окончания учебы в гимназии учи-

тельницей физкультуры, а однажды заявила, что прекращает учебу и идет служить в британскую армию (уже не говоря о её романе с англичанином, о котором им стало известно далеко не сразу), и действительно, после месяца споров, просьб и тяжелых ссор она поступила на службу и уехала. Регина, хотя и держала себя с Наоми всегда сдержанно и деловито, была к ней сильно привязана, и в последний день перед отъездом организовала в ее честь праздничное, как на Пасху, застолье, приготовила рыбу и мясной суп, клёцки с телячьими ребрышками, любимые Наоми картофельные оладьи, компот из сухофруктов, маковый пирог, и они вчетвером: отец Гольдмана и Регина, и Гольдман, которому было тогда двенадцать, и Наоми, годами вместе не собиравшиеся, сидели в гостиной вокруг стола, покрытого белой скатертью, и молча поглощали кулинарные чудеса Регины, а когда трапеза закончилась, Наоми встала, взяла маленький чемодан и вещмешок, стоявшие в коридоре, вернулась в гостиную, пожала руку Гольдману, потом поцеловала его, и отца, который продолжал сидеть, как каменный, и только на минуту перестал притворяться, что читает газету, поцеловала Регину, которая проводила ее до дверей и осталась там, у дверей, пока не затих шум шагов, а Гольдман ушел в свою комнату и растянулся на кровати, лицом к стене; он тяжело переживал её смерть, но довольно скоро признал тот факт, что так или иначе ее уже не вернуть, и постепенно смирился с ним, как с постоянным фактором своей жизни, а отец Гольдмана, который ни разу не навестил её могилу, усмотрел в ее гибели наказание за ту историю с англичанином, а также козни, направленные против него лично, и, возложив вину за смерть Наоми на Регину, уехал в Америку, где пробыл два года, и еще год в Канаде. Неизвестно, где он там жил и на какие средства, может родственники помогли, а может еще кто, ни одного письма от него не пришло за эти годы, кроме трех открыток «С Новым годом», из которых можно было заключить, где он находится, но Гольдман с матерью не беспокоили себя любопытством, а Регина и вовсе замкнулась, как улитка, не проявляя никакого интереса ни к мужу, ни к его

делам, с момента смерти Наоми она вообще отключилась от этого мира: почти перестала есть, перестала ходить в кино или театр, или на семейные торжества, редко выходила из дома, но раз в неделю, каждую среду, зимой и летом, она навещала могилу дочери, убирала её, полола сорняки, проросшие между цветами и кустами, которые сама посадила, поливала, а кроме того встречалась с Юдит Майзлер, своей лучшей и единственной подругой, иногда навещавшей её, приходили еще время от времени Самуил и Браха, Йозель и Ципора, Давид Костомольский, вдова Моше Цеймера, от которой было одно беспокойство, и Моше Целермеир, единственный, кто навещал ее постоянно, не забывая добро, оказанное ему Региной и отцом Гольдмана, когда он беженцем приехал в страну после войны и долгое время жил у них дома, он всегда приносил с собой коробку конфет или бутылку вина, или дорогую колбасу, или кофе, или букет цветов, Регина его недолюбливала и холодно принимала эти подарки, но Моше Целермеир не замечал этого и радовался, что может доставить ей удовольствие, и таким образом выразить хоть часть своей благодарности и симпатии. Время от времени Регина также получала письма от Манфреда, или сама ему писала, и всё это: посещение кладбища и письма Манфреда, стало теперь основным содержанием ее жизни и единственными знаками времени, которыми эта жизнь отмечалась и в какой-то мере наполнялась интересом и напряжением, во всяком случае, у нее не было другой жизни, других ожиданий, кроме тех, что были связаны так или иначе с Наоми или Манфредом, который жил с семьей в Голландии и приезжал в страну летом, иногда в конце зимы, жил в основном в Хайфе у брата, а Регина, сообщая, что едет на кладбище, ездила навещать его там, когда же ему удавалось заскочить в Тель-Авив, то они встречались в доме Юдит Майзлер, на адрес которой он и посылал письма Регине, раньше, пятнадцать или двадцать лет назад все было иначе, Манфред еще заходил к Гольдманам и, несмотря на то что отец Гольдмана не любил его, был принят как гость семьи, но после того как он решил прекратить эти визиты, все связи с Региной стали носить

конспиративный характер и продолжались таким же образом и в тот период, когда отца Гольдмана в стране не было, потому что все это уже превратилось в привычку, и так им было удобней. Их и без того недолгие встречи со временем неумолимо сокращались, а в последние годы уже не длились больше часа, или двух, и, в сущности, превратились в мучительные прощания, полные горечи, неприязни и разочарования, ведь на самом деле, несмотря на невероятное постоянство, желание победить действительность и безумные, не знающие границ, надежды, время, возраст и условия жизни неумолимо разъедали их любовь, так что в конце концов не осталось ничего кроме скудеющей памяти о любви, о совместных стремлениях и о чудесных возможностях, увы, утеранных навсегда, и понимания той суровой правды, которую никто из них не был готов признать, что оба они потерпели крах, и никакая сила в мире уже не сможет помочь им вернуться к прежнему и вновь разжечь затухающий огонь, и каждый раз их свидания заканчивались решением не встречаться больше, но, возвращаясь каждый к себе домой, они через определенное время снова начинали тосковать друг о друге, лелеять мечты и с нетерпением ожидать новой встречи – они любили память об их любви и чувствовали свой долг перед ней, и продолжали надеяться, несмотря ни на что, это делало их надежду бессмертной, а их жизнь превращало в неустанный маятник, его колебания уже не зависели от них, или от их усилий, потому что они сами стали воплощением этой надежды. Манфред родился в городке у подножья Карпат, в состоятельной семье, разбогатевшей на нефти, его называли Мешулам, но в школе его звали Манфред, это имя закрепилось за ним и в Стране, отец Гольдмана звал его «антиллигнетом», а потом, как и другие, – «фракционером», а с того периода, как Манфред уехал из Страны, стал называть его «этот румын», само собой, за глаза, Манфред был не только образован и обладал острым умом, но и чувствовалось, что за маской легкой растерянности и вежливости прячется личность волевая, жесткая, даже иногда подавляющая. Не будучи многословен, он умел заставить других со

вниманием относиться к его словам, умел завязывать связи, и вообще, легко сходился с людьми, многие уважали его и старались произвести на него впечатление, но были и такие, их было не так уж мало, которые не любили его за заносчивость, он действительно был человеком высокомерным, с развитым самомнением и верой в своё предназначение, крайне нетерпимо относился к людям, по его мнению, глупым, к их примитивным взглядам и пошлым ошибкам, к их слабостям, и даже к их языку, и не раз демонстрировал по отношению к обычным людям отчуждение, холодность и пренебрежение, был резок в своих суждениях о них, но вместе с тем заставлял себя сближаться с ними и вести себя со всеми на равных, потому что верил в коллектив, верил, как часть общего мировоззрения, в дружбу и в простоту обращения, в прямоту отношений между людьми, и только через много лет, в беседе с его старшим сыном Рафаэлем, который стал доктором наук по физике и был ближе всех к нему из членов семьи, он сказал: «Я думал, что простота и доступность должны стать нормой поведения в новом обществе, и что этот путь приведет нас в более справедливый мир, но в большинстве случаев нормой стала попросту грубость, и это породило настоящее одичание», Рафаэль спросил его тогда, что произошло бы, если бы он прожил жизнь по-другому, чем прожил, и в семейном плане, если бы удалось, и Манфред сказал: «Об этом я не хочу даже думать», но в своё время, когда закончилась студенческая жизнь, которую он сам назвал через много лет «салонной эпохой», он подавил свои желания, чувства, таланты, даже, казалось, сломил свою гордость, и все поставил на службу логике, которая была столь суровой, что вызвала порой тревогу, к этому прибавилось чувство, что за стеной этой беспощадной логики, которая последовательно подрывала и отрицала все человеческое: страх, любовь, сентиментальность, сочувствие, и, в конце концов, вела к отрицанию самого себя, мерцает темная бездна, но именно в силу логики, он стал сионистом и, невзирая на просьбы и угрозы родителей (они считали себя, прежде всего, гражданами империи Габсбургов, стремились стать немцами и в этом духе

воспитали детей), уж не говоря о больших надеждах, которые они на него возлагали, он отвернулся от всех возможностей, открытых перед ним, отказался от своей доли наследства и уехал осваивать Страну, силой воли он преодолел свои телесные немощи и отдался каторжной физической работе, и, уже живя и работая в Стране, воспринял левые взгляды и стал коммунистом, и в духе коммунизма стал отрицать существование еврейского народа и сионизм, все перевороты в его убеждениях были «для себя», не на показ, но они были решительными и бескомпромиссными, а в начале тридцатых он оставил Страну, несколько лет жил в Страсбурге, там он постепенно отошёл от коммунизма и, в конце концов, в гневе распрощался с этим мировоззрением (не прошло и двух лет с тех пор как он еще оправдывал «московские процессы»), переехал из Страсбурга в Париж и занялся историей и литературой средних веков, в основном церковной историей и литературой, специализируясь на изучении христианской демонологии: развитие понятия Сатаны и его различных образов, о взаимосвязях между Богом и Дьяволом и значении этого явления в общей системе христианского мировоззрения, о демонах и об их различных функциях, местах в демонической иерархии и изменениях, которые произошли в религиозных представлениях об их роли, и в этой связи он продолжительное время занимался описаниями Ада в церковной и внецерковной литературе, исследовал его костры, его чудищ, и всякие другие его составляющие, и даже опубликовал небольшую книгу, удостоившуюся внимания и высокой оценки, где представил в общем и целом все эти inferнальные дела, сам Манфред не разделял этой оценки, потому что видел недостатки своей книги и в сущности относился к ней только как к приблизительным наброскам для другой, более обширной работе на эти темы, которую собирался написать, но так и не написал, в частности из-за случайной встречи с другом юности из Польши, ставшим профессором философии, эта встреча изменила ракурс его интересов, и он отдался изучению Спинозы, даже собрался писать о нем монографию, а тем временем, пока он изучал и собирал матери-

ал, опубликовал две статьи по историко-философским проблемам, связанным с христианством, и еще одну статью, опубликованную через несколько лет, в которой разбирал личность Ленина и революцию в России, и это всё что ему удалось опубликовать, ещё и потому, что с каждым годом он становился все самокритичнее, и все больше видел не то, что ему удалось в этих статьях, а то, что в них не получилось, вышло плохо, прочитав их можно было, действительно, только с большим трудом, он писал очень длинными, сложными фразами, противоречивыми и даже опровергающими друг друга, отражавшими его усилия выразить всю сложность и противоречивость проблемы, которая его занимала, и вместе с тем открыть общую основу всего этого, но эти усилия, при всем его упорстве и остроте мысли, были явно неудачны, в результате Манфред отвернулся от своих произведений, перестал писать и вернулся к монографии о Спинозе, которая казалась ему более простым делом, он решил сосредоточиться только на фактах жизни и мировоззрении и продолжал работу, несмотря на войну, которая уже бушевала вокруг, считая этот труд своим вкладом в победу над безумием и иррациональностью, однако через некоторое время он оставил свои исследования, не возобновил их и после окончания войны, потому что потерял интерес к гуманитарным наукам и, прежде всего, к философии: война со всеми её событиями и дикостью, превратила философию в бессмыслицу, даже в нечто возмутительное, так же как и литературу, и поэзию, и исследования религии и истории, да и всю европейскую культуру, и Манфредом, в следствие его критического ума, образования и жизненного опыта, полностью овладел скептицизм, но всё же, после некоторого периода нигилизма и вернувшейся веры в авторитарную силу, которая установит в мире порядок, он утвердился во мнении, что только разум и логика могут быть основой для создания нового мира, более гармоничного и доброго, сам Манфред в него уже не верил, потому что не верил больше в силы разума и логики, способные победить иррациональность и подействовать на исторические процессы в положительную сторону, и тут,

проникнувшись отчаянием и враждебностью к миру и истории (как видно, они обречены вечно разочаровывать), а даже чувством собственной вины, он все бросил и пошел работать строителем, потом садовником, потом мелким служащим: помогал исследовать повадки перелетных птиц и провел целую зиму в маленьком шалаше в Альпах, потом занялся оптикой, а в свободное время снова стал, после многих лет перерыва, играть на скрипке, и хотя был скрипачом никудышным, игра успокаивала его, а жизненный опыт и скептицизм хоть и не лишили его самомнения, воспитали в нем скромность и умение прощать людям их глупости, слабости и ошибки, их неприятное поведение, так он смог с пониманием принять свои отношения с женой и любовную связь с Региной, они были с ней одногодки, познакомились, когда он был еще юношей, и, если бы она не заболела неожиданно какой-то никому непонятной болезнью легких, наверняка поженились бы и вместе отправились в Страну, но Регину переводили из одной лечебницы в другую, она проводила много времени на горных курортах, так что Манфред уехал один и связь их ослабла, вопреки стараниям сохранить её, а когда они снова встретились, уже через несколько лет, в Стране, Регина уже была замужем за отцом Гольдмана, а Манфред был женат на женщине, которая через два года бросила его и ушла к другому – для Манфреда тогда, несмотря на неловкость ситуации и первоначальную растерянность, настали самые счастливые дни его жизни, потому что он возненавидел эту женщину с первого же дня, как они поженились. Теперь же, когда они расстались, Манфред ожидал, что и Регина расстанется с отцом Гольдмана и выйдет за него, но Регина все колебалась, не решалась, а между тем родилась Наоми, а Манфред женился на дальней родственнице, которая была старше его на несколько лет, образованной и состоятельной, это было уже в Страсбурге, там и родились у них двое сыновей, Рафаэль и Клод, очень способный, он метался от факультета к факультету, в конце концов, увлекся бизнесом, без больших успехов, и Манфред говорил о нем, что от бесконечных усилий стать счастливым он стал несчастным, но их дочь, ее звали

Элино́р, родилась сразу после их переезда в Лондон, где они были почти всю войну. Элино́р была высокой и хрупкой, как изящная фарфоровая ваза, с белой, прозрачной кожей, как будто все время проводила в занавешенной комнате, у нее были полные, бледные, будто безжизненные губы и холодные голубые глаза, Гольдман увидел ее впервые, когда ей было семнадцать, она была лет на десять младше его, и эта единственная встреча оказалась неизгладимой. Что-то пугающее и манящее было в ее холодной красоте, какая-то болезненная странность, затуманенность, она казалась далекой и недоступной, будто обреченной пребывать все свои дни во власти грез, где-то на грани реальности и фантазий смущенной души, там где теряют смысл знание и воля и властвует тревога или убаюкивающее ощущение исчезновения, но Гольдман не решился расспросить о ней, понадеявшись, что через год она снова вернется в Страну с Манфредом, и действительно, в тот год, когда его отец оставил семью и уехал в Америку, она должна была приехать, но что-то помешало, и поездка не состоялась, Гольдман прождал ее весь год, и весь следующий, и вот однажды, в один прекрасный день, послышался поворот ключа в дверном замке, и вошел его отец, вернувшийся без всякого предупреждения, он затопал по коридору с двумя чемоданами, поставил их в большой комнате рядом с диваном, потом навестил туалет, потом ванную, где вымыл лицо и руки, после чего зашел на кухню и сказал «привет», Регина ответила «привет», а Гольдман, сидевший за столом, встал навстречу отцу, пожал ему руку, тоже сказал «привет» и спросил о здравии, на что отец молвил: «Все в порядке», Регина спросила его, хочет ли он перекусить, но отец Гольдмана сказал: «Нет, я сейчас ухожу», он снял шляпу и добавил, бросив взгляд на Регину: «Я зашел только взять кое-что», а Регина сказала: «Каждый волен делать что хочет», налила ему стакан чая и подала вместе с печеньем, отец Гольдмана сказал: «Я только выпью чай и пойду», а Регина повторила: «Каждый волен делать что хочет», и отец Гольдмана отозвался: «Верно», враждебно посмотрел на нее, потом обменялся несколькими фразами с Гольдманом, поин-

тересовался, как его дела, допил свой чай, взял из шкафа несколько документов и небольших предметов, положил их в один из чемоданов, но так и не ушел, он и через неделю погрозил, что уйдет, и даже предпринял кое-какие шаги чтобы подтвердить свое намерение: обратился к посредникам по съему квартир, чтоб подыскали ему подходящее жилье, а пока собрал часть вещей в чемодан, как бы подготовившись, все это время он жил сам по себе: покупал необходимое, готовил завтрак и ужин, ел отдельно от Регины, демонстративно игнорируя ее присутствие, обедал в ресторане, и в это же время стал готовить свое завещание, но все эти дела и угрозы никого не напугали, и прежде всего Регину, ее уже ничего с ним не связывало, и в этом плане ей нечего было терять, она была свободна от страха, в котором он держал ее все годы, и продолжала упрямо жить своей горькой и отшельнической жизнью, будто ничего и не произошло, она нашла свои способы защиты от его нападок, даже как насолить ему в ответ, она еще глубже ушла в себя и отвечала ему той же монетой – полностью его игнорируя, что бесило его безмерно, перестала интересоваться, приготовить ли ему что-то поесть, постирать или погладить одежду, большую часть времени проводила у Юдит Майзлер, одевалась таким образом, чтобы вызвать его максимальное раздражение, покупала вещи, в которых не было никакой необходимости и наотрез отказывалась взять из его рук стакан чая или лекарство, когда болела, поскольку предпочла бы умереть, но только не нуждаться в нем ни коим образом, что не скрывала ни от него, ни от других. Они стали смертельными врагами и вели друг против друга непримиримую, ожесточенную и грязную войну с помощью мелких, но болезненных уколов мести, оскорблений и унижений, используя доскональную осведомленность о самых тайных слабостях противника, вовлекая в борьбу их погибшую дочь, когда оба, каждый по-своему, старался завладеть ею и обвинить другого в том, что она ушла из дома и погибла, особенно отличался в этом отец Гольдмана, который начал эту войну и не знал в ней жалости, и все время твердил, что с самого рождения Наоми была привязана только к нему, по-

тому что он всегда уделял ей внимание и относился к ней с любовью и пониманием, а Регина никогда ее не хотела, потому что была влюблена в Манфреда, и мучила ее то неумеренным баловством и удушливой заботливостью, то жестокой, нетерпеливой требовательностью и разными дикими запретами, сделав дочь капризной и взбалмошной, постоянно вмешивалась в ее жизнь, и, в конце концов, заставила бежать из дома. Он все время рассказывал, как ходил с ней гулять, когда она была маленькая, рассказывал ей сказки, ходил в кино и на море, как купил ей велосипед, когда ей исполнилось двенадцать, и часы, когда исполнилось пятнадцать, и как беседовал с ней, когда она повзрослела и встретилась с новыми проблемами, это не было ложью, но жалкими выдумками человека, пытавшегося найти оправдание собственной жизни и любой ценой добиться победы, хотя, в сущности, он и сам уже не верил, что это возможно. На самом деле, он почти не проявлял к Наоми внимания, только иногда обращался к ней с обычными фразами, с трудом отдавая отеческий долг, и ей доставались лишь крохи его времени, остававшиеся после тяжелой работы и других дел, и только однажды он попытался взяться за нее, когда с дразгами и скандалами заставлял ее учиться игре на скрипке, используя убеждения, лесть и угрозы, пуская в ход всякие мелкие соблазны и крики, но трудно обвинить его во всем этом: работа на стройке, вместе с амбициозностью и педантичностью, прямоотой и гордыней, высосали из него все силы, издергали все нервы, он возвращался домой под вечер, выжатый и злой, наспех поедая запоздалый обед, приготовленный Региной, ложился на диван с газетой «Давар» и быстро погружался в тяжелый сон с газетой на лице, и так, иногда в рабочей одежде, спал почти до позднего вечера. Регина не реагировала на его рассказы об отношениях с Наоми, разве что изредка, и ничего не сказала, когда однажды он обвинил ее в смерти Наоми, мол, из-за нее, с ее благословения Наоми связалась с женатым мужчиной, англичанином из Александрии, и она даже не пыталась вмешаться и прекратить все это, он и в самом деле, с тех пор и всегда, еще до того как уехал в Америку, верил, что смерть

Наоми была наказанием за ту запретную связь, и его не смущало, что эта история произошла задолго до ее смерти, и чем больше он говорил об этом, возвращаясь к своему утверждению все с большей болью и возбуждением, тем все упорнее верил, пока эта вера не превратилась в догму, и уже ничто не могло ее опровергнуть, так же как и невозможно было опровергнуть вину Регины. Отец Гольдмана никогда не сказал это Регине прямо в лицо, а после его возвращения они вообще перестали разговаривать друг с другом, а если требовалось что-то сказать противоположной стороне, они обращались к Гольдману, или к двери, стене, чайнику, креслу, газете, к любому предмету, называя друг друга «он», или «она». Обычно Регина первая покидала поле боя, уходя в одну из комнат или вообще из дома, только один раз она неожиданно обратилась к Гольдману и сказала: «Все началось с того момента, когда он решил, что она будет играть на скрипке, а в сущности, еще раньше», а отец Гольдмана сказал: «Вранье. Она врет», и Гольдман, который старался не вмешиваться в их войну и не пытался их примирить, встал и сказал: «Хватит с этим!», а Регина сказала: «Он все разрушил своей гордостью», и скрылась в ванной комнате, а Гольдман, взбешенный, ушел к себе; в самом деле, навязчивая заботливость, как и безделье его матери, к коим прибавился в последние годы груз разочарований и усталости, превратившихся постепенно в неприятие жизни, горькое и изнурительное, неожиданно проявившееся непомерным и нелепым преклонением перед ее отцом, приводили Гольдмана в отчаяние, вынуждали ненавидеть родителей и стремиться удрать из дома, особенно теперь, когда ко всему добавились эти отвратительные и безжалостные войны, но Гольдман никуда не ушел, продолжал жить с ними, хотя уже не мог их видеть и слышать, и не в силах обменяться с кем-то из них добрым словом, хотя оба нуждались во внимании, добром отношении, сочувствии, но он закрывал глаза и затыкал уши насколько мог, предоставляя им вволю отравлять жизнь друг другу, только изредка его мучила совесть, и он жалел их, но это было отчужденное сожаление, без личной вовлеченно-

сти, и не мешало ему заниматься своими делами. Гольдман вначале хотел учить зоологию, потом, под влиянием Наоми, заинтересовался востоковедением, отец же хотел, чтобы он стал инженером, но, в конце концов, к огорчению отца, пошел учить юриспруденцию, закончил с успехом и работал в большой адвокатской конторе как специалист по делам предприятий и заключению финансовых соглашений, но его интересы простирались далеко за пределы его специальности, ставшей для него источником раздражения, ощущения потери времени и неудачи, он много и беспорядочно читал научно-популярную литературу по всем направлениям, а также художественную литературу и публицистику, книги по социологии, психологии, описания путешествий, биографии, книги на религиозные темы, о геологии и истории, его книжный шкаф был забит книгами, они были разбросаны по всей комнате, и когда он зашел с Израилем к себе, то переложил книги с кресла и со стула на кровать, потом достал из письменного стола бутылку коньяка, два стакана, и спросил Израэля, который уселся в кресло, не выпьет ли он стаканчик, «Да, - согласился Израэль, - только не полный», Гольдман налил в оба стакана, они подняли их и выпили, а Гольдман вернулся к теме: «Эти люди меня достали, особенно мать, просто нет сил», перевел палец на край стакана и добавил: «Не думай, некоторых из них я очень люблю», он сказал это усталым, бесцветным голосом, после чего выпил еще глоток, а Израэль поднял взгляд и увидел в углу, рядом с письменным столом маленькие гантели и Bullworker¹⁵, а Гольдман, заметив его взгляд, сказал: «Надо заботиться о теле, это дает совсем другое восприятие жизни», после чего настала тишина, и стало слышно стрекотание кузнечиков во дворе и какой-то дальний шум, похожий на шум моря, и даже явилось что-то от его запаха, смешанного с запахом азидарахты, плюмерии и питтосфорума¹⁶, они стали явственней, чем пре-

¹⁵ Журнал для домашних тренировок и бодибилдинга.

¹⁶ Азидарахта индийская, плюмерия, питтосфорум – субтропические растения.

жде: почти неощутимое движение воздуха принесло эти запахи в комнату через открытое окно. Израэль сделал еще глоток и невзначай посмотрел на Гольдмана, тот ответил ему улыбкой, но слабая сухая улыбка не могла скрыть измученного и выжатого до последней капли жизни скуластого лица Гольдмана, и его зеленые глаза, окруженные трещинами морщин, были полны печали, он налил себе еще стакан и сказал: «Ты знаешь, что я его не любил, но когда увидел его беспомощного и угасающего, пожалел. В любом случае это было ужасно. И, кроме того, тяжело примириться с фактом, что кто-то умер, и его больше нет и не будет. Потому что если это так, то зачем всё?», он помолчал минуту и добавил: «Ты видишь, я снова говорю сам с собой». Гольдман сказал это так просто, что ему удалось передать Израэлю свою печаль и чувство безысходности и бессмысленности всего, и усталость, в нем поселившуюся, а упрямое и однообразное стрекотание кузнечиков, казалось, оно будет длиться вечно, продолжало подниматься с пустого двора, вместе с запахами лета, так хорошо знакомыми Израэлю с детства и юности, которые прошли в этом дворе, на этой траве, под ветвями изидарахты и жакаранды¹⁷ с широкой кроной, в таинственных расщелинах огромной сикоморы, всегда зеленой, в тени мощных кипарисов, в играх в прятки и салочки, играх с мячом и всяких шалостях и проказах, смешных и дерзких, где в мягкие и влажные летние ночи ему открывались тревожные тайны любви, в рассказах и грубых шутках, слухах и первых опытах онанизма, когда мальчики, прячась, делали это друг другу, пробуждая бесконечное возбуждение и удовольствие, смешанные с чувством вины и страха; спокойные голоса людей и музыка доносились из окон и с балконов, и черные летучие мыши вдруг вылетали из тьмы и неслись непонятно куда, падали, как камни, и взмывали вверх, и люди предупреждали друг друга, что надо этих тварей остерегаться, как бы не схватили кого-нибудь за волосы, ведь они хватают мертвой хваткой, и тут Израэль почувствовал, как он

¹⁷ Тропическое растение.

на глазах стареет, сидя в этой комнате, и вновь невольно глянул на Гольдмана, но ничего не сказал. А что он мог ему сказать? И даже если бы вздумал вдруг его утешить, Гольдман только посмеялся бы над ним, ведь смерть отца не особо его огорчила, не настолько, что требовалось его утешать, даже если бы отца можно было вернуть к жизни, Гольдман вряд ли бы этому обрадовался, а возможно, и воспротивился бы наотрез, а ту глубокую печаль, что охватила и придавила его, словами не одолеешь; Исраэль поиграл со стаканом коньяка, продолжая молчать, а Гольдман бросил взгляд на фотографию сестры на стене и сказал: «У нее были красивые глаза», Исраэль сказал: «Верно», и тоже посмотрел на фотографию, а потом повернул голову и взглянул в открытое окно, а Гольдман сказал, что любовь и ненависть, а также привычки и семья связывают людей друг с другом так, что ни у разума, ни у воли нет над этим никакой власти, и даже смерть не может разделить связанных, только упрямая сила времени все одолевает, но и тогда что-то от одного остается навсегда растворенным в другом, и еще много лет всплывают из океана забвения какие-то тревожащие воспоминания, не заменяя того, что было в жизни, но оживляя и возвращая.

Уже стемнело, но не до густой черноты, и еще можно было различить высокие ветви сикоморы, рядом с ней лежало тело Каминской, когда она выбросилась с балкона третьего этажа, пьяная, это было летом где-то после войны, в ее квартире, полной горшков с цветами и красивых настенных ковров, в гостиной и на кухне горел свет, и всюду были пепельницы и чашки, полные окурков, пустые бутылки бренди, газеты, книги, одежда, и раскаленный чайник без воды на плите. Она выбросилась под утро, а может, посреди ночи, и жильцы дома, взволнованные и испуганные, стояли группами во дворе в пижамах и пытались разгадать причину случившегося, вспоминали все сплетни, и Моше Цеймер перебегал от группы к группе и кричал, что так нельзя, что с моральной точки зрения у человека нет права терять голову, как нет у него права воровать или грабить, потому что его жизнь ему не принадлежит, и отец Гольдмана, присоединился к его мне-

нию, и сказал, что это нарушение закона, и свидетельствует только о трусости и эгоизме, но один из соседей вмешался и сказал, показав пальцем на Каминскую: «Вперед, привлеки-те ее к суду», а потом стал утверждать, что нет в этом ничего неприемлемого, каждый может делать со своим телом все что ему вздумается, и такое деяние свидетельствует только о том, что кто-то живой решил умереть и умер, остальные соседи тоже разделились во мнениях, хотя большинство так или иначе поддерживали мнение отца Гольдмана и Цеймера, и Израэль, он тогда стоял там и успел увидеть Каминскую, лежащую в халате на влажной траве, прежде чем вдова Моше Цеймера накрыла тело простыней, отвел взгляд от окна и спросил Гольдмана, что он теперь собирается делать, и Гольдман посмотрел на него с удивлением, и Израэль, уже произнося эту фразу, почувствовал ее неуместность, захотел как-то отменить ее, встать и уйти, но Гольдман опередил его и сказал, что в ближайшее время он, по понятным причинам, не может уйти из дома, как собирался, но он решил поменять специальность и в течение года уйдет из дома, не позже чем через год, и Израэль слегка кивнул головой и ничего не сказал. Он годами слышал все это от Гольдмана, много раз, пока лоб Гольдмана не перепахали морщины и не наметилась лысина, всегда одно и тоже, только тон из года в год становился все более усталым и равнодушным, хотя в нем еще звучали остатки стремления и надежды. Гольдман допил свой коньяк одним глотком и снова его наполнил, он был старше Цезаря на пять лет, а Израэля – почти на девять, но долгое общение и близость скрывали разницу, и после некоторого размышления он снова заговорил о том, что жалеет, что сразу после армии не стал моряком, как собирался, и что не осуществил мечту заниматься сельским хозяйством, хотя он понимает, что эти возможности не осуществились из-за возраста, но если б он хотя бы выучил зоологию, как хотел когда-то, то был бы счастлив, но и это уже дело пропащее, поэтому он, скорее всего, пойдет учиться на механика, или столяра, чтобы обрести ту безмятежность, какую обрел для себя Авиноам в мошаве. На самом деле, Гольдман, мечтая о безмятежно-

сти, жаждал в то же время и бури чувств, пусть самой дикой, что сорвет его одним махом с места и навсегда изменит его жизнь, и она станет свободной и независимой, как он рисовал себе в фантазиях, хотя все это противоречило его принципам и возможностям, он помолчал с минуту и посмотрел на Израэля, ожидая, что тот одобрит его планы, или заметит их несоответствие ожиданиям, но его взгляд был таким потерянным и одиноким, что Израэль только выронил: «Да все будет в порядке», а потом добавил: «Завтра будет жара», а Гольдман сделал еще глоток коньяка, приободрился и стал фантазировать, мол, жаль, что его мать не была какой-нибудь итальянской графиней из разорившейся семьи, сбежавшей в Париж и там вышедшей за отца, который должен был быть непременно русским эмигрантом, возможно, анархистом, или пьяницей-ирландцем, полупоэтом-полувором-полусутенером, живущим сегодняшним днем, потому что такое генеалогическое древо дает человеку заряд на сто лет счастливой жизни, во всяком случае, он не сможет превратиться в существо, сидящее всю жизнь в адвокатской конторе, перебирающее бумаги и старающееся быть пай-мальчиком, вести себя по правилам, быть ответственным, и в крайнем случае будет просто таким цыганом, полным жизни. И эти слова Израэль уже не раз слышал от Гольдмана, он буркнул: «Может быть» и улыбнулся, Гольдман тоже улыбнулся и сказал: «Я завидую Цезарю. Он живет так, будто жизнь это развлечение, которое будет длиться вечно. У него нет проблем. Настоящая птичка божия», «птичкой божией», они в юности называли Соню Левитан, сестру Авинаама и Ханоха, она была первая, кто привлекла внимание Гольдмана, как женщина, хотя была еще подростком, и только намеками подсказала ему, какие потрясающие наслаждения таятся в теле, хотя сама она при этом ничего не испытывала, или чувствовала как-то иначе, ведь она была старше его на несколько лет и не обращала на него внимания, но позволяла иногда увидеть себя в открытую дверь в трусиках и майке, когда была в комнате Авинаама, его одноклассника, и несколько раз позволила ему коснуться ее во-

лос в подмышках, и маленьких крепких грудей, а однажды он даже осмелился осторожно запустить руку ей под юбку и провести дрожащими пальцами медленно-медленно вдоль бедра, и проникнуть под трусики, коснуться живота и волос на лобке. Волнение было таким сильным, будто он погрузился в грезу и ослеп от сладостного потрясения, до того сильного, что он уже не мог удержаться, и все взорвалось в один миг, и потом, уже опустошенный и пришедший в себя, но еще полный смущения и стыда, а больше всего страха, он убрал руку, отвернулся от нее и вытащил из штанов майку, чтобы закрыть ею это чертово пятно на них, и так, не глядя на нее, быстро выбежал на дрожащих ногах и прокрался через двор домой, а после того как быстро принял душ и переоделся, проклиная себя и ее, уселся в мрачном расположении духа и полный раскаяния, делать уроки, он не мог ни о чем думать, настолько был удручен и растерян, однако продолжал, застыв, сидеть перед книгами и тетрадками, стараясь все-таки сделать уроки и забыть обо всем, потом он довольно долго не заходил к Авиноаму, чтобы не встретить Соню, которая теперь играла на пианино и танцевала с разными мужчинами, которые, в отличие от Гольдмана беспрепятственно наслаждались ее телом, и он медленно пригубил еще конька, подпер пальцами нижнюю губу, посмотрел на Израэля и сказал, что в конце концов, все обречены на смерть и десять лет больше или меньше ничего, в сущности, не меняет, как и число совершенных деяний, но он хотел бы понять смерть и подружиться с ней, если можно так сказать, воспринимать ее как старую знакомую, собравшуюся тебя навестить, и не бояться ее, а также не думать о том, что мир будет существовать без него еще сотни тысяч лет пока он будет лежать в земле, в темноте, а люди снаружи будут ходить, гулять на солнце, купаться в море, болтать, есть, влюбляться, чего-то ждать, смотреть на деревья и машины, и фильмы, и читать газеты. Израэль ничего не сказал, а Гольдман поиграл с пробкой от бутылки коньяка и сказал: «Нет, нельзя жить дважды. Даже Достоевский жил только раз», и хмыкнул, и через минуту сказал: «Но можно покончить с собой. То есть трах-

нуть смерть ее же оружием. Проблема в том, что потом нет никакой возможности раскаяться, и по сути это сомнительная победа», и снова хмыкнул и непроизвольно качнул головой в сторону Исраэля, тот встал, по его расчетам Цезарь и Элиэзра уже должны были освободить студию, поставил стакан на стол и сказал Гольдману, что он страшно устал и хочет подняться в студию, чтобы принять душ, и отдохнуть до прихода Эллы. Гольдман не стал его удерживать, тоже встал и проводил Исраэля в столовую, а по дороге сказал: «Я думаю в ближайшее время съездить навестить Авинаома. Уже сколько лет не виделись», и спросил Исраэля, не хочет ли он присоединиться, Исраэль сказал, «Может быть», подошел и пожал руку Регине, а когда направился к выходу, в дверях появился дядя Лазарь, одетый как обычно самым простецким образом: длинные брюки хаки и серо-голубая рубашка с короткими рукавами, в руках он держал черный кожаный портфель и выглядел таким смущенным, будто опасался не только людей в комнате, но и мебели, и даже света и его отражений, и единственное что еще давало ему минимальную уверенность, это черный портфель, который он сжимал изо всех сил, и так, растерянный, стоял в дверях, будто не знал, что делать дальше и куда идти, но Гольдман, сразу не сообразив, что происходит, обрадовался ему и закричал: «Дядя Лазарь!», и дядя Лазарь сдвинулся с места и неуверенными шагами пересек комнату, когда все взгляды были устремлены на него, подошел к Регине, осторожно пожал ей руку, что-то промямлил, и поцеловал ее в щеку, потом отступил на несколько шагов и снова остановился, не зная, что делать дальше, а Гольдман показал ему на стул, который освободил Хаим-Лейб. Дядя Лазарь собрался присесть, но его позвала Брахя, он обменялся с ней несколькими словами, и с Шмуэлем, и с Йозелем, и с Ципорой, и Меиром, пожал руки Моше Целемеиру и его жене, и госпоже Хае, а госпожа Хая спросила его, где Юдит, дядя Лазарь сказал: «Я проводил ее домой. Она очень устала», повернулся к Хаиму-Лейбу, который что-то напевал себе под нос, при этом похлопывая своей широкой ладонью по столу, и спросил его о самочувствии, Хаим-Лейб,

пожелтевший, весь в морщинах, как будто смерть уже поселилась в нем, пошевелил старыми серыми пальцами, качнул головой и сказал на идиш: «Человек, сегодня он тут, завтра там. Так решил Господь», и легкая, вымученная, но все еще веселая улыбка обозначилась в его карих глазах, осветив на мгновение лицо, после этого поправил свою черную шляпу, отломил кусок пирога, поставил перед собой и вновь кивнул головой. Израиль, подождав пока Гольдман подвинул дяде Лазарю печенье и фрукты, предлагая попробовать, сказал ему: «Пока», Гольдман проводил его до двери и перед тем как расстаться попросил позвонить завтра или послезавтра, Израэль сказал «Ладно», и спустился по лестнице с чувством облегчения; подходя к студии, он отметил, что жалюзи окна, выходящего во двор, были опущены: согласованный между ним и Цезарем знак, означавший, что Цезарь и Элизара еще там, он тут же дико разозлился, и если бы мог, поднялся бы наверх, выломал бы к черту дверь, взял свои вещи и ушел, но он остался спокойно стоять перед домом, время от времени поглядывая наверх и злясь, и, в конце концов, отправился восвояси, поднялся до улицы Аяркон, зашагал по ней, потом спустился к набережной, море было спокойным, оперся на железные перила и посмотрел во тьму, откуда ровно и неутомимо выбегала белыми рядами морская пена, продвигалась по берегу, постепенно исчезая, гнев и обида еще клокотали в нем, он попытался отгадать, звонила ли Элла, или приходила, когда его не было, слушал ровный, ленивый шум прибоя, что вместе с приятным запахом моря, стоящим в теплом воздухе, дарило целительное ощущение лета. Израэль жил в этой студии почти год, пользуясь щедростью Цезаря, но и во власти его милости и взбалмошности, это была обычная трехкомнатная квартира, только столовая была превращена в фото-студию, а одна из комнат – в лабораторию, другая служила кабинетом и архивом, ее Цезарь и предоставил Израэлю, живи не хочу, не взяв с него ни копейки, даже за газ, электричество и телефон. Комната была просторной, в ней был большой письменный стол, два канцелярских кресла и два серых железных шкафа, коричневая тахта и рояль Изра-

эля, а у одной из стен – огромная деревянная доска. К ней была приклеена увеличенная фотография двух пожилых людей, сидящих вечером на двух скамейках перед галантерейным магазином, их взгляд был спокоен, только фотография местами порвана, и вся в дырках, поскольку доска служила Цезарю для тренировок в метании ножа. Его гостеприимство было естественным проявлением свойственной ему широты души, она же иногда принимала характер диких выходок, но даже в них было что-то симпатичное, однако он поставил Израэлю одно условие: тот должен был освобождать помещение по первому требованию, и Цезарь нуждался в помещении каждый день с двух до четырех, когда занимался любовью с Элиэзрой, на той самой тахте, на которой спал Израэль; кроме этих постоянных часов квартира была ему иногда нужна и в другое время, в этом случае он старался предупредить Израэля заранее, но случалось, что необходимость в ней возникала неожиданно и срочно, не было возможности предупредить, и Израэль был застигнут врасплох, иногда его даже будили, или прерывали его занятия на рояле: Цезарь стоял в дверях с какой-нибудь девушкой, и Израэль был вынужден убираться немедленно, сделав вид, что ничего не заметил. Случалось такое нередко, поскольку Цезарь был неутомимый и неразборчивый бабник, и каждая победа, даже самая жалкая, наполняла его гордостью и удовлетворением, тем самым толкая на новые подвиги, в кои он вкладывал немало времени, денег, энергии и фантазии, он не любил отступать перед препятствиями, казавшимися непреодолимыми, и не терпел неудач, поскольку был уверен (этому он научился у Эрвина и Бешта), что мужчина должен иметь много женщин, и что нет женщины, которую невозможно уложить в постель, потому что каждая женщина этого хочет, только каждая хочет это на свой лад, и Цезарь был готов подлаживаться. Израэль ловил дни, когда Цезарь был завален работой и не мог освободиться для планового дневного сеанса, или когда его не было в городе, или он болел, или дни, когда Элиэзара не могла, но приноровиться к графику Цезаря было невозможно: то он приглашал Вики, хотя она была обручена,

то приводил случайных женщин, и только иногда, если случались сбой или неудача, запланированные часы оставались незаполненными, о чем Цезарь сообщал Израэлю, пребывая в состоянии упадка духа, травмы, горечи поражения, даже не пытаясь скрыть свои чувства; Израэль сдвинулся с места и зашагал, недовольство держалось недолго, он не забывал о благодеянии Цезаря и своей зависимости от широты его души. Шел медленно, все еще злой, глядя на море, на людей, как и он, они гуляли по набережной, сидели на скамейках, стояли, опираясь на железные перила и о чем-то беседовали, курили сигареты и тоже рассматривали прохожих или молча глядели в море. Среди них были пожилые люди, и совсем старики: отдавшись летнему томлению, они наслаждались покоем и легким, освежающим ветром с моря, и молодые пары, и парни, пришедшие сюда в поисках сомнительных приключений и высматривающие добычу, Израэль прошел мимо них, пересек улицу и двинулся вдоль ресторанчиков, в самом первом на пути сживали когда-то городские богачи: строительные подрядчики, торговцы и рантье, они сидели в кожаных креслах, за маленькими столиками, покрытыми красными скатертями, на столиках лампы с абажурами, непременно с бахромой, пили чай или кофе, поглядывали на море или в иллюстрированные журналы, чинно, с достоинством, а в следующем кафе всегда играл оркестр, и летом на низкой сцене бывали концерты разных певцов в панاماх и певиц в стиле Марлен Дитрих или Миранды Кармен, или выступали фокусники и акробаты с китайскими именами, но оба этих кафе давно закрылись, а место осталось заброшенным и погруженным в темноту, зато дальше по улице сияли огнями несколько просторных кафе в средиземноморском стиле, со столиками на улице, где ярко накрашенные женщины в цветных летних платьях сидели в белом свете неоновых ламп, пили, болтали и смеялись под звуки мелодий, летящих из громкоговорителей, и шустро посматривали в разные стороны, похожие на стаю веселых скворцов, усевшихся на проводах. Гольдман, иногда приводивший его сюда погулять, утверждал, что все эти женщины – легкого поведе-

ния, а мужчины, сидящие с ними, и те, что крутятся между столиками или стоят на тротуаре, руки в брюки, нагло поглядывая по сторонам, сутенеры, или те, что пришли раздобыть женщину, и Израэль, проходя мимо, украдкой поглядывал на этих женщин и мужчин, и так, не сбавляя шаг, пересек улицу, прошел мимо кафе с мутными огнями и пыльными окнами, от них шел слабый желтый свет, тут Гольдман схлопотал однажды по рогам из-за одной девки, потом прошел мимо киоска, где торговали фалафелем, затем мимо сумрачного бара, у дверей которого неподвижно сидело несколько парней, приглашая зайти, задержался немного возле игрального зала жалкого вида, покрашенного в грязно-зеленый цвет, забитого молодыми мужчинами, они кружились там, в грязи и сигаретном дыму, стреляли в тире, били кулаками по мячу, измеряя силу удара, играли во флипперы, издававшие гнусные звуки, и при этом плевали на пол, толкались, курили, ругались и ржали. Гольдман всегда, и до того, как ему дали по рогам, и после, защищал проституцию, основывая свое мнение о пользе этого института на работах психологов, социологов и врачей, уж не говоря об элементарном праве взрослого человека распоряжаться своим телом, так во всяком случае, должно быть в демократическом обществе, он не только считал проституцию положительным явлением, которое необходимо узаконить, но и полагал, что государство должно предоставлять сексуальные услуги бесплатно, или за небольшую цену, также как оно предоставляет населению социальные услуги: образование, медицинское обслуживание и помощь престарелым, и Израэль, он всегда слушал его не возражая, снова остановился, на этот раз у здания оперы, посмотрел на афиши «Мадам Баттерфляй», потом свернул на Алленби, и через Пинскер¹⁸ направился обратно к студии. Он немного подрабатывал копировщиком нот, но в основном был полностью на иждивении Цезаря, хотя, если бы он согласился давать уроки игры на рояле, или выучил бы какую-нибудь профессию для заработка, он мог

¹⁸ Алленби и Пинскер – улицы в Тель-Авиве.

бы снять себе комнату и жить самостоятельно, но, невзирая на гордость, и неприятные неожиданности зависимой жизни, он по этому пути не пошел, предпочитая пестовать свое эго, и за тягостную и унижительную зависимость от Цезаря получал полную личную и творческую свободу, хотя выбрал себе эту отшельническую жизнь без конкретной цели, просто жил, намеренно отвернувшись от действительности и от времени, упрямо не замечая всякие раздражающие житейские мелочи, посвящая себя самому важному, своей главной страсти, этой страстью был орган, он уже год играл на нем в церкви Сан Антонио, и хотя надеялся, что когда-нибудь сможет зарабатывать этим на жизнь, в глубине души знал, что из этого ничего не выйдет.

Исраэль пересек маленькую асфальтированную площадь с ветвистыми смоковницами и приблизился к дому, но уже на углу улицы увидел, что жалюзи по-прежнему опущены, и, не замедляя шаг, прошел мимо дома, взглянул еще раз наверх, потом, продолжая шагать, – в окно квартиры на первом этаже, превращенной в женскую парикмахерскую и салон красоты, и увидел хозяйку салона, которую звал про себя «Жанет», она сидела одна, все парикмахерши уже ушли, на голове у нее был голубой железный колпак для сушки волос, глаза закрыты, продолжив вдоль улицы, он свернул на Бен Иуда вправо и зашел в маленькое домашнее кафе, здесь они любили посидеть иногда с Гольдманом, заказал стакан чаю, взял в руки вечернюю газету, лежавшую на соседнем столике, ни о чем не думая, он устал, раздражение и обида вновь охватили его вместе с нетерпением, ему надоело ждать, пока Цезарь соизволит освободить квартиру, но больше оттого, что он не знал, как всегда, сколько еще предстоит шляться по улицам. Иногда счастье ему улыбалось, и его выгоняли только на четверть часа, или на полчаса, но были дни, когда он был обречен мотаться по улицам, и не один раз за день, и дождливой зимой, и в хамсин, иногда часами, пока не награждался поднятыми жалюзи, эти марафоны случались, когда девица, которую Цезарь в очередной раз заарканил, неожиданно проявляла строптивость, не же-

лала раздеваться и идти в постель, в этом случае Цезарь, верный своим принципам и мужскому предназначению, пускал в ход арсенал уловок и вел этот поединок фехтовальщиков терпеливо и упорно, с большой ловкостью, пока не добивался победы, при этом он не щадил ни самоуважения, ни времени, и, если требовалось, вел длинные разговоры, раздавая комплименты и не жалея красивых слов, избитых поговорок и крылатых цитат, шутил, ласкал, предлагал виски, а нередко пускал в ход и крепкие словечки, самые грубые, следуя тактике, как он выражался: «опустить моральный порог», показывал порнографические картинки, считая, что они действуют подобно алкоголю и могут воспламенить страсть холодной женщины, даже самой расчетливой или скромной, не гнушался и обещаниями, не собираясь их выполнять, или создавал мрачную атмосферу, дабы возбудить к себе жалость: говорил о своем одиночестве, о неудачах, о растерянности и бесперспективности жизни, пытаясь при этом убедить противника в отсутствии всякого смысла в том, что называют моралью, верностью, честностью и любовью, мол, есть только секс, быстрый, без всяких эмоций и обязательств; иногда он был агрессивен, даже применял силу, поскольку считал, что каждая женщина уступает силе, а многие даже жаждут насилия, и обычно своего добивался, хотя часто после продолжительной борьбы, так что Израэль иногда, вернувшись в свою комнату после того как надолго ее покинул, находил свою тахту еще теплой от тел, боровшихся на ней.

Цезарь обычно возвращался через некоторое время, или звонил, чтобы извиниться перед Израэлем, и при удобном случае всегда делился впечатлениями о «деле», особенно если это была новая девушка, или в деле были какие-то интересные повороты, или что-то поучительное, рассказывал с гордостью и удовлетворением, не пропуская подробностей, стараясь раззадорить, но Израэль оставался равнодушным, а Гольдман, хотя и утверждал, что Цезарь сочиняет или сильно преувеличивает, а даже, если все – правда, то счастья это принести не может, да и удовольствие доставляет сомнительное, выслушивал эти истории с любопытством и улыбкой,

возбужденный и развеселившийся, но через некоторое время, успокоившись, злился и расстраивался, и чем больше презирал себя, тем больше завидовал Цезарю, хотя и осуждал его, завидовал легкости, с которой тот завоевывал женщин, а осуждал за безответственное и пренебрежительное отношение к ним, завидовал тому, как свободно и раскованно жил Цезарь, его жизнь казалась Гольдману, полному сомнений и неуверенности, голубым летним небом, где Цезарь-птица носится туда-сюда, куда душа пожелает, да, это был тот образ, который Цезарь стремился воплотить в своей жизни, и в определенной степени преуспел в этом, Израэль, в отличие от Гольдмана, относился ко всему этому с невозмутимостью, между тем, хозяин кафе, приятный и вежливый человек, седовласый, с сильными загорелыми руками, больше похожий на строительного рабочего на пенсии, принес ему чай и спросил как дела, и как дела у Гольдмана, Израэль положил газету и сказал: «Спасибо, нормально», добавил в чай сахар и ломтик лимона, медленно помешал и пригубил; попивая чай, он обратил внимание на заголовок в газете: «Кто это, дева Мария?», под которым следовало анекдотическое сообщение: «Некая австралийка по имени Грендель Илес, уже много лет замужем, утверждает, что она «дева Мария», поскольку страдает от стигматов¹⁹. И это подтвердил католический священник, находящийся в отношениях странной дружбы с этой женщиной. По словам Грендель Илес, называющей себя Марией, она пережила лет десять назад божественное откровение и с тех пор у нее появились кровоточащие отверстия на руках и ногах, а также на боку, они исчезали, но вновь появлялись. Помешательство или мошенничество? Хозяйка, что сдала ей квартиру, поверив свидетельству священника и в ее святость, утверждает, что она мошенница, удравшая через несколько месяцев, не заплатив за квартиру. И хотя она заметила, что Илес рассказывает с окровавленными повязками на руках и ногах, но та никогда

¹⁹ Раны на руках и ногах Христа от гвоздей, которыми его прибивали к кресту.

не объясняла причины». Израэль сложил газету, выпил чай, на дне осталась только долька лимона, вытащил ее и сжевал, потом подошел заплатить, и хозяин сказал: «Не стоит читать газеты, укорачивает жизнь», Израэль заплатил и сказал: «Да», а хозяин добавил: «Трудно избавиться от этой привычки», Израэль ответил: «Это верно. Трудно», взял сдачу, вышел, постоял еще немного на улице, думая, куда б направиться, и, в конце концов, зашагал обратно в студию. Он шел медленно, успокоенный, будто задремал внутри, и с тем же спокойствием посмотрел на жалюзи в его комнате, что все еще были опущены, пересек улицу, прислонился к забору дома напротив и стал ждать пока Цезарь (в тот период у него были три женщины: Элизра, Теила и Вики, с которыми он общался более или менее регулярно) закончит и уйдет. Четыре года назад Цезарь окончательно расстался со своей женой Тирцей после девяти лет совместной жизни, полной взлетов и падений, все началось с бурной любви и быстрого брака, а закончилось грубыми скандалами на много лет, когда Цезарь не раз уходил из дома на несколько недель, а то и месяцев, и жил у родителей, или у своих любовниц, а когда ушел в последний раз, еще не зная, что на этот раз – навсегда, оставил Тирце квартиру, где она жила с двумя их мальчиками: девяти лет – плодом великой любви, и двух лет – результатом скандалов и редких примирений, когда надо было вернуть мир в семью и вновь скрепить общую жизнь, уже разрушенную настолько, что в ней не осталось ничего кроме злобы и горечи. Иногда, ненадолго пробивались сожаление, добрая воля, и даже какая-то близость, но ребенок не оправдал надежд, возложенных на его появление воюющими сторонами, прежде всего из-за Цезаря, не желавшего простить и примириться с тем, что Тирца во время одной из ссор переспала с кем-то, пока он бегал от женщины к женщине, делая это открыто и демонстративно, не желая поступиться тем образом мужчины, которому следовал, и укротить свое обидное для других своеволие, умерить тщеславный пыл по отношению к женщинам, в результате он ушел жить к родителям, где был свободен от ответственности и огорчений, они как всегда

принимали его доброжелательно, ни о чем не расспрашивая и ничего не требуя, Эрвин был занят своими делами, кроме того, он любил Цезаря и не считал его поступки достойными осуждения, даже наоборот, видел в этом нечто сближающее между ними, а Зина, мать Цезаря, хоть и не любила Тирцу, была равнодушна к внукам и не одобряла сына, но находила утешение в том, что Цезарь теперь при ней, вновь под ее опекой, и вообще, радовалась каждому гостю, лишь бы умел шутить, болтать и громко смеяться, наполняя шумом ее огромную, роскошную квартиру, набитую дорогой мебелью, коврами и лампами, оригинальными картинами художников и скульптурами из дерева и керамики, Зина покупала все это с воодушевлением и без разбора, так же как покупала платья и туфли, куртки, кожаные сумки и драгоценности, самые дорогие, хотя почти не носила их, Эрвин все это оплачивал без удовольствия, но и без жалоб, и потому что денег хватало, и потому что верил, что таким образом покупает ее согласие на свои приключения на стороне, в основном на его отношения с Хемдой, и компенсирует ей одиночество и отчуждение, дарит радость, лицо Зины и в самом деле всегда сияло, она часто и громко смеялась, почти до слез, но не знала радости. А чему было радоваться? А ведь она и в своем возрасте все еще была красива: женственная, рыжеволосая, с большими темными глазами, полная жизненных сил, родом из Киева – в семье со стороны матери бытовала легенда о хазарском происхождении – всегда мечтала стать актрисой и верила в свой талант, старалась убедить в этом других и получить роль в театре, но безуспешно, причиной стали, по ее мнению, примитивная дирекция, злобные режиссеры, глупость, зависть, интриги и невезение, однако она не отчаивалась и продолжала мечтать о своем появлении на сцене и громком успехе, однако ее мечтания, хотя она и старалась держать марку бодрости и уверенности в успехе, становились из года в год все более вымученными, превращаясь в источник горьких жалоб и обвинений. Она стала жертвой своих надежд, начала пить, не без влияния Эрвина и Беша, впала в сомнамбулическое состояние, и, усвоив модную сре-

ди богемы манеру курить, стала изображать из себя фам фаталь, и постепенно вошла в образ, ко всему прибавилась очень утомительная разговорчивость и короткие вспышки неумной деятельности, тем более нелепые и раздражающие, что ничем не были вызваны или оправданы, хотя сопровождались реальными действиями, нетерпеливыми и беспокойными, и вполне, на первый взгляд, объяснимыми: пошла работать волонтером в больницу, потом впряглась на некоторое время помогать детям из бедных кварталов, еще занялась спортом по «системе Александра» и нашла в этом путь к спасению, целый семестр учила в университете историю, хотела найти работу в офисе или в магазине, чтобы себя содержать, но все откладывала со дня на день, или вдруг ее охватила страсть к кулинарии, потом, с той же страстью, она отдалась рисованию, потом решила усыновить ребенка и даже советовалась об этом с сестрой Яфой и с Эрвиным, тот с трудом выслушивал ее, кивая иногда головой. Разочарования, скука, страх одиночества и старости преследовали ее, и, конечно, – Эрвин, любовь ее жизни и самое тяжелое разочарование, давящее на нее уже годы, он поселил в ней страх и терзания, днями и ночами, тревогу, неутолимую ревность и бесконечные ожидания, превратил ее жизнь в паническую и бесцельную беготню к убегающему горизонту, и она постепенно погружалась в болото пустоты и бессилия, не зная, что предпринять, все еще надеясь, испуганная и измученная, что Эрвин спасет ее прежде, чем она сойдет с ума, но Эрвин, ради которого она ухаживала за собой так тщательно и с большим вкусом, был занят только собой и своими делами, и не был готов уделить ей больше чем те крохи внимания, вынужденного и необязательного. Он был инженер-строитель, создал собственную большую фирму, которая предоставляла услуги проектирования и инспекции, прежде всего в области создания особо сложных конструкций, а кроме этого построил вместе с компаньоном Максом Шпильманом производство специального бетона на основе собственных патентов, и благодаря неутомимой работоспособности, вместе с присущими ему от рождения житейской мудростью и хитростью, а

также природным обаянием, скрывающим эгоизм и немалую агрессивность, весьма преуспел, и стремился еще более преуспеть. Эрвин любил поговорки собственного изготовления: «Есть только одна причина для сожаления: если ты не смог защитить свои интересы», или: «Свиней тоже Господь создал, значит, их тоже надо кормить», или: «Желательно чтобы и добрые дела приносили прибыль», или: «Дай человеку шанс полюбить тебя», иногда говорил: «Жить бедно – не заповедь, и уж тем более не удовольствие», и очень часто: «Правда и ложь не вечны, через день-другой помним только то, что удалось»; но благодаря замечательной насмешливой искры в глазах, широкой, на все крупное и розовое лицо улыбке и ироничному, шутивому тону, невозможно было понять, говорит ли он серьезно или посмеивается, играя словами, этого он и добивался, но со временем и сам перестал различать, что сказано всерьез, а что в шутку, впрочем, он никогда и не отдавал себе в этом отчета, так было удобней. Цезарь, обожавший отца и чтивший его безоговорочно, ловил эти поговорки и повторял при каждой возможности, тем же тоном, каким произносил их Эрвин, хотя тот не только был в молодости пионером поселенческого движения и социалистом, в этом качестве он приехал в Страну и несколько лет был членом киббуца, но и продолжал видеть себя сионистом и социалистом, придерживаясь соответствующих политических, общественных и моральных принципов, они со временем исказились и постепенно, почти незаметно, совершенно стерлись, но, вопреки всему, он еще верил в них, хотя в глубине души считал, что существует пропасть между миром ценностей и реальным миром, и что по сути все дозволено, но каким-то немислимым образом оставался верен убеждениям юности, которые Беш высмеивал, но Эрвин не сдавался, он слишком уважал себя, и к тому же относился положительно к миру и жизни, которые интересовали его во всех своих проявлениях и доставляли истинную радость, в отличие от Беша, это же касалось и его долголетней любовной связи с Хемдой, которую Зина ненавидела, она ненавидела и Элишеву, первую жену Эрвина, мать Рухамы, с кото-

рой Эрвин давно расстался, прожив с ней три года, но не так сильно, хотя Зина, почти не зная Элишевы и годами с ней не встречаясь, желала и ей смерти, но со временем как-то примирилась с ее существованием, и только иногда замечала тоном притворной благочестивости, что это опасная женщина, и вообще, она не умеет одеваться, и ноги у нее кривые, ненависть к Элишеве прошла длительный процесс отклонения, стирания и отдаления, тут и время помогло, и разные мелкие случаи, реальные и выдуманные, из жизни Эрвина и Элишевы, не так было с ненавистью к Хемде, ее любовные отношения с Эрвиным, открытые и всем известные, отравляли Зине жизнь и заставляли предаваться фантазиям мести и утешения, даже в объятиях Беша. Такая месть и подобные утешения были особенно унижительны и болезненны еще и тем, что Эрвин ничего о них не знал, а если бы и узнал, остался бы равнодушен, и именно поэтому она не могла найти в себе смелости и силы отомстить ему с кем-то еще кроме Беша, который хоть и веселил ее одним своим присутствием, но отталкивал физически. Беш был другом дома, по сути одним из членов семьи, приходил и уходил когда хотел, ел с ними, проводил время, а иногда и ночевал, знал все их тайны, так что многие друзья и знакомые думали, что он брат Эрвина, и действительно, они были в чем-то схожи, хотя и неясно в чем, некоторыми чертами, движениями, манерами, не то чтобы схожи, но что-то общее проявлялось, только у Беша главным стала дикая и наглая грубость, после того как он отбросил всякую утонченность, даже намек на нее, и всякое желание быть вежливым или воспитанным, он был принципиальный холостяк, с бурными, необузданными страстями, обожал грубить и делал это не переставая, никого не стесняясь, взрывался диким хохотом, похожим на крики осла, при этом трясся всем телом, проливая слезы, его брутальный сарказм и презрение ко всему были тотальны, он видел мир и историю, и любые дела как проявления глупости и подлости, бесконечно размноженные: религии, семья, родина, наука, спорт, партии, технология, законы, философия, медицина, искусство, любовь, газеты, школы – все это вызывала в нем

насмешку и ярость, в его глазах это были маски, за которыми прятались глупость и подлость, он провозгласил себя единственным мудрецом поколения и всех времен, и взял на себя роль шута и юродивого, вылупившегося из этого мира, отменив его тем самым начисто, со всеми его мерами и порядками, даже его письменные ошибки и описки невольно свидетельствовали о нарочитом бесстыдстве. Он познакомился с Эрвиным в Германии, где учил медицину в промежутке между двумя мировыми войнами, был коммунистом, но к концу второго курса бросил учебу, а через некоторое время вышел из партии, и с тех пор все время скитался, собирал объедки с чужих столов, спал в чужих кроватях, с чужими женщинами, даже если они были женами его покровителей или самых близких друзей, не испытывая никаких угрызений совести, менял места, профессии, пока не стал с помощью Эрвина и своего брата, тот жил в Австралии и послал ему деньги на покупку трактора, мелким подрядчиком по земельным работам, благодаря чему мог стать обеспеченным, даже состоятельным, но он с трудом тянул от одного ареста имущества до другого, в почти пустой и запущенной квартире, потому что всегда зарабатывал половину от того, что мог заработать и тратил вдвое больше, чем зарабатывал, не говоря уже о штрафах за просрочку платежей и выплатах компенсаций за нарушения сроков, неряшливость и другие недостатки в работе, но все это не вызывало у Беша мыслей о раскаянии или озабоченности, и не мешало ему жить по-прежнему и предаваться улажению своих страстей. Он обожал поесть и жрал все подряд, хотя его вес уже перевалил за сто кило, что вызывало трудности с дыханием и быструю усталость, жир давил на сердце и легкие, а ноги с трудом несли тело, он медленно передвигался и поворачивался, любил выпить, вернее, пил так, что врачи считали, что он уже давно должен был умереть, и предупреждали, что если не умерить потребление алкоголя, смерть не за горами, но Беш плевать хотел на предупреждения и продолжал пить сколько влезет; и еще он любил иллюстрированные и спортивные газеты, фильмы о преступлениях, мюзиклы и дикие американские комедии, летом хо-

дил в кинотеатры с кондиционерами, отдохнуть и вздремнуть, любил играть в покер, особенно утром, и, само собой, старался не пропустить ни одной юбки, только он добивался своего не как Эрвин, обаянием, веселостью и хитростью, а действовал прямо и грубо, как ел курицу, всеми десятью жадными пальцами, силой, без всяких признаков обходительности и ни о чем не думая, разве что используя иногда для соблазна подлейший обман, впрочем, и его-то он не особо пытался скрыть, несколько раз он пытался затащить в постель даже Тирцу, когда она еще была замужем за Цезарем, но получил отказ, Цезарю она не стала рассказывать, тот узнал об этом со слов самого Беша, и только потом – от Тирцы, и весело посмеялся, потому что любил Беша, почти также как любил и ценил своего отца, пытался им подражать и снискать их одобрение, ради этого он старался найти с ними общий язык во всем что касалось жизни, и особенно женщин, они часто вместе проводили время, обмениваясь мнениями, оценками и слухами, иногда по общественным вопросам или по темам, что были в новостях, смешили друг друга грубыми анекдотами и рассказами, Цезарь иногда приносил порнографические фотографии, Беш любил их рассматривать, отпуская громкие шуточки с перцем, а иногда они устраивали настоящие вечеринки анекдотов и смеха, к ним присоединялась и Зина, с сияющим лицом и тяжелым сердцем. Беш пришелся ко двору в этом богатом доме, поломанном и раздробленном, постоянно подверженном случайным потрясениям, беспечным на первый взгляд, лишенным всякого распорядка дня или жизни, но не потому что его обитатели были такими уж раскрепощенными и хотели именно этого, а потому что каждый из них был занят, прежде всего, собой и двигался по удобному для него маршруту, лишь иногда, на краткий миг, случайно совпадая или пересекаясь с маршрутом другого. В иные времена Зина еще пыталась сохранить какие-то, пусть и шаткие, рамки семейного распорядка, удерживать с их помощью Эрвина: сама готовила, покупала билеты в кино, или в театр, или на концерт, старалась, чтобы на ужин, особенно в канун субботы, как и на субботний обед собира-

лись вместе, но все эти усилия не помогли, а когда Цезарь вернулся пожить у родителей, после того как окончательно расстался с Тирцей, от прежнего в доме уже не осталось ни знака, ни памяти, его жизнь потеряла всякую форму, и стала похожа на последнюю стадию праздника, когда все расходится, мусор на полу и гасят свечи.

Цезарь зажил у родителей, в этой огромной квартире, где не пахло кухней, стиркой или туалетом, и Шошана (уборщица, она однажды развлекалась с ним, ему было шестнадцать, а тем летним утром он валялся в постели полуголый, укрытый простыней, и с тех пор между ними протянулась некая ниточка общей тайны) снова за ним ухаживала, как за ребенком, и ему это нравилось, пока однажды, после колебаний и сомнений, он решил снять себе двухкомнатную квартиру и переехал, потому что уже не мог больше жить вместе с матерью, она тяготила, раздражала его, но через некоторое время перешел жить к Теиле, она влюбилась в него, и он знал, что она будет заботиться о всех его нуждах и не будет висеть на нем, так он жил у Теилы, спал с Элизрой, а Вики, с ней он познакомился перед этим, она была обручена со светловолосым офицером, служила ему для удовольствия в свободные часы, так же как и он для нее, Вики была в самом деле хороша: загорелая, веселая и бесстыдная, как Цезарь сказал Исраэлю: «Она компактная и с могучим драйвом, она мне расширяет сосуды», умела получать максимум удовольствия от уворованных минут любви, ничего от него не требуя, только чтобы доставлял ей удовольствие, и Цезарь это очень ценил, особенно в тот период, когда он еще мучился ревностью после любовной связи с Рухамой и нуждался в поддержке и утешении без обязательств и забот, а Теила с Элизрой, хоть они и не знали о существовании друг друга, тяготили его постоянными претензиями, требованиями жениться, особенно Элизра, она была подозрительна, со вспышками ярости и ревновала его к каждой мелочи. Теила была склонна к тому же, только делала это без истерик, почти молча, самым своим ожиданием и преданностью, а Элизра высказывала свои требования ясно, прямо и решительно, не оставляя места для

недопонимания, маневров и хитростей, в этот момент она вышла из дома и, не задерживаясь, двинулась по улице в сторону моря, Израэль, он никогда ее не любил, проследил за ней взглядом, а потом, вернув взгляд на место, увидел, что жалюзи на окне поднялись, и через некоторое время появился Цезарь и двинулся в противоположную сторону; Израиль остался стоять, прислонившись к забору, поглядел вслед Цезарю, и с апатией, в которую ранее погрузился, опять стал наблюдать за парикмахершей, что сидела теперь перед большим зеркалом и занималась своими волосами, вновь бросил взгляд на Цезаря, который уже ушел далеко, повернул влево и исчез за углом по дороге к Теиле, женщине высокой, стройной, с тонкими, аристократическими чертами лица, с прямыми черными волосами, всегда собранными на затылке и схваченными коричневой заколкой, она страдала небольшим косоглазием, что придавало ей дополнительное очарование, даже нечто вызывающее, но без напора, и вместе с тем производило впечатление, будто она в легком испуге, она и в самом деле была застенчива и закрыта, но не без юмора, молчалива, кроме тех случаев, когда на нее вдруг налетала веселость, дарившая ей естественность и раскрепощенность, а когда была в дурном расположении духа, то начинала мыть посуду, протирать окна, стирать и мыть пол, это ее успокаивало, хотя обычно она не соблюдала особую аккуратность в домашнем хозяйстве, как и в одежде, поскольку не видела в этом особой важности и была рассеяна, больше думая о других вещах: любила ходить в кино, читать, слушать музыку, и, по словам Цезаря, всегда была рада выслушать его, даже когда возвращалась из аэропорта усталая и выжатая после дежурства. Сначала она думала заняться преподаванием французского, но после двухлетнего опыта оставила преподавание и попыталась заняться переводом художественной и научной литературы, но забот и трудностей оказалось немало, а заработок, если была работа, копеечным, и, в конце концов, почти в безвыходной ситуации, она пошла работать стюардессой в аэропорту, а такая работа вынуждала часто отсутствовать вечерами и ночами, и Цезарь был свободен. Ро-

дители Теилы, на улице Алиа у них был большой мебельный магазин, были недовольны ее жизнью, они приехали в Страну сразу с началом Мировой войны, но и спустя много лет по-прежнему говорили с чудовищными ошибками, иврит оставался для них чужим языком, а между собой и с друзьями они говорили только по-польски, особенно мать, красивая, ухоженная женщина, всегда элегантно одетая, так и не сумела, или не хотела приспособиться ни к жаре, ни к свету, ни к шуму этой «Палестины», и смотрела на нее взглядом чужим и гордым. Магазин давал неплохой доход, и дети получили все, чем родители стремятся обеспечить потомство: их хорошо кормили, одевали, воспитывали, они получили хорошее образование, включая музыкальное и иностранные языки у частных учителей, все делалось расчетливо, состоятельность не сделала их щедрыми, но при этом они старались держать благоустроенный дом с серебром и хрусталем, с роялем и семейными обедами, и хотя не были религиозны и по субботам играли в карты, по маленькой, но упорно сохраняли некоторые элементы традиции: по субботам и по праздникам отец Теилы ходил в синагогу, а по важным праздникам и мать тоже, и никто из них не видел в этом никакого противоречия, такой образ жизни был для них частью общей системы обрядов и правил, которые твердо соблюдались и дополняли друг друга, а воспитание детей, их образование и будущее были частью этой традиции, как и осторожность и бережливость, и все эти обычаи, в основном, что касается денег, хотя и прятались за жестами показной щедрости, в свою очередь тоже держались на разных правилах и принципах, но по сути, все дело было в характере отца, человека добротой не страдавшего, он много лет торговал подержанной мебелью, пока не проложил себе дорогу к большому мебельному магазину и обеспеченной жизни. И когда Теила пошла работать стюардессой, у родителей это вызвало глубокое разочарование и стыд, а ее отношения с Цезарем были восприняты как жуткий позор, катастрофа, они пытались скрыть это, даже от ближайших родственников и друзей, не находили себе места, угнетенные и разгневанные, но все же не стали

мешать Теиле и надеялись, что после того как она закончит учебу на курсах по французской культуре, то пойдет работать в министерство иностранных дел или будет преподавать в университете, и выйдет замуж за врача, или за инженера, или за экономиста, создаст семью, это был предначертанный ей маршрут, и ради его осуществления они были готовы помогать сколько потребуется. Два сына, один зубной врач, а второй инженер в области электроники, служивший в армии по контракту, были согласны с родителями, особенно инженер, злой по нраву холостяк, они взяли на себя функцию убедить ее оставить Цезаря, поскольку у матери не было на дочь никакого влияния, а отец не уставал повторять, что видеть ее не хочет, проклинает и лишает наследства, он впадал в ярость, когда начинали говорить о ней, и однажды, когда Теила сидела с ним и братьями в салоне, чуть не набросился на нее с кулаками; но все попытки прекратить ее связь с Цезарем не увенчались успехом, во-первых, потому что она с самого начала полюбила его таким, каким он был, и все его выверты не были для нее тайной, а, во-вторых, потому что он был первый и единственный, дарившей ей наслаждение в постели. Эта тихая, но непоколебимая твердость, обнаруженная Теилой в ее сопротивлении родителям, упорство в решении жить с разведенным мужчиной с двумя детьми, да еще фотографом, потрясли ее родителей и братьев, также как она в свое время потрясла Цезаря, когда, забеременев, отказалась, несмотря на все его требования, сделать аборт. Он обвинял ее в неосторожности, баловал, умолял – не помогало, и тогда отвернулся от нее, но потом снова попытался убедить, подтолкнуть, обещал ей жениться сразу после того, как она сделает аборт, уезжал из города, кричал на нее и угрожал, потом мирился, и всегда утверждал, что с экономической и эмоциональной точки зрения они еще не созрели для ребенка, и что случайный ребенок, которому не рады, испортит их взаимоотношения и все ее шансы на будущее, поскольку его бракоразводный процесс еще не завершен, и из-за ребенка они никогда не смогут пожениться, как положено, поскольку по еврейскому закону брак с ней будет невозмо-

жен, но Теила, хотя и не смыслила ничего, как и Цезарь, в еврейских законах, и очень хотела выйти за него замуж «как положено», при этом очень хотела ребенка и боялась аборта, с тяжелым сердцем она снова повторила ему то, что уже говорила не раз: что готова жить с ним и без свадебных церемоний и готова к тому, что их ребенок будет незаконным, ей наплевать, главное – пусть будет, и Цезарь сказал: «Тогда я ухожу», он и с самого начала думал только переночевать у нее ночь-другую, а Теила сказала, что родит, даже если он уйдет от нее, и сама его вырастит, и Цезарь, потеряв самообладание, обвинил ее в шантаже и эгоизме, тогда Теила, сев на кровать, в первый раз спросила его, собирается ли он вернуться к жене, или у него есть другая женщина, он сказал: «С ума сошла», и поклялся, что любит только ее, и нет у него никакой другой женщины, и Теила, недоверчиво взглянув на него, сказала: «Ладно, хорошо, оставим это», а Цезарь сказал: «Ты мне не веришь?», и Теила, пригубив холодный кофе, оставшийся в стакане на журнальном столике рядом с кроватью, сказала: «Да. Я верю», Цезарь приложил ладони к своей груди и сказал: «Клянусь тебе», и не отстал от нее пока к утру, бледная и похолодевшая от усталости, она не поддавалась его воле, и через три дня он отвез ее в клинику, а потом привез домой, и на следующий день она попросила его уйти, оставить ее в покое, но он будто не слышал ее слов и несколько дней ухаживал за ней, как мог, пока она не поправилась, не встала с постели и не пришла в себя, и тогда снова попросила его уйти, на этот раз Цезарь ушел сразу и с чувством облегчения, даже оставил у нее почти всю свою одежду и разные вещи, даже бритвенный прибор, но ключ от ее квартиры оставил себе, и вернулся жить у родителей, а меньше чем через месяц, невзирая на протесты Зины, переехал к товарищу; несколько дней он не виделся с Теилой, только иногда, как бы нехотя звонил ей, интересовался самочувствием, она отвечала спокойно, немного отчужденно, будто оберегала себя, или в самом деле охладела к нему, но потом, по его инициативе, постепенно, сначала колеблясь, они снова стали встречаться, без всяких с ее стороны условий или требова-

ний, почти не проявляя желания, во всяком случае не явно, и она никогда не напоминала ему того, что произошло между ними, он приходил, и они вместе проводили время, ходили в кино или в ресторан, иногда в театр, и он спал с ней с удовольствием, хотя и с некоторым чувством вины, перемешанным с благодарностью, впрочем, эти чувства со временем ослабли и рассеялись, но подобных чувств он никогда не испытывал к Элиэзре, в отношениях с ней он знал только чувственное волнение, ничем не омраченное, и к нему добавлялось удивление от ее интеллектуальных и душевных способностей, которые Цезарь, как он считал, открыл в ней, но в основе всего этого была просто дикая страсть, не знающая утоления, ее грубая красота, притягивающая его, сексуальная распушенность, всегда многообещающая, надменность, и эта капризная игра со сменой масок: то стыдливость – то необузданность, то агрессивность – то незащищенность. В Элиэзре, было что-то от духа дерзости и неудовлетворенности Рухамы, хотя не в такой естественной и грубой форме, потому что Элиэзра боялась одиночества, она хотела нравиться, и вместе с тем контролировать ситуацию, она все понимала, и сознавала как свою силу, так и свои слабости, и подстерегающие ее опасности, и поэтому все у нее стало игрой и потеряло значение, но Цезарь этого не чувствовал, да ему было и все равно. Они познакомились в армии, и почти сразу после службы расстались: Цезарь уехал в Америку учить архитектуру, а Элиэзра переехала в Иерусалим и училась в «Бецаль»²⁰ рисунку, и только через несколько лет, летом, они снова встретились, Элиэзра уже была замужем за Гидеоном Рейтером, который ухаживал за ней еще в гимназии, а Цезарь был женат на Тирце, и они уже несколько лет прожили более или менее счастливо, а параллельно у него начались отношения с Рухамой, причем все происходило почти открыто, что превратило его жизнь в полный хаос, пока Рухама не положила этому конец, внезапно и жестко, не оставляя никаких надежд или иллюзий что, может быть, изменит свое ре-

²⁰ Художественная школа.

шение: после того как Цезарь спросил ее, если у нее еще кто-то кроме него, Рухама ответила: «Да. А теперь одевайся и топай. Мы достаточно пообщались», Цезарь сказал: «Ты говоришь несерьезно», и Рухама бросила: «Я говорю абсолютно серьезно. Уходи и не возвращайся», и хотя Цезарь в глубине души всегда опасался, что она выкинет нечто подобное, а когда спросил ее, зная, что нельзя задавать такие вопросы, уже чувствовал приближение конца, но все равно был поражен неожиданностью и совершенно ошарашен, он встал и, не произнеся ни одного слова, оделся и вышел, и так пришел к завершению целый период в его жизни, он длилась несколько лет, и все это время их отношения были вызывающе дикими, но Цезарь полностью наслаждался всем этим, хотя и часто страдал от ревности, и к Авигдору, ее мужу, и ко всем мужчинам, которые были у нее до него, большинство из них он и не знал, а о тех, кто при нем появлялся и исчезал, он даже не решался спросить, вплоть до того раза, который положил конец их отношениям, и все потому, что ее отношение к нему быстро и неожиданно менялось, его все время мотало между счастьем и унынием, что посеяло в нем не только чувство зависимости от нее, от ее снисхождения, но и страх, что в один прекрасный день она положит всему конец, как оно и случилось, точно так же она порвала с мужем Авигдором, от которого родила двух детей, мальчика и девочку, но Цезарю не удавалось оторваться от нее, хотя он не раз и пытался, он остался привязанным к ней, поработанным, во власти ее настроений, как и Авигдор, красивый парень, добрый и с тонким чувством юмора, порой остро слов, что проявлялось, правда, не часто и как бы украдкой, поскольку по природе своей он не был любителем поговорить, да и присутствие Рухамы сковывало его, потому что она была умна, остра на язык, агрессивна и капризна, и невозможно было предугадать ее настроение в следующий момент и как она среагирует. Были часы, а то и дни, когда она была спокойна, мила, весела, и светилась очарованием и душевной щедростью, унаследованной от Эрвина, но вдруг, из-за случайного слова или жеста, а иногда без видимой причины, взрывалась яр-

стью, или падала в тяжелую депрессию, и тогда топила свою мрачность в поисках мужчин и утешала себя в их объятиях, или ела без остановки, или спала беспробудно, целыми днями, полностью забывая о доме, о детях, однако Авигдор продолжал преданно ухаживал за ней, как за больной, и любил ее еще больше, а может быть жалел, и, несмотря на боль и унижение, терпеливо сносил все ее безумия и измены, которые не мог не заметить. Ради нее он ходил в кино и на концерты, пытался учить английский, одевался не по своему вкусу, ухаживал за двумя огромными овчарками, которых она держала в доме, и они сопровождали ее повсюду, но она не находила с ним удовлетворения, или хотя бы успокоения, а его преданность и самоуничтожение бесили ее, и однажды она с ним рассталась, сообщив об этом коротко и однозначно, он это принял, к большому ее удивлению, почти невозмутимо и уехал на три недели в Грецию за счет Эрвина. Когда она была замужем, Цезарь обычно приходил к ней днем, в это время Авигдор, шофер автобуса, был на работе, а когда развелась, он оставался и на ночь, а в комнате рядом спали дети в постели Авигдора, иногда, летом, они это делали на полу, или в ванной, под струями воды, и Цезарь целовал ее сочные губы, ее тяжелые горячие груди, ее живот и колени, и вдыхал запах ее пота, упоительный, возбуждающий, но тень неизбежного расставания витала над ними, а когда час настал, он почувствовал, что его мир рухнул и потух; снаружи шел легкий дождь, он вышел на улицу, пустую и мокрую, еще погруженную в сумерки холодного зимнего утра, постоял, руки в брюки, посмотрел напротив застывшим взглядом, потом поднял воротник плаща, наклонил голову навстречу сильному дождю и тяжелыми шагами направился к машине; он сидел в ней без движения в пронизывающем холоде, смотрел, как сумерки медленно тают, светлеет воздух, и постепенно ощутил, как его наполняет чувство огромного облегчения, даже радости, он завел машину, проклял Рухаму и поехал домой. Дети еще спали, но Тирца не спала, боль и гнев исказили ее лицо, сделали его суровым, и, посмотрев на него, она сказала: «Зачем ты пришел?», Цезарь ответил: «Захотелось

и пришел», Тирца сказала: «Нет, не захотелось тебе», а Цезарь обронил: «Да, в самом деле», и Тирца продолжила: «Почему ты у нее не остался, оставайся у нее и все», Цезарь сказал: «Не хочу», а Тирца сказала: «Может, хватит с этим?», и Цезарь сказал: «Да», и положил ей руку на плечо, не в знак любви, а в знак благодарности и желания почувствовать близость, но Тирца не пошевелилась навстречу, он неловко погладил ее затылок и сказал: «Все. Это дело закончилось», потом заглянул в детскую, потом зашел на кухню и сделал себе стакан кофе, вернулся к Тирце и спросил, может она что-то хочет, и она ответила: «Да, чтобы ты прекратил это», и Цезарь сказал: «Прекратил уже. Все кончено», а когда пошел на работу, после того как побрился, переделся, принес масло и булку из магазина, почувствовал себя примиренным и счастливым, каким давно уже не был, а вечером они пошли в кино, поели в кафе, и пока не легли спать он был погружен в это счастливое состояние, но через пару дней все рассыпалось и рассеялось, он снова стал бесцельно кружить по улицам, преследуемый тоской и ревностью, не мог работать, стал пить и нажираться, грязно ругался и не появлялся дома, преследовал каждую женщину, даже Зару, молодую сестру Тирцы, и Тирца, хоть и была осторожна, поняла на этот раз, как и он, что «там» все закончилось, и была счастлива, поскольку его отношения с Рухамой и все что их сопровождало: позор, отчуждение и ненависть, унизили ее до предела, но вместе с тем она все делала, чтобы держать в доме порядок и дать детям все необходимое, и сохраняла крохи достоинства, старалась хорошо выглядеть, и хотя сильно любила Цезаря, не уставала требовать от него прекратить те отношения или оставить семью, и даже говорила об этом с Гольдманом и просила его повлиять на Цезаря, в конце концов, опозоренная и униженная, пытаясь спасти остатки гордости, переспала с женщиной, которого встретила на вечеринке у друзей, а потом рассказала об этом Цезарю, но это ничего не дало, потому что гнев и обида, налетевшие на него в результате ее поступка, который его потряс, не смогли вытравить его тягу к Рухаме, что крепла со дня на день, пока не сорвалась болью.

Ни капли достоинства в нем уже не осталось, даже трезвости мысли, в это время, когда он разъедал рану мечтами о мести, готовый ползти к Рухаме, целовать ей ноги и умолять о позволении вернуться, он даже думал обратиться к Эрвину, которого Рухама любила больше чем кого бы то ни было на свете, и попросить его вмешаться на его стороне, повлиять на нее и попытаться отменить приговор, он сторожил ее за углом, оттуда была видна часть улицы и дверь ее дома, или во дворе дома напротив, или в местах, где она, как он полагал, могла пройти, ждал ее появления, хотел ее видеть, или – чтобы она его увидела, может ей станет больно, может что-то случится, и все вновь изменится к лучшему, боль и ревность разрывали ему сердце, а когда увидел ее на похоронах с двумя овчарками, и, как всегда, с одним из незнакомых ему мужчин, почти все ее ухажёры были моложе его, иногда намного, то поклялся, что даже если эта блядь будет валяться в его ногах, он не вернется к ней, проклинал ее и молился что б сдохла. Если б она плохо выглядела, или была бы печальна, но ничего в ней не изменилось, она продолжала носить свои тяжелые браслеты и безвкусные ожерелья, свои длинные и широкие платья из простых тканей, украшенные большими цветами или полосами, что выглядели давно вышедшими из моды и некрасивыми, а ее лицо, она не была красавицей, было спокойным и счастливым, даже больше чем прежде, – и ему хотелось кричать от отчаяния. Это любовное отчаяние перепахало его, ни беготня-суета, ни разговоры с Гольдманом и другими, не могли его приободрить, он был уверен, что уже никогда не оправится, и только через некоторое время понял, что это не разочарование в любви раскрошило его дух, а досада поражения и детская обида: отняли любимую игрушку и отдали другому, это понимание пришло уже после того, как он стал встречаться с Элизэрой, а если быть точным, то уже после того, как с ней расстался, но и оно уже не могло принести ему никакой пользы, даже в отношениях с Элизэрой. Они встретились случайно на улице, дело было к вечеру, и Цезарь пригласил ее на чашку кофе, посидели в кафе, поболтали, поначалу смущенно, Цезарь по-

смеивался и стал приударять за ней, но Элиэзра рассмеялась и отшила его, а потом они поднялись в студию и, не произнося ни слова, разделись, бросились в постель и быстро удовлетворили свою голодную страсть, сбросив хоть на час бремя сожалений и разочарований, не дававшее жить, и Элиэзра, спешившая домой, без лишних церемоний встала и ушла, а Цезарь, ничуть не огорчившись, зашел в «темную комнату» и стал проявлять фотографии, а недели через три они снова встретились, Цезарь вспомнил о ней и скуки ради позвонил на работу, на этот раз они совершили ритуал помедленнее, не спеша, не ограничивая себя в наслаждениях, и с тех пор стали делать это чуть ли не каждый день, исключая короткий период, угнетающий и полный горечи, когда она забеременела вторым ребенком. Две недели прошло с того момента как она в этом убедилась и до того как сообщила об этом Цезарю, он выслушал ее с застывшим лицом, лежа на боку, не сводя глаз с ее лица, потом сказал: «Ты уверена?», Элиэзра ответила: «Да, я уже была у врача», а Цезарь сказал: «Ладно. Хорошо», и перевернулся на спину, а Элиэзра сказала: «Это случайно получилось», Цезарь посмотрел на потолок и легонько укусил себя за щеку, а Элиэзра сказала: «Но можно решить этот вопрос», Цезарь бросил на нее взгляд и спросил, уверена ли она, что это от Гидеона, и Элиэзра, она все эти дни плохо себя чувствовала и хандрила, не сразу ответила, Цезарь взял свои очки, которые лежали на кресле возле кровати, поиграл ими, а Элиэзра, наконец, сказала: «Да, от него», и Цезарь сел на край кровати, надел очки, закурил и бросил: «Делай, как хочешь», Элиэзра сказала: «Все что я хочу, это быть с тобой», ты это знаешь», Цезарь повернулся к ней и сказал: «Он, конечно, доволен», а Элиэзра сказала: «Это неважно», Цезарь сказал: «Окей», встал и заходил по комнате, Элиэзра сказала: «Это правда неважно», а Цезарь взял нож для резки бумаги и стал бросать его в большую деревянную доску, потом вдруг обернулся к ней и выругался: «Грязная сука! Иди, ебись с кем хочешь. Мне наплевать», Элиэзра повторила: «Все что я хочу, это быть с тобой, вот и все», а Цезарь, вскипая от ненависти, сказал: «Хватит. Заткнись. Чертова

блядь», умерил тон и сказал: «Одевайся, мне надо идти, у меня встреча», Элиэзра сказала: «Хорошо, как скажешь», встала, оделась и ушла, он не проводил ее даже взглядом, но через день, утром, позвонил ей на работу, и она, прежде чем он успел что-то произнести, сказала, что хочет его видеть, через час они были в студии, и Элиэзра, сломленная и подавленная, сообщила ему, что решила сделать аборт и попросила немного взаймы, Цезарь сказал: «Да, без проблем», Элиэзра сказала: «Это тебя ни к чему не обязывает», и Цезарь обнял ее, погладил по голове и сказал: «Глупости, мы поженимся и все будет хорошо», и в тот же день дал ей деньги, в два раза больше, чем ей требовалось, и хотя чувствовал, несмотря на сказанное ею, что тем самым берет на себя ответственность, но был счастлив, потому что с той минуты как с ней расстался, его преследовал страх, что она ускользнет из его рук, а он именно сейчас хотел удержать ее больше чем когда-либо, и чувство ответственности даже воодушевило его, а Элиэзра спросила: «Ты на мне женишься?», Цезарь ответил: «Я ж тебе сказал, тебе нечего волноваться», Элиэзра откликнулась: «Это все, что я хочу», положила деньги в сумочку, а через неделю передумала, под разными предложениями, и вернула Цезарю деньги, как раз в эти дни его тоска по Рухаме всегда сопровождавшая его, как дальнее эхо, вдруг вернулась и вновь завладела им, так что он почувствовал облегчение, посмотрел на нее и увидел насколько она подурнела, лицо пожелтело и исказилось, кожа стала сухой, и сказал: «Я думаю, нам не стоит больше встречаться», и Элиэзра сказала: «Хорошо. Ладно. Как скажешь», нервно закусила губу, и они недели две держались своего решения, а потом снова стали встречаться время от времени, встречи были угнетающими от жалоб и претензий, но они безрадостно продолжали, пока не подошло время рожать, она родила мальчика, и они снова расстались, опять навсегда, но через пару месяцев после родов встретились вновь, и Цезарь постепенно примирился с новой действительностью, позабыл свои обиды, злость, обвинения и проклятия, которыми осыпал ее про себя и в разговорах с Гольдманом, и они вернулись к прежне-

му порядку, до беременности, с еще большей страстью и жаром, как будто хотели наверстать упущенное и вытравить печаль и всякую недобрую память о том, что произошло. Отношения между ними становились все крепче, а отношения с Гидеоном, он был инженером-гидротехником и хорошо зарабатывал, стали тонуть и разваливаться в леденяще злых ссорах, хотя все это началось сразу после грандиозной свадьбы, у них так и не возникло ни на час чувство удовлетворения или близости, сплошь взаимные нападки и нарастающее отчуждение, так что семейные рамки сохранялись только в силу удобства, обманов и страхов, хотя Гидеон любил ее и заботился о ней, и ни в чем ей не отказывал, вопреки своей крайней скупости, но Элиэзра изначально отнеслась к нему холодно, а иногда просто не замечала, и даже не пыталась это скрыть, и через некоторое время после свадьбы, разочарованная, она начала изменять ему, стремясь таким образом вознаградить себя за неудачный брак, в который попала из приспособленчества и слабоволия, и продемонстрировать свое превосходство, укрепить свой собственный образ свободной женщины, не боящейся авантюры; Гидеон, он все время был занят делами профсоюза, расчетами стоимости и экономики, постоянной борьбой за права, просил ее прекратить, а потом и сам начал изменять ей, чтобы вернуть себе уверенность, чтобы удержать ее, возбуждая ревность, и его похождения действительно ранили ее и испугали, но не привели к искомому результату: сначала он пробудил в ней нетерпимость и презрение, а с тех пор как она позвонила Цезарю, вернулось и отвращение. Она возненавидела его голос, его красивое бледное лицо стало казаться ей глупым и изнеженным, она возненавидела его всегда чистые руки, и даже их легкое прикосновение вызывало в ней брезгливость, каждое его слово злило, и дети не вызывали ничего кроме раздражения, даже Иба, а с Цезарем, сразу после того как ее связь с ним снова окрепла, она вернулась к разговорам о браке, но не так как прежде, когда эти разговоры хотя и были подробны и решительны, но слишком общими и утекали в общие обещания, теперь же ее требования были не только решительны,

но и конкретны, она пыталась заставить его обсуждать детали и дату свадьбы, и место, где они будут жить, и Цезарь, хоть и был сильно увлечен ею, увиливал всеми путями: когда немедленная опасность разрыва миновала, он не хотел брать на себя никаких обязательств. Наедине с собой, а также в разговорах с Израилем и Гольдманом, он утверждал, что есть две причины, почему он не может на ней жениться: боится реакции Теилы, на которой он обещал жениться, и боится реакции Гидеона, как бы не вздумал его убить, узнав, что Элиэзра разошлась с ним чтобы выйти за Цезаря, и хотя какое-то ядро правды, быть может, и было в этих соображениях, но с точки зрения непосредственного чувства правдой являлось то, что он предпочитал об этом не думать; Цезарь был не в состоянии принять решение, поскольку любое решение было связано с жертвами, а он не желал ничем жертвовать, в его сознании это отразилось идеей «нежелания кого-то огорчить», а на самом деле он не хотел и не мог огорчить, прежде всего, самого себя. Кроме того, усталый и настороженный после любовной бури с Рухамой и разрыва с женой, Цезарь не желал упускать преимуществ холостяцкой жизни, и те радости, кои он находил в отношениях с двумя женщинами, Теилой и Элиэзрой, обе награждали его по полной программе, и новое заключение в семейные рамки пугало его, представлялось тяжкой ношей, тем более что и так, несмотря на все выкрутасы, он все еще чувствовал себя семейным человеком. Все это длилось месяцы, пока в один прекрасный день, когда у него возникли подозрения, Элиэзра призналась, без признаков смущения или раскаяния, что у нее есть еще один мужчина, с которым она спит время от времени, и странным образом, хотя он злился и ревновал, Цезарю это даже понравилось, и вызвало у него еще большее уважение к ней, болезненное и возбуждающее (при первой же возможности он с воодушевлением рассказал об этом Гольдману), и он тут же принялся допрашивать ее об этом мужчине: когда и как она спит с ним, обещал ей, что весной они поженятся, после завершения его бракоразводного процесса, который шел не спеша, поскольку никто из участников не торопился его за-

вершить, но Элизэра не стала ждать и через несколько дней сообщила Гидеону, что она хочет развестись с ним. Гидеон не удивился, но, несмотря на взаимную ненависть и бесконечные ссоры, несмотря на унижения, которых нахлебался от нее, попросил не делать этого, ему были важны семейные рамки, он уважал их, но еще больше боялся реакции родителей, особенно отца, известного врача-кожника, и реакции разных членов семьи и знакомых, и товарищей по работе, предпочитая стыд и ложь разрушенной семейной жизни, позору развода, кроме того он привык к Элизэре, она все еще привлекала его, и был готов простить все ее сумасшествия и измены, и жалел детей, которыми занимался один, как и другими делами по дому: раз в неделю по дороге на работу делал заказ в супермаркете, заботился о починках, о выплатах, проверял приходящие счета, заказывал, если требовалось, ремонтировать мебель или жалюзи, ходил на родительские собрания в школу, где учился старший сын, а уборщица убирала большую и благоустроенную квартиру, содержала ее в чистоте и порядке, будто тут и не жил никто, а Элизэра почти сразу после родов вернулась на работу, в ту же фирму, где выполняла графические работы, на домашние дела у нее не было терпения. Она даже не готовила, и с самой свадьбы они ели только консервы или полуфабрикаты, то, что можно было купить и легко приготовить: колбаски, жареную курицу, стеки, разные салаты, или обедали в ресторанах, кроме субботы днем, когда они обедали у родителей Гидеона, которые ее не любили, как и она их, и отца, интеллигентного, но очень гордого и властного, и особенно мать, эта беспокойная женщина тронулась умом на почве зависти к мужу: находила бесконечно число путей унижить себя, чтобы всем показать, до чего ее довели, и это было ее постоянное занятие. Гидеон умолял Элизэру, пытался убедить в важности семейных рамок, даже если они и не слишком крепкие, в том, что все разводы, в конце концов, победа иллюзии над здравым смыслом, просил ее пожалеть детей, ведь с их рождением она утратила часть своей свободы и должна нести ответственность за их благополучие, и оно должно стоять выше ее соб-

ственного благополучия, предлагал ей поменять квартиру, съездить за границу, Элиэзра сказала, что она подумает, а между тем, пока он продолжал свои уговоры, обратилась к адвокату, чтобы посоветоваться как наилучшим образом получить развод и обеспечить свои права, то есть, по сути, начала процесс развода, не говоря ничего Гидеону, и даже Цезарю, который продолжал получать свои радости со спокойным сердцем, и даже постаралась, тщательней, чем обычно, сохранять в тайне свои встречи с Цезарем из страха, что Гидеон обо всем узнает и не только лишит ее всех прав, но и брак с Цезарем станет для нее невозможным по еврейским законам, а Цезарь продолжал изумляться ею, и в который раз твердил Израилю и Гольдману, что она изобрела секс, рисовал им в общих чертах чудеса, которые она вытворяет в постели, но Гольдман в разговорах с Израэлем утверждал, что во всем что касается женщин Цезарь – человек несчастный и достойный жалости, поскольку, и в этом не может быть сомнений, не получает от секса никакого удовольствия, все стандартно и чисто механически, скучно, и на самом деле он страдает от «комплекса производительности», поскольку его преследует образ отца, и от комплекса кастрации, у него постоянная потребность доказывать свою мужественность, потому что он в ней не уверен, а Элиэзра, возможно, фригидна и пытается играть роль нимфоманки, чтобы создать какой-то контакт с партнером, но они оба, и она, и Цезарь, не в состоянии это сделать, поэтому все время совершенствуют технику своих соитий, для чего используют всякие предметы и устройства, разглядывают во время актов порнографические фотографии или читают отрывки из дешевой секслитературы, а в последнее время Цезарь установил на потолке большое зеркало, и обложил зеркалами тахту с трех сторон, так чтобы он и Элиэзра могли во время акта наблюдать друг за другом, и чтобы он мог их фотографировать, что он делал и раньше, но теперь еще и с помощью зеркал, и все это Израэля страшно бесило, потому что стоило ему проснуться, и он тут же видел на потолке свою рожу, и от нее некуда было деться, о чем он Цезарю, конечно, ничего не сказал; он сдвинулся с места и

пересек улицу, бросил взгляд на парикмахершу, которая закончила завивать свои волосы и прихорашиваться, теперь лицо ее было похоже на маску молодой женщины, вошел в парадное, полное приятных запахов мыла и ароматов, поднялся наверх, в студию, и там нашел на крышке рояля записку, написанную торопливым почерком Цезаря, где тот извинялся, что на этот раз все так затянулось, и напомнил про лето и похороны, снова намекая Израилю, что влажность, жара и скорбь вызывают повышенный сексуальный аппетит, написал что есть всякие проблемы, но все утрясется, и подписался рисунком верблюда с огромным членом, из конца которого торчал цветок.

Израэль порвал записку на мелкие кусочки и выбросил их в корзину с бумагой, постоял с минуту неподвижно, очень усталый, думал пойти принять душ, а потом сесть и поиграть, но вместо этого снял сандалии, рубашку и растянулся на тахте, лежал на ней с закрытыми глазами, отдаваясь слабости и дуновениям ветра, а когда открыл глаза, увидел свое потяжелевшее, усталое и небритое лицо, смотревшее на него с потолка, повернулся на бок и уперся взглядом в свои светло-голубые глаза, меченные солнцем, как будто посмотрел в глаза чужому человеку, и почувствовал как из тяжелой усталости и равнодушия всплывает и заполняет его тоска по Элле, и ему уже наплевать кто она на самом деле и откуда, что делала в прошлом и о чем сейчас думает, он только хотел, чтобы она была рядом, в этой комнате, чтобы он мог ее видеть, а при желании и коснуться.

На кресле рядом с тахтой, около старой лампы для чтения, лежали несколько потрепанных книг сексуального содержания с цветными бумажными обложками, которые Цезарь приготовил для передачи Гольдману, Израэль протянул руку, взял одну из них, полистал немного и прочитал: «... расстегнул брюки, вытащил рубашку, и тут Жармен просунула свою милую мордашку в дверь комнаты и проскользнула внутрь. Я щелкнул замком двери и стал ее целовать, а когда подвинулись поближе к кровати, она сняла лифчик и трусы, и мы упали на кровать. Я горячо целовал ее соски,

потом поднял край платья и нежно погладил ляжки и пещеру всех тайн, пока она не потекла соком любви. Тут я достал свой прибор и смазал его маслом...», он отложил книгу и сел на край тахты, потом встал, взял с письменного стола большой нож для резки бумаги, похожий на кинжал, и стал, подражая Цезарю, с упорством кидать его в деревянную доску с фотографией двух стариков, сидящих перед магазином, а Цезарь тем временем, двигаясь по дороге к Теиле, после некоторых колебаний повернул к Тирце, повидать детей, Тирца как раз готовила еду, она открыла ему дверь, и Цезарь, с широкой улыбкой на лице, вошел, ущипнул ее за попку и попытался обнять, но она ловко увернулась, Цезарь ухмыльнулся: «Ты чего убегаешь», и нагнулся обнять младшего, бросившегося из кухни ему навстречу, поднял его, поцеловал в лоб и щеки, испачканные остатками еды, потом опустил, вошел в салон и подошел к старшему, Шаулю, сидевшему в кресле и читавшему книгу, хлопнул его дружески по плечу и спросил, что читает, Шауль, его лицо было бледным и каким-то потухшим, поднял глаза и назвал книгу, а Цезарь, хоть и не уловил названия, воскликнул: «Вау!», с нежностью и гордостью провел пальцами по шевелюре сына и снова хлопнул его по плечу, из кухни шел такой знакомый запах куриного бульона и еще какой-то вкуснятины, Шауль спросил его, почему он не пришел позавчера и не взял его в кино, как обещал, Цезарь, совершенно позабывший об этом, смутился на минуту и сказал, что был страшно занят на работе, нужно было срочно поехать в другой город и у него даже не было возможность сообщить об этом, но фильм, который они хотели посмотреть, еще идет, и можно пойти завтра днем, если он хочет, и Шауль сказал: «Хорошо», Цезарь, не будучи уверен, что сын ему поверил, и, злясь на собственную забывчивость и лживость, попытался стереть все эти неприятные моменты чем-то веселым, захлопнул книгу, лежащую на коленях Шауля, и сказал: «Все, заметано, завтра в четверг», и спросил сына, как рыбки, Шауль сказал: «Самка родила», затем встал и подошел с Цезарем к большому аквариуму, который Цезарь купил ему на следующий день после

того как Рухама его выгнала, и показал на стайку маленьких рыбок, суесящихся в зеленых водорослях, Цезарь сказал: «Отлично. Заботься о них», и, перейдя на кухню, попросил Тирцу, она посыпала бульон приправами, сделать ему стакан кофе и спросил ее как дела, Тирца, ее движения были очень спокойны, сказала: «Отлично», поставила чайник с водой на плиту и добавила, что она озабочена тем, что три дня назад обнаружила синяки на теле Шауля, и Цезарь, он тоже заметил слабость и бледность мальчика, отмахнулся от ее забот: «Грипп, наверное», заглянул в кастрюлю, где варилось мясо с овощами и сказал: «Ух-ты, с ума сойти!» и закрыл кастрюлю крышкой, а когда Тирца налила ему кофе, снова попытался обнять ее и, как бы в шутку, погладил ее грудь, а когда стоял, облокотившись на умывальник и пил, спросил, как ей было с тем кудрявым мужиком, с которым он ее встретил пару раз, хорош ли он в деле, большой ли у него член, потом спросил, выходит ли она за того адвоката, с которым встречается последние месяцы. Тирца промолчала, Цезарь бросил: «Он выглядит поизносившимся, но, может, у него есть деньги», потом добавил: «Тебе стоит выйти за того кудрявого», Тирца сказала: «Мерси», а Цезарь зажег сигарету и спросил ее, он ни разу, зайдя к ней, не пропускал этот вопрос, вернулась бы она к нему, и Тирца сказала: «Нет», а Цезарь, стряхнув пепел в умывальник, недоверчиво хмыкнул, но Тирца не поддержала его веселости, и его лицо тут же стало серьезным: «У меня поганое настроение», а Тирца сказала: «Что за избалованность, хватит уже ждать, что кто-то тебе поможет», ее лицо, еще красивое и женственное, было озабочено, но поделиться беспокойством было не с кем, кроме как с матерью, или с отцом, тот был человеком доброжелательным и прямым до наивности, и совершенно не деловым, посему и не слишком преуспел в жизни, но относился к своим неудачам с юмором, как и к самому себе, качество не свойственное ее матери, не ценившей юмор своего мужа, считая его простонародным, в общем, дочь любила его больше, чем жена, хотя он любил жену с нежностью, романтично до трогательности, и та лишь с годами научилась ценить эту

любовь и радоваться ей, потому что, в отличие от него, была женщиной деятельной и амбициозной, а он всю жизнь работал столяром, пока не вышел на пенсию, хотя ради нее пытался несколько раз освоить другую специальность, деятельность и амбициозность были основами ее жизни и стояли в центре системы ценностей, установленной в доме, всегда чистом и прибранном, и по этим правилам она воспитала своих дочерей, Тирцу и Зару, и с их помощью, как она надеялась, они должны были преуспеть в жизни, которую она представляла себе как арену конкурентной борьбы, и чтобы достигнуть успеха, человек должен, с одной стороны, не сутулиться за едой, не одевать носки при чужих, не напоминать даже в семье, что у мужа вставные зубы, а с другой стороны, жить в большом городе и хотя бы раз в жизни съездить в Америку, уметь держать себя в руках, ответственно подбирать друзей, получить водительские права, но, прежде всего, – быть активным и делать все возможное чтобы продвигаться в жизни без остановки, завоевать, но честным путем, социальный статус, прежде всего с помощью учебы и научных степеней, потому что имеющие степени это современная аристократия, научная степень была для нее не только ясным доказательством способностей человека, но и проявлением его личности, и результатом работы вышеизложенных ценностей и правил, с помощью коих только и можно проложить путь к вершинам жизни, и Тирца, как и Зара, что была младше на три года, учила танцы, игру на рояле, он теперь стоял без дела в центре салона, училась печатать на машинке, учила французский с частной учительницей, а после военной службы пошла в университет учить архитектуру, но не закончила, потому что вышла замуж за Цезаря и родила Шауля, а потом и вовсе потеряла интерес к учебе, да и с самого начала учеба была только данью желаниям матери, которую она не хотела разочаровывать, особенно на фоне успехов Зары, та изучала в Америке экономику, закончила с отличием и вернулась в страну с мужем Филиппом и двумя детьми, и начала работать старшим экономистом в одном из министерств. Все усилия Тирцы сосредоточились на ребенке и желании со-

здать семью, но Цезарь разрушал все, что она преданно и терпеливо пыталась построить, проявляя уступчивость и добрую волю, он отнимал у нее все силы и молодую энергию постоянной неопределенностью и бесконечными ссорами, и она чувствовала себя потерянной, загнанной муками ревности и унижениями, Цезарь их не жалел для нее, вначале это ее поразило и смутило, в основном потому, что она любила его и отдалась любви без оглядки и расчетливости, и только постепенно, хотя избавиться от любви не удалось, поняла, что все это неважно: любовь не обязательно порождает ответное чувство, и, что особенно болезненно, сохранить его не может ни преданность, ни верность, и никакая добрая воля в мире, и даже самое упрямое и терпеливое ожидание не в силах вернуть того, кого ты хочешь вернуть, в этом она убедилась в тот короткий период примирения, когда Цезарь расстался с Рухамой, в то странное зимнее утро, когда Цезарь сел рядом на кровать, нежно положил ей на плечо руку, и она, полная надежд и опасений, на миг поверила, что великое ожидание все-таки победило и вернуло его. Цезарь изменял ей открыто, унижал на глазах у всех, все годы, когда они были вместе, и настолько преуспел в этом, что она стала сама себя презирать, начисто потеряв самоуважение, и все, что еще осталось в ней от гордости и достоинства, уходило на старания скрыть от друзей и близких свои мучения и обиды, особенно от родителей, прежде всего от матери, которая была очень огорчена ее браком с Цезарем, но никогда этого не показывала, обращаясь к нему подчеркнуто вежливо; она заботилась о доме, его чистоте и порядке, о детях, старалась хорошо одеваться и ухаживать за собой, чтобы выглядеть красивой и привлекательной в глазах мужчин, Цезаря это раздражало, даже когда они окончательно расстались, уже по требованию Тирцы, она не могла больше сносить это оскорбительное пренебрежение, он все еще любил подразнить ее за прихорашивания, а иногда и схамить, Тирцу эти издевательства вначале смущали, потом угнетали, да так, что иногда, оставшись одна, она плакала, но постепенно привыкла и к этим насмешкам, перестав обращать на них вни-

мание. За деньги, которые она скопила за последние годы их брака, когда стала опасаться, что однажды Цезарь ее бросит и оставит ни с чем, плюс то, что ей дали родители, она вошла компаньоном в магазин бижутерии и украшений для дома, где днем работала со своей компаньонкой, а по вечерам старалась принимать гостей, или выйти развлечься с приятелями, сходить в театр или на концерт, хотя и не находила в этих развлечениях особого интереса, но это было частью ее борьбы за выживание, при этом она мечтала влюбиться в кого-нибудь и снова выйти замуж, но слишком устала от всего, была слишком настороженной, еще не освободилась от нагромождений боли и разочарований, старые запреты сменили соображения «стоит ли», и над всем царила осторожность, результат опыта с Цезарем и воспитания, полученного от матери, и все это требовало от нее таких усилий, что заранее убивало всякую возможность вновь выйти замуж, тем более без любви, разве что, окончательно отчаявшись, потребовалось время, чтобы все обиды и страхи стерлись и ушли на дно, и пришло понимание, что обещания – ничто, и нужно многое вложить, чтобы получить хоть что-то, например, окончательно разувериться в Цезаре (он между тем допил свою чашку кофе и поставил в умывальник), который все также приходил и уходил, а она в глубине души, хоть и прошло немало времени, все еще желала и ждала, что в один прекрасный день он вернется к ней, хотя теперь уже не была уверена, что любит его, но все еще была к нему привязана и все еще ревновала и надеялась, что их совместная жизнь сможет воскреснуть, а его возвращение вернет ей самоуважение и уважение друзей и родителей, и ее сестры, сотрет позор поражения, которое она потерпела, и почти два года с тех пор как они рассталась, она не спала ни с одним мужчиной, да, она еще долгое время после разрыва избегала этого как могла, или делала нехотя, и не только потому что ее удерживало воспитание или чувства, мешавшие жить так же свободно, как это делала сестра и другие знакомые женщины, но, прежде всего, потому что в ней еще жило ощущение обязательства по отношению к нему, как будто они еще были женаты,

и все еще было чувство, что однажды, после того как он, перебесившись, завершит свое бессмысленное кружение, эту погоню за самим собой, он вернется к ней. И только постепенно, медленно, в силу потока времени и событий жизни, она стряхнула с себя этот морок и вновь обрела уверенность и самоуважение, и умение радоваться и быть довольной собой и своими делами, и перестала думать о нем все время и ждать его, и не потому что привыкла жить одна и быть независимой, и даже радоваться этому, а потому что поняла и осознала, что их пути разошлись бесповоротно, что она сильно изменилась и уже никогда не сможет быть вместе с ним, и если еще мечтала, что он попросится назад, то только ради возможности отомстить отказом, а потом она избавилась и от этих мстительных ожиданий, убедившись, что все это не имеет значения, и вот в один прекрасный момент она вдруг поняла, что больше не ревнует его и вообще ничего не чувствует по отношению к нему, не стараясь обдумать новое состояние, она просто стала вести себя по отношению к нему как подруга, и с улыбкой, не подчеркивая свое чувство превосходства, наблюдала его беспокойные метания то туда, то сюда, причем порой он даже думал вернуться к ней, об этом он и сейчас подумал, когда стоял рядом и смотрел как она готовила, снова заглянул в кастрюлю, взял ложку и зачерпнул бамию в соусе, подул на нее, бросил сигарету в стакан с кофе и попробовал бамию, она была очень вкусной, издавала тонкий запах перца и чебреца, и сказал: «Потрясающе», положил ложку на плиту и улыбнулся Тирце: «Ты замечательная», и, слегка обняв ее за талию, добавил: «У тебя красивая талия», ее талия не была красивой, но у нее было красивое лицо, она была очень женственна и излучала покой, и Цезарь снова протянул руку чтобы обнять ее, но Тирца, хоть у нее и возникло на миг желание переспать с ним, виду не подала и осталась в режиме «занята» и «холодна», отодвинула его руку и кивнула на младшего сына, который в этот момент зашел в кухню с книгой, подошел к Цезарю и попросил почитать ему, но Цезарь, взглянув на часы, сказал, что он спешит на важную встречу по работе, и пообещал сыну, что почитает

ему при первой же возможности и поиграет с ним, он поцеловал его в обе щеки, потом зашел в салон и подошел к старшему, с нежностью погладил его по голове и напомнил, что завтра в четыре зайдет за ним, и они пойдут в кино, но не пришел, потому что спутался с американской туристкой, которая отняла у него всю первую половину дня и вечер, пока позволила ему себя трахнуть, он вернулся на кухню, еще раз поцеловал младшего, попрощался с Тирцей и вышел из дома с чувством выполненного долга. На улице перед домом он встретил Зару, она только что припарковалась и вышла из своей машины, они сердечно поприветствовали друг друга, как у них давно сложилось, и Цезарь спросил ее как дела, как дела у Филиппа, Зара сказала: «У нас все в полном порядке» и спросила, почему он не заходит в последнее время, Цезарь объяснил, что очень занят, но пообещал заглянуть в ближайшее время, при условии, что она приготовит пунш с орехами, и Зара сказала: «По твоему вкусу. И есть хорошие сигары. Филипп, кстати, купил новую камеру, тебе стоит взглянуть», и она махнула ему рукой, повернулась и быстро зашагала в сторону двора, а Цезарь, проводив ее взглядом и оценивая силуэт фигуры и ноги, двинулся в сторону родительского дома, он был недалеко, и сказал себе, как и каждый раз, встретив ее: если приударить за ней как следует, можно было бы уже давно ее трахнуть, и это было бы славно, все равно она, наверное, не спит с Филиппом, может быть иногда, по обязанности или из жалости, и даже это «иногда», если оно вообще случается, вряд ли по его инициативе, он был старше ее лет на 15, и хотя для мужчины был еще в боевом возрасте, да и на вид привлекательным, но каким-то угасшим, будто отвернулся от жизни, загоревав от ума и злорадства. Он родился в Ванкувере, в богатой еврейской семье, отец был успешным психиатром, а мать давала уроки фортепьяно, учился архитектуре в Макгилле²¹, и вместе с глубоко-

²¹ McGill University — государственный исследовательский университет в Монреале. Считается по основным рейтингам третьим лучшим канадским университетом.

кими знаниями по специальности был широко образован, можно сказать – человеком богатой и утонченной культуры, во многом благодаря семейным традициям и достатку, освободившему его от житейских забот и давшему возможность радоваться изысканным удовольствиям, которые дарует культура: музыка, книги, театр, выставки, балет, путешествия. С Зарой он познакомился случайно, у общих знакомых в Нью-Йорке, и через два месяца они решили пожениться, а через год родился первенец, а через пару лет – еще один мальчик, а когда тому исполнился год, Зара как раз закончила учебу, и они приехали в Страну, здесь у них родился третий сын, через шесть лет после второго, в самый разгар семейного кризиса, что только на время ослабило этот кризис, он начался, когда Зара влюбилась в одного молодого архитектора, работавшего в фирме, где Филипп был компаньоном. Все это длилось довольно долго, Филипп ничего не знал, а когда узнал, бросил несколько фраз, тихо, как бы между прочим, и закрылся в молчании, не нарушив его и тогда, когда Зара оставила их шикарный дом и детей, и стала жить с молодым архитектором на съемной квартире, что очень огорчило ее отца, переживавшего за нее, и рассердило мать, у них вышел тяжелый разговор, но и это не помогло, однако спустя несколько месяцев, несмотря на то, что они любили друг друга, Зара рассталась с молодым архитектором, он вернулся к жене, а Зара к себе домой, и Филипп принял ее так же спокойно, как и расстался, будто ничего и не произошло, поскольку по природе своей был человеком мягким и сдержанным, а утонченность вместе с аристократической гордостью наполнили его сомнением и безволием, и убили способность отреагировать так, как ему, быть может, хотелось; прошло еще немного времени с тех пор как Зара вернулась, и, несмотря на ее протесты, Филипп продал свою долю в фирме и перестал работать. С этого момента он жил – состояние семьи позволяло – полным бездельником: утром отправлял детей в школу, и это было по его словам самое полезное дело, готовил

себе тост и кофе, потом целый день сидел и слушал музыку, или листал альбомы с репродукциями, или книги о птицах, которых оказалось немало в его библиотеке, или погружался в чтение прозы или поэзии на французском или английском, или решал шахматные задачи, или просто кроссворды. Он убивал себя бездельем, намеренным и демонстративным, и так, полностью сознавая это, унижал себя, погрузившись в тягостную атмосферу безразличия и горькой иронии, обращенной прежде всего к самому себе, и время от времени эти нотки ненависти и жалости к себе, как бы невзначай, вырывались, и Цезарь, чувствовавший симпатию к этому высокому, крупному мужчине, примирившемуся со своим бессилием и своим поражением, не переставал удивляться странной связи между ним и Зарой, а она, несмотря на отчуждение и раздражение, чувствовала вину перед Филиппом, и раскаяние, и старалась угодить ему, но не могла и не хотела разорвать отношения с молодым архитектором, продолжая встречаться с ним раз или два в неделю в гостинице, уже после того как они перестали жить вместе и каждый вернулся домой, а Филипп, все это было ему известно, хотя и ни разу не обсуждалось, отрезал себя от нее, как и от всего мира, но продолжал поддерживать корректные отношения, но сверх этого – ни улыбки, ни слова. Эта связь между Зарой и Филиппом представлялась Цезарю безжизненным соединением между чем-то бурлящим жизнью и омертвелым, отсутствующим, или, по крайней мере, чем-то постоянно и неотвратимо убывающим, и уж никак он не мог понять, что заставило Зару выйти за Филиппа, кроме разве что денег и статуса, и он изумлялся Филиппу, чья реакции на связь Зары с молодым архитектором была вне его понимания, впрочем, вся система их взаимоотношений была для него странной; он открыл калитку во двор дома, где жили родители, прошел по тропинке, уложенной черной и красной плиткой, через кусты, мимо большого, апельсинового дерева в разгаре цветения, издававшего сильный, дурмящий запах, и позвонил в колокольчик, Зина была одна и сидела в огромной гостиной, на голове непривычный парик блондинки в стиле Дорис Дэй, а

в руках большая деревянная маска, она поспешила открыть дверь и, увидев его, радостно вскрикнула, ее лицо разгладилось и показалось счастливым. Так она принимала всех гостей, поскольку считала необходимым радовать друзей, но прежде всего потому, что не могла оставаться одной, одиночество угнетало ее и вызывало тревогу, и всегда ждала, что кто-нибудь придет и освободит ее, одиночество было ее окружением, и только в редких случаях ей удавалось выйти за его границы, ведь ее единственным интересом была она сама, даже Эрвин был важен только по мере внимания, что он проявлял к ней, но Эрвин двигался самостоятельно по своим отчужденным маршрутам, совершенно отдельным от ее пути, по которому она шла обеспокоенная и запутавшаяся, будто потерявшая опору, вызывая у Цезаря (он поцеловал ее в щеку и вошел с ней в гостиную) страшное раздражение бессмысленными действиями, паническими жестами и бесконечными требованиями внимания к себе и подтверждения ее правоты, но он старался всегда, насколько мог, быть с ней приветливым, спросил, как она поживает, Зина сказала: «Чудесно, сынок. А как ты?», Цезарь, несмотря на все старания, он уже был в напряге, сказал: «В порядке. В полном порядке», и Зина, улыбнувшись, сказала: «Папа сейчас придет», спросила его как дети, и Цезарь сказал: «Шауль чувствует себя неважно», Зина сказала: «Так уж с детьми», и показала ему деревянную маску, которую держала в руке, бросившись с энтузиазмом объяснять, что это африканский божок с Берега Слоновой Кости, которого она купила в антикварном магазине, и она думает, куда бы его поставить, ее волнение по поводу прибытия Цезаря и заботы о местоположении деревянной маски было неискренним, вымученным, последние недели сильно пошатнули ее интерес к картинам, скульптурам, антиквариату, украшениям и одежде, и даже ее вечная борьба за любовь и внимание Эрвина как-то отошла в сторону по сравнению с озабоченностью своими ногами, очень красивыми, болезненный процесс вдруг обострился и они посинели и распухли, что вызывало сильные боли и часто вынуждало присесть или лечь, чтобы уменьшить боль. С

начала ее появления болезнь пугала и угнетала Зину, но она предпочитала ее не замечать, надеясь, что так же как все неожиданно появилось, так и пройдет, но уже через несколько недель ситуация ухудшилась, она стала оборачивать ноги укусуными компрессами, как ей посоветовала Шашана, и спиртовыми компрессами, как ей посоветовал Беш, потом стала смазывать их каким-то растительным маслом неприятного запаха, которое ей дала Беатрис, жена Цви, брата Эрвина, и по ее же совету поменяла привычки в отношении еды, и только после того, как все эти средства, как и некоторые другие, не помогли, вняла увещаниям Яфы, своей старшей сестры, и обратилась к врачам, и не менее чем к пяти сразу, и все пятеро, как сговорились, сказали ей, что это распространенная, но не опасная болезнь, хотя и неизлечимая, так придется ей до конца жизни ходить с распухшими и синими ногами, и они будут болеть. Зина прокляла врачей и наотрез отказалась принять приговор; скрипя зубами, отчаявшаяся и разгневанная, она боролась за свой внешний вид, потому что хотела умереть красивой и бодрой, с красивыми ногами как у Франсуазы Арноль, и потому что борьба за красивые ноги была связана в ее понимании с борьбой за Эрвина, и она видела в своей болезни победу над ней злой воли, как и в каждой болезни или неудаче, и поэтому никакие соображения, трудности, или жертвы не могли заставить ее прекратить эту безнадежную войну до конца, отчаяние и чувство поражения определили ее жизнь и дали ей смысл, и дали силу бороться с тем, что она в глубине души считала заговором природы и злых сил. Сейчас, больше чем когда-либо, она нашла поддержку у Яфы, несчастья и болезни, мучавшие сестру в последние годы, придали ей в глазах Зины статус разбивающейся в жизни вообще, и особенно в медицине и врачах, впрочем, и раньше, в молодости, Яфа считалась женщиной деловой и твердых убеждений, стоящей двумя ногами на земле, в отличие от Зины и их младшей сестры, красотки Шалвы, которую Зина и Яфа уже не видели лет двадцать пять, с тех пор как ее оставил муж. Он был веселый и красивый парень, сильный, с низким голосом, работал на

стройке, Шалва познакомилась с ним однажды в субботу на берегу моря: загорелый, он умел стоять на руках, делать сальто в воздухе, рассказывал истории и от души смеялся, и от него шел приятный запах пота и морской воды, а через несколько дней они решили пожениться. Родители были против, они были консервативны, с определенными представлениями о жизни и поведении людей, и этот добродушный и очень красивый парень, а также поспешность их отношений и торопливый брак, не соответствовали этим представлениям, но свое недовольство они, как всегда, выразили либо молча, либо в спокойном, прохладном тоне непонимания и недовольства, и только один раз в субботний вечер, когда Шалва с отцом были на балконе одни, отец не сдержался и сказал: «Ты уверена, что ты этого хочешь?», Шалва сказала: «Да», и отец, который очень ее любил, сказал, но очень сдержанно: «Дай бог тебе не раскаяться»; но ничего не помогло, Шалва вышла замуж за этого парня, отпраздновав свадьбу с несколькими друзьями. Шесть месяцев прошли как сплошной солнечный праздник, предназначенный длиться вечно, но в один прекрасный день он бросил ее и уехал в Америку, а Шалва, с ее солнечным лицом, излучающим счастье, отсеченная в миг от радости, замкнулась в своем доме, предала анафеме всех друзей и семью, пытавшихся ей помочь, особенно отца, и все попытки сближения или примирения не помогли, она пробавлялась случайными работами, зачастую нелепыми, перестала смотреть за собой и отдавалась направо и налево мужчинам, которых возненавидела, и они не оставляли в ней после случки ничего кроме чувства отвращения и опозоренности, и все это для того, чтобы наказать мир, в основном семью, за обиду, которую ей нанесли, за этот смертельный удар по гордыне, которая до этого была безгранична. А вот Зину и Яфу, все горести и разочарования, выпавшие на их долю, только сблизили, они регулярно встречались, хотя и их отношения знали подъемы и спады, даже однажды между ними возникла напряженность, все-таки они были очень разные, и каждая шла своей дорогой, и они принадлежали к разным общественным кругам, Зина, принадлежа-

щая к более высокому кругу, не раз завидовала Яфе, счастливой сестре, что когда-то давно, когда ее дочь вышла замуж и Нойфельд, ее муж, был еще жив, она и в самом деле была счастлива, и ее амбиции, хотя она окончила русскую гимназию и два года училась на курсах учителей, никогда не простирались дальше обычной жизни и круга семьи, она была примерной домохозяйкой, Цезарь, еще ребенком, любил приходить к ней в гости, дом был полон запахов вкусной еды, влажного пара от утюга, пирогов и гуталина, стоять и смотреть, как она пришивает пуговицы, чинит носки, готовит тесто, а потом раскатывает его и разрезает на длинные полосы, быстро сплетает их в субботние плетеные булки, обмазывая маслом перед тем как поставить в печку, ошпицовывает курицу, а кроме того она еще смотрела за двумя своими детьми, Тиквой и Арье, они были того же возраста что и Цезарь и в детстве дружили с ним, и еще успевала помогать Нойфельду, который советовался с ней во всем что касалось его дел, важных и не очень. Это был простой, работающий человек, начинал с маленькой мастерской по ремонту обуви и постепенно, упорно трудясь и экономя, используя самые маленькие возможности, превратил ее в фабрику по производству обуви, и хотя это было небольшое предприятие, оно давало хорошую прибыль, и, несмотря на это, они продолжали жить скромно и экономно, поскольку свои доходы Нойфельд вложил в приобретение двух грузовиков, которые работали всю войну на британскую армию, а доход от этого вложил – все это он делал спокойно и без помпы – в земельные участки возле Яркона, рядом с арабскими деревушками и апельсиновыми рощами, к востоку от них, которые были так далеко от города, что покупка вызвала удивление и насмешки у большинства его знакомых, смотревших на него как на человека, купившего удел в пустыне Сахара, и только один участок в жизни он купил не для дохода, участок на кладбище Нахалат Ицхак, для себя и Яфы, потому что хотел, чтобы и после смерти они не расставались. Ни большое состояние, ни умеренный образ жизни не повредили благополучию их семейной жизни и счастью Яфы, отвергшей ради Нойфельда многих ухажеров,

оригинальнее и обаятельнее, чем он, но когда Тиква окончила гимназию и перед тем как пошла в армию, Нойфельд решил ее женить на одном парне, белокуром, голубоглазом, с розовыми щеками, что приехал из Венгрии и представлялся как инженер-электрик, но Тиква, хотя и провела с ним какое-то время и даже три или четыре раза пригласила домой, и он произвел хорошее впечатление своими спокойными и вежливыми манерами, воспротивилась, потому что уже до этого разорвала с ним отношения, да и не было у нее никакого желания выходить замуж, но Нойфельд уперся и заставил Яфу, которая тоже была против, присоединиться к нему, они встретились с родителями этого парня, очень простыми людьми, с трудом говорящими на иврите, и через несколько недель безуспешных жалоб и слез Тиква смирилась с приговором, и они повели ее под венец в белом шелковом платье, с жемчужным ожерельем и в туфлях серебряного цвета, на глазах сотен приглашенных, собравшихся под звуки оркестра вокруг столов, заставленных всем наилучшим, но через несколько месяцев выяснилось, что он вовсе не инженер, а довольно скользкий тип, который всю бездельничал и каждую неделю приходил к Нойфельду с новыми требованиями, и на каждый отказ, или даже колебание, или если что-то ему не нравилось, взрывался и отыгрывался на жене, которая между тем родила мальчика и через некоторое время снова была в положении, и на все увещевания Яфы и Тиквы и щедрые предложения Нойфельда войти компаньоном в его дело, или открыть свое, отвечал насмешками, а то и просто смеялся им в лицо. Он стал им угрожать, и однажды даже пытался напасть на Нойфельда, превратил их жизнь в ад, так что, в конце концов, уже не было никакого выхода кроме развода, но несмотря на просьбы Тиквы и ее родителей, он отказался дать ей развод, а когда после бесконечных уговоров согласился, то потребовал за согласие огромную сумму и новый грузовик, Нойфельд, у него уже не было сил выстоять против этого, согласился, но это дело, длившееся несколько лет, измучило его и сократило ему жизнь, и через год после ее развода он умер от сердечного приступа и был похоронен

на купленном им участке, и все его имущество и все разветвленные дела перешли в руки Яфы, а на самом деле в руки его сына Арье, которому было тогда двадцать четыре года, но он уже был погружен в сумеречное состояние души. Высокий, красивый парень, производивший впечатление движениями и манерой разговора, он всегда был в полудреме, равнодушен к окружающим, к заведенному распорядку и принятым обязательствам, вместе с тем, чтобы угодить родителям, он выполнял все их текущие требования и даже закончил гимназию с отличием, к радости Нойфельда, который видел в нем своего компаньона и наследника, но когда вернулся из армии, незадолго до смерти Нойфельда, его невозможно было узнать, хотя он по инерции еще закончил первый курс экономического факультета, но уже в начале следующего учебного года бросил занятия, спал до полудня, потом неслышно вставал, одевался самым кричащим и вызывающим образом, и выходил бродить по улицам, от него всегда пахло женскими духами. Яфа, руководившая делами Нойфельда с помощью его главного бухгалтера, просила Арье, чтобы он взял на себя управление делами отца, если он не хочет завершить учебу, или заняться еще чем-нибудь, он сказал: «Ладно. Все будет в порядке. Ты можешь отдохнуть», но не ударил и пальцем о палец, все ему надоело, и его мрачная душа будто напилась ядом ненависти и бессмысленной злобы, она рвалась и металась под маской равнодушия до полного безумия, он заразился игрой в бильярд и в карты, и с легким и жестоким сердцем, намеренно, стал тратить на это огромные суммы, проматывая состояние, собранное отцом за долгие годы тяжелого труда и экономии, зачастую мелочной и недальновидной, и это в дополнении к тем деньгам, что он тратил на случайных друзей, которые использовали его без жалости, ели, пили и курили за его счет, сопровождая его загулы до утра, и только иногда, в качестве перерыва в загулах, он закрывался в своей комнате, где вырос и жил до сих пор, и рисовал, лежа в кровати, в основном тушью или сангиной, как в гимназии, а робкие увещевания Яфы, продолжавшей готовить для него, стирать его вещи и гладить, от-

вергал молчанием, или грубостью, и когда она однажды заговорила о цели в жизни, он сказал: «У меня есть цель в жизни», но Яфа не осмелилась спросить, в чем она состоит, чтобы не разозлить его, но позже, поставив перед ним тарелку супа, спросила мягким голосом и как бы вообще: может быть, чтобы стать счастливым, стоит работать, жениться, родить детей, и Арье, он ни разу не посмотрел ей в глаза, ответил: «Я очень счастлив. Я делаю что хочу, и никто не может меня остановить, и никогда не сможет. Папа заработал много денег», встал и тихо вышел из дома. Тиква, несмотря на настойчивые просьбы Яфы, которая жалела сына больше, чем имущество Нойфельда, тающее на глазах, отказалась вмешиваться во все это дело, хотя ситуация очень злила ее и не давала покоя из-за растраты имущества, ведь она сама нуждалась в деньгах и хотела обеспечить свою долю в наследстве отца, она часто говорила об этом с Яфой, всегда грубо, с криками, но кроме этого ничего не хотела делать, потому что была убита всем тем, что произошло с ней, и ей надо было поднимать двоих детей, а кроме того, она никогда не любила Арье, и ей всегда было наплевать на то что с ним происходит, отношения между ними были слабыми и отчужденными, а теперь она и вовсе его возненавидела, а он в свою очередь старался не попадаться ей на глаза, кроме одного случая, когда он вдруг, разбудив, зашел к ней под утро, полураздетый и обдолбанный, а когда она напоила его горячим молоком, сказал, усевшись на кухне, что все плохо, и ему все вокруг ненавистно, все люди и мать в том числе, и что каждый человек достоин быть богом, и должен быть богом, но единственные боги, с которыми он знаком и восхищается ими, это преступники, потому что они ломают все границы и сами определяют свой мир и законы, по которым живут. Тиква слушала молча, потом дала ему полотенце, вытереть лицо и руки, налила еще стакан молока, а когда он немного пришел в себя, помогла ему вернуться домой, где он, не раздеваясь, растянулся на кровати и заснул, а через неделю снова пришел к ней, на этот раз «под парами», и принес рисунок синей тушью, где была изображена согнутая рука с головой змея, а

к руке прислонился спиной человек в шляпе, змей держит его в своей пасти, а человек – в платье и в сандалиях – держит в руке что-то вроде длинного посоха пастуха, и перед ним сидит собака, и оба, человек и собака, находятся между расставленных ног, одна из которых на месте, а другая вздернута к небу. На краю «правильной» ноги, созданной, по словам Арье, из ребра, можно было обнаружить лицо матери, из которого исходили ветви и корни, так что из морщин на лбу образовалось дерево, а между коленом и ногой был изображен половой орган женщины, ломающей ногу человека, это значит, как объяснил Арье, что грех пришел с женщиной и толкает мужчину в пропасть, и это падение символизирует задранная к небу нога, а огромная ступня этой ноги покрывает голову змеи и человека, которого Арье назвал «хороший пастух», это он сам, окруженный плохими волками, но они не нарисованы. Закончив рассказ, он пояснил, что расшифровать рисунок полностью может только он один, а другим, даже если и смогут, лучше оставаться в неведении, потому что понимание может привести их к катастрофе, он попросил Тикву спрятать испугавший ее рисунок, и она его спрятала на глазах у Арье в самый нижний ящик шкафа с одеждой, собираясь вернуть при первой возможности, или отдать Яфе, но та еще не пришла в себя после смерти мужа, и каждую ночь перед сном, и каждое утро, как только просыпалась, думала о нем с бессильной тоской, и чувство пустоты в том месте, где он был, преследовала ее и не давала покоя, а теперь еще и произошедшая перемена с Арье поразила ее и втоптала в прах, тоска все росла, превращая уход Нойфельда в страшную рану, она нуждалась в поддержке, в совете, хотя бы в добром слове, но по-прежнему оставалась один на один со всем этим, с жестокостью ужаса и бессилия, к тому же растерянной и обиженной, потому что не могла понять, почему Арье так себя ведет, ведь он получил хорошее воспитание и образование, к нему всегда хорошо относились, любили его и ничего для него не жалели: деликатесы, одежду, игры, щедрые карманные деньги, тогда она еще не страдала так от пустоты и предательской неблагодарности Тиквы, но несчастье

с Арье легло тенью на все, и на нее набросились разные недомогания и болезни, в довесок к общей тяжести и чувству вины за смерть Нойфельда, как и за то что произошло с Тиквой и Арье, а тут и старость напрыгнула, и вся ее женственная красота, чем она в свое время так славилась, сгинула, от нее почти ничего не осталось, только теплились еще жизненная сила и смелость принять действительность, и она продолжала смотреть за домом, организовывала покупки, готовила и пекла пироги, управляла делами и со вкусом одевалась, даже немного прихорашивалась, и с осторожностью вела себя с Арье, кроме одного раза, когда не смогла сдержаться, взорвалась и основательно отругала его, но потом сильно пожалела об этом, потому что посчитала себя виновной, и сердце ее измучилось, но, несмотря ни на что, она продолжала поддерживать себя надеждой, что Арье возьмется за ум, женится и все устроится, но Арье, которому и женщины надоели, не женился и продолжал куролесить и пропивать семейное достояние, и промотал бы его дочиста, несмотря на жалобы Яфы и гнев Тиквы, если б не покончил с собой. Он выстрелил себе в рот из пистолета, и его нашли через пару дней в собственной машине на проселочной дороге между апельсиновыми рощами, на нем был кожаный костюм, шелковая рубашка и желтый галстук, Эрвин и Цезарь, он взял из рук матери деревянную маску африканского божка и поставил на одну из полок книжного шкафа, опознали его в институте патологии, потому что Яфа и Тиква, как и Зина, она рассеянно посмотрела на деревянную маску и сказала: «Очень мило», не могли это вынести, Зина и Тиква вместе с Бешом принесли эту весть Яфе, и еще не успели ничего сказать, как она упала в обморок прямо в гостиной, так же она упала в обморок, когда обнаружилось, что инженер из Венгрии, муж Тиквы, вовсе не инженер, и при падении опрокинула чашку с кофе, разбрызгав его повсюду, Цезарь поспешил облить ей лицо водой, и капли попали на Беша и Зину, которая с бледным, испуганным лицом попыталась ее удерживать и страшно разозлилась на все эти пятна кофе на стене и на ковре, а когда Яфа очнулась, Зина первым делом взяла

влажную тряпку и попыталась их стереть, но безуспешно, эти пятна продолжали ее злить пока всю комнату не покрасили заново, это было уже после похорон Арье, чья смерть, и все что было с ней связано, сломала Яфу, и с каждым годом мучило ее все больше неустанной окаменевшей болью, и она все время повторяла: «Если бы он хотя бы погиб в армии», а Зина пыталась утешить ее, как могла; она снова посмотрела на деревянную маску и повторила: «Очень мило», прислушиваясь при этом к шагам Эрвина, он шел по тропинке во дворе и с кем-то разговаривал, и не успела Зина снова повторить: «Очень мило», открылась дверь, и вошел Эрвин, а за ним его брат Цви и его собака по кличке Генри, огромная овчарка, вызывающая опасливое уважение, она была как в полудреме от старости и безделья, но сопровождала Цви куда бы тот не пошел, так же как и трубка, вечно торчащая у Цви во рту. Зина издала в их честь крик радости, лицо ее просияло, но под этим выражением радости, пустым и застывшим на ее лице, были гнев и напряжение, потому что она знала, что Эрвин возвращается сейчас от Хемды, а кроме того она не любила Цви и его вонючую собаку, свободно гулявшую по дорогим коврам, глядя хвостом кресла и диваны и подвергая опасности антикварные вазы, стоявшие на каждом шагу. Цви пожал ей руку и извинился: «Маленький сюрприз», а Эрвин даже не удостоил ее взглядом и попросил приготовить им кофе, Зина быстро взглянула на него, ожидая, исходя из опыта, обнаружить следы распутства, при этом широко улыбнулась Цви и сказала: «Ерунда. Как Беатрис?», Цви ответил: «Нормально. Она тяжело работает», пожал руку Цезарю, который спросил Эрвина как дела, Зина сказала: «Я ей завидую. Еще несколько минут, и кофе будет готов», и зашла на кухню, а Эрвин, Цви и Цезарь вышли на балкон гостиной с видом на море и сели, наслаждаясь легким вечерним бризом, собравшим запахи цветения цитрусовых, кипарисов и свежей травы. Цви позвал к себе Генри, медленными и точными движениями набил трубку, а по ходу дела спросил Цезаря как его дела, потом продолжил беседу с Эрвиным насчет земельной политики правительства, в основном об освобож-

дении участков под строительство за счет замены статуса «сельскохозяйственной» земли на «городскую». Кроме высокого роста, тембра голоса, и некоторых выражений лица, которые невозможно определить, Эрвин и Цви были настолько разные, что трудно было признать, что они братья, Цви был мощного телосложения, лицо вспахано морщинами, очень высокий лоб, он говорил мало, медленно и сосредоточенно, и такими же были его движения, в нем заметно было что-то тяжелое, упорное и замкнутое, и если иногда в нем можно было обнаружить мягкость и душевное тепло, то это были как бы не его качества. Четыре года он делал в Утрехте²² докторат об определенных гормональных процессах и их влиянии на плодородие и урожайность разных сортов кукурузы, но один английский ученый опередил его и опубликовал, перед самым окончанием работы Цви, похожие результаты, Цви бросил свой докторат, вернулся домой с Беатрис, на которой женился в Голландии, и они зажили в маленьком доме недалеко от города, Цви занимался сельскохозяйственным планированием и практическими проектами, связанными с органическими и неорганическими удобрениями, а Беатрис преподавала в университете историю Древнего Востока. Цви не хотел детей, он считал, что у него нет права приводить детей, помимо их воли, в этот жестокий и безжалостный мир, который наверняка испортит их и разрушит, эти убеждения он внушил и Беатрис, хотя она очень хотела ребенка, Беш утверждал, что, если снять с нее макияж и красивые одеяния, обнажится нетронутый эгоизм. Во время войны Цви пошел в английскую армию и служил на Балканах, в Западной пустыне²³ и в Европе, а после войны присоединился к подполью Лехи²⁴, и на этой почве у них с Эрвиным не раз

²² Город и университет в Нидерландах.

²³ Имеется в виду египетская пустыня к западу от Нила, еще называют «Ливийской».

²⁴ Лехи, аббревиатура Лохамей Херут Исраэль («Бойцы за свободу Израиля»), подпольная боевая организация, боровшаяся против Британского мандата, основатель и вдохновитель Авраам Штерн.

возникали напряженные отношения, но эта напряженность, как и замороженные разногласия по поводу наследства, не переросли в настоящую ссору, поскольку Цви, по-своему любивший Эрвина, был тверд и бескомпромиссен в своих убеждениях и действиях, а Эрвин был занят своими делами, к тому же слишком разумен и осмотрителен, чтобы заострять разногласия, поэтому они сохранили нормальные отношения после войны и образования государства, характер которого все меньше и меньше нравился Цви, и его оппозиционные взгляды со временем только обострились, особенно после Шестидневной войны. Он больше помалкивал, но когда давал себе волю высказаться, выражался прямо, твердо и гневно, и хотя не был левым по своим взглядам, скорее центристом, утверждал, что правительство дает возможность разным паразитам легко разбогатеть, воровать общественное достояние, и поощряет социальное расслоение, утверждал, что оно проводит свою политику с высокомерием и полной слепотой, которые доведут страну до катастрофы, что страна постепенно погружается в болото тупого национализма и заносчивости, и находится в процессе фашизации и нарастания насилия под прикрытием набожности или разных теорий иррациональности, Эрвин, хотя и разделял эти взгляды, пользовался благами сложившейся экономической ситуации, и обычно отвечал ему, улыбаясь, что люди всего лишь люди и все что происходит, это неизбежный процесс в стране массовой иммиграции и ускоренного развития, к тому же годами находящейся в состоянии войны, но Цви не желал с этим примириться, страна была ему дорога, и он не знал компромиссов, как и не мог пройти мимо несправедливости, исключая вопроса о наследстве родителей, которое включало квартиру и три больших земельных участка, два в Тель-Авиве и один в Нетании, которым Эрвин завладел, вначале как опекун и оплачивавший налог, а потом и как законный владелец всего имущества, но Цви, хотя все это возмущало его до глубины души, не сказал об этом ни слова, а Эрвин не поднимал эту тему, полагая, что Цви не обратил на это внимания или забыл об этом, но Цви (он набил трубку, зажег ее и,

ласково погладив Генри, пустил первые клубы дыма) ничего не забыл, просто решил не замечать этого и никогда и ни с кем об этом не говорить, даже с Беатрис, и спросил Эрвина, до каких пор цены на участки буду так стремительно подниматься, Эрвин ответил: «Все время, пока все хорошо», открыл пачку сигар, лежащую на журнальном столике, покрытом белыми металлическими узорами, и угостил ими Цезаря и себя, Цви сказал, что правительство должно освободить землю для строительства, чтобы понизить цены на квартиры, Эрвин сказал: «Ничего не поможет. У людей слишком много денег», и зажег сигару, Цви сказал: «Правительство само спекулирует землей. По сути, оно и есть главный спекулянт», Эрвин сказал: «Правительство тоже должно что-то заработать», он выглядел утомленным, но это не было усталостью, связанной с возрастом или усилиями, но признаком болезни, о которой все, и Эрвин в первую очередь, предпочитали не думать. Кроме утомленности у него случались приступы короткой забывчивости, дрожи и легкой боли в руках и спине, порой он неожиданно впадал в полудрему, иногда посреди разговора, с полузакрытыми глазами и открытым ртом, или терял нить разговора с собеседником, будучи бодр и смотря ему в лицо пустым взглядом. Его большое лицо как бы уменьшилось, кожа на нем ослабла и сморщилась, как у яблока, усохшего на солнце, но все-таки, благодаря жизненной силе и крепости, унаследованными от матери, бабы Клары, и в какой-то мере от отца, деда Давида, и в силу амбициозности, изобретательности и собственной страсти к жизни, он продолжал ездить на работу, вести дело, присматривать за разветвленными строительными проектами, которые были в его ведении, генерировать новые идеи, обходить конкурентов, перехватывать из их рук проекты, соблазнами, давлением, а иногда обманом, и продолжал веселиться, ухаживать за женщинами, и насыщать свою неустанную любовь к Хемде, которая после стольких лет борьбы, мольбы и ожиданий, исчезающих и воскресающих иногда несколько раз в течении одной ночи, уже оставила свои радужные надежды, свой гнев, свою гордость и разоча-

рования, оставила их угасать и разлагаться, чувствуя теперь только страх перед одиночеством, иногда нападавший на нее даже когда она была с Эрвиным, а когда он уходил и оставлял ее одну, она сожалела, что не родила ребенка, но находила утешение в полноте своей любви к Эрвину и в уверенности, что и он ее любит, и что никакая сила, кроме смерти, больше не разлучит их, и была счастлива в те общие часы, когда они были вместе, а когда Эрвин повторял ей с улыбкой, что настоящая любовь – только любовь обманутая, или другие его афоризмы такого рода, уже не старалась даже возразить ему, как делала раньше, отвечая: «Красивая поговорочка, Эрвин, но в постель с ней не ляжешь», только улыбалась и не обращала на них внимание, она уже не нуждалась больше в поговорках, обрывках сплетен, или газетных историях в приложениях для женщин, или в книгах, она перестала их собирать, как и вдумываться в разные цитаты из Писания, или клятвы, или тайные заклинания, которые, если расшифровать их, откроют будущее и заключенные в нем возможности, или научат жить, отыскать ту дорогу, что приведет к ней Эрвина, или хотя бы помогут ей преодолеть трудности и муки обманутой любви, что достались на ее долю, она перестала считать свою жизнь печальной, а любовь обманутой, наоборот, теперь это была совершенная, самая замечательная любовь, какую только можно вообразить, и она молилась в глубине души, чтобы так, и именно так все пусть и идет всегда, и если бы у нее был ребенок, она бы ничего больше не желала на свете, и даже не боялась бы, что Эрвин умрет раньше нее. Она никому не завидовала, даже Зине, а та вышла на балкон с передвижным столиком для кофе, разложила на нем кофейные чашки, очень красивые, из белого фарфора, украшенные рисунками в красно-коричневом колорите, и серебряный поднос с печеньем, начиненным орехами и маком, и еще тарелку с тонко нарезанным черным хлебом, потом села между Цезарем и Цви и стала разливать в чашки кофе из фарфорового чайника, Эрвин, черный хлеб приготовили для него, взял ломтик и посмотрел на Зину как будто только что увидел ее и сказал: «Когда я вышел, ты

была еще брюнеткой, а теперь ты блондинка», хмыкнул и тут же обратился к Цви: «Смотри, как люди быстро меняются», и снова хмыкнул, но лицо Цви осталось непроницаемым, и насмешливая улыбка Эрвина, усталая, одеревеневшая, улыбка, стоившая ему усилий, осталась на его лице как будто ее там забыли, он отломил кусок хлеба с любимым вкусом скорлупы ржаных зерен и зерновых мешков, положил его в рот и стал с удовольствием жевать, запивая кофе, точно как баба Клара, мать Цви, Эрвина и их младшего брата Миши, уехавшего с женой в Аргентину, и еще четверо детей, двое из которых, мальчик и девочка, умерли в младенчестве, одна дочь погибла в Шоа²⁵, а четвертый сын, Юлий, был в партизанах, а после войны стал большим человеком в коммунистической Польше, он не подавал признаков жизни все годы, что занимал высокий пост в партии и органах безопасности, только в последнее время связь с ним возобновилась через брата в Аргентине, хотя он по-прежнему считал себя «поляком», точно также как брат Беша, живущий в Австралии, куда убежал от нацистов, продолжал считать себя немцем и утверждать, что ни Гитлер, ни Розенберг, и никто другой не в праве определять для него кто он и что он, и отнять у него его немецкость.

Цезарь пригубил кофе из своей чашки и посмотрел на Эрвина, на его лицо с усохшей улыбкой, застывшей копией улыбки бабы Клары, та всегда врывалась в их дом как буря, в своих цветных диких одеждах и рассерженно громыкала низким, хрипловатым голосом, он так любил этот голос, всегда наполнявший его радостью, даже когда она лежала в больнице, и даже перед смертью, она была очень большой, огромной, но ужасно измученной, и запахи старости и смерти, лекарств и пролежней, которые она пыталась вывести духами и букетами цветов, требуя ставить их рядом с кроватью, уже завладели ею. Она не вставала с кровати и уже не могла много говорить, но встретила его с улыбкой, как встре-

²⁵ Шоа (ивр.) — катастрофа, имеется в виду Катастрофа европейского еврейства во Второй мировой войне.

чала всех, кто ее навещал, но не той нынешней улыбкой Эрвина, а ее улыбкой, страдающей, в ней было что-то полное жизни, веселое, даже насмешливое, но без цинизма, и глаза были прозрачные и ясные, и, конечно, она возмущалась врачами, и сестрами, и едой, и шумом, а больше всего болезнью, тем, что не могла выйти, и немного подышать свежим воздухом. В глубине души она не верила, что умирает, и была права, потому что смерть не имела к ее жизни никакого отношения, и только когда Цезарь пришел к ней в последний раз, за несколько дней до смерти, она повернула к нему голову, ставшей костью на которой натянута желтая кожа, а на ней пара усталых глаз и большой рот, и сказала на идиш: «Посмотри, что Господь делает с человеком», и улыбнулась, и в этой улыбке, достигнутой немалым усилием, еще хранящей теплоту и иронию, уже было, впервые, признание конца и примирение с ним, хотя еще день-другой она спрашивала Цви, и Эрвина, и Зину и Беатрис, которые ее навещали, о Мише, и говорила им, что если он приедет из Аргентины, она сможет все преодолеть и вернуться домой, или хотя бы встать с кровати и выйти на воздух, и еще раз увидеть небо, и деревья, и свободно идущих людей, вне белых стен отделения, и вдруг закашлялась сухим, хриплым кашлем и установилась странная, долгая тишина, Цезарь надеялся, что кто-то придет и сядет рядом с ним, а баба Клара сказала: «Вспоминаются всякие вещи», потом добавила: «Есть одна хорошая польская песня», и замолчала, как будто попыталась ее вспомнить, и сказала: «Отец трубил в шофар на Рош Ашана и в Йом Кипур. Он был самый лучший трубач. Жаль, что ты его не слышал», положила свою похудевшую ладонь на руку Цезаря, ее лицо на миг наполнилось светом и добротой, и после короткого молчания повторила: «Вспоминаются разные вещи», но она не поделилась воспоминаниями, хотя показалось, что она хотела это сделать, только закрыла глаза и тихо лежала, а Цезарь не спросил, прикосновение ее руки и весь исхудавший, болезненный вид, и запахи, что исходили от нее, отталкивали его, и хотелось убежать, но он продолжил молча сидеть возле кровати бабушки, ее воспоминания опе-

чалили его, из всех знакомых ему людей баба Клара, хотя он не помнил ни даты ее смерти, и ни разу не был на ее могиле, была единственным человеком, которого он просто любил и был к ней привязан без расчетов и обязательств, или каких-то усилий, человеком, вызывавшем в нем время от времени чувство потери и грусти, окрашенное добрым светом, вот как сейчас, сидя на балконе в приятном вечернем воздухе, ему захотелось, чтобы она вдруг воскресла, и вообразил себе как это произойдет, даже почувствовал счастье встречи и ее радости, поэтому не прислушивался к негромкой беседе Цви, Эрвина и Зины, пока низкий голос Беша, криком раздавшийся с улицы, не прервал его грезы, и через минуту вошел Беш с огромной глупой улыбкой, будто был выпимши, от него и в самом деле несло за версту, приблизился к столу и прокричал, указывая пальцем на Цви и Эрвина, что мир нужно поставить вне закона, а также Бога, хотя его уже нет, как нам сообщают некоторые писатели и журналисты, этих-то точно нужно поставить вне закона, потому что несут, не ведая что, после чего объявил, что жизнь отвратна, лжива и изломана, но, во-первых, она так гипнотизирует и очаровывает, что он не намерен расставаться с ней, а во-вторых, он ни за что не расстанется с ней, потому что хочет еще немного полить ее своим присутствием, а вообще, он бы порвал ее на куски и сжег, на самом деле, нельзя поднять голову и посмотреть прямо, потому что в ту же минуту человек должен оторвать себе уши, повесить их за веревочку, подняться на самую высокую крышу и кричать изо всех сил, и он прокричал: «Оторвать себе уши!», схватил себя за уши и потянул вниз, как будто собрался их оторвать, и засмеялся, потом провозгласил, что он готов продать настоящее и будущее, и даже вечность и спасение за тарелку рыбного супа, который ему готовила мать, она безусловно была одним из чудес света, и как его брат в Австралии, считала себя немкой, только по сравнению с братом она была так убеждена и последовательна в этой вере, что не избавилась от нее, пока нацисты ее не убили, она, может быть, и сейчас продолжает, в качестве дыма или чего-то такого, ведь согласно закону сохранения

материи ничто в природе не исчезает, считать себя немкой, и убеждена, что просто тут вышла жуткая ошибка, и снова взорвался смехом, подошел к буфету в гостиной, вытащил из него бутылку водки и стаканы, собираясь вернуться к столу, но Зина встала ему навстречу и попыталась забрать у него бутылку и вернуть ее на место, но Беш не принял этой заботы о своем здоровье и сказал, что чувствует себя великолепно, в любом случае человек в праве выбрать себе путь и срок саморазрушения и смерти, при этом он выругался и налил себе и Цви, который все время сидел и курил с непроницаемым и отчужденным лицом, и Эрвину, и Зине, и Цезарю, и сказал, что, в сущности, она заботиться не о его здоровье, а о мебели, обо всем этом проклятом искусстве в доме, после чего поднял стакан и выпил, и тут же прокричал: «Я вновь заявляю, что шаги вспять возникают из метафизической семьи, что привела к странной реакции городских птиц, включая сов, и нанесению вреда праведникам, не обращая внимания на дождь или еще что, или на главу правительства, где бы он ни сидел, и так, после стадий эволюции праха пришла жизнь и передана нам по наследству, когда реакция пославшего или принявшего идет дальше в сторону возвышенных улучшений в садах, климате и наклоне крыш, и приятных насаждений, пока счастье не исполнится и не созреет. Спасибо», снова хохотнул и вдруг замолчал; Цезарь и Эрвин, смеявшиеся вместе с ним, тоже замолчали и все молча выпили, а Зина, не выдержав затянувшегося молчания, громко сказала Цезарю, чтобы Беш и Эрвин услышали, что маска африканского божка замечательна, а Беш, посмотрев на нее, бросил: «Можно подтереть ей задницу, и всеми африканскими божками», и захохотал, затем наполнил свой стакан и сказал Цезарю: «Не нужно делать детей, если нет желания, мы в демократической стране», и Цезарь сказал: «Да. Ты прав», а Зина сказала: «Ты слишком много выпил, Беш», и Беш слегка кивнул ей, бросив: «Доброе утро, госпожа бабушка», и улыбнулся, тут Эрвин сказал: «Хватит, Беш», а Цезарь сделал вид, что не слышал и выпил еще водки, которую не любил, в отличие от виски, но хотел проявить солидарность,

поскольку считал выпивку в мужской компании частью того образа жизни, которому хотел подражать, тем мужским идеалом, к которому он стремился, а Беш прекратил смеяться, тяпнул еще водки и продолжил выступление: «Больше не видно песка. Но без паники, песок еще покрывает этот город. С песком шутки плохи», его лицо стало мрачным, и снова отхлебнув, заговорил осознанно: «Этот город не должен жить. Это просто недоразумение. Думают, это игрушки, просто так. Это кладбище!», и посмотрел на Цви, потом на Зину, которая хихикнула невпопад, а Беш, его мрачное и одутловатое лицо было уродливым, поиграл стаканом и сказал: «Тебе что, тебе все равно, ты хазарка», и после короткого молчания повторил: «Это просто так», и громко зевнул. Цви сделал вид, что не слышал, и вообще ждал минуты, когда сможет встать и уйти, а Цезарь улыбнулся широкой вымученной улыбкой и, тоже хохотнув, посмотрел на Беша, тот продолжал играть со стаканом и вдруг без всякой связи выкрикнул: «Закрываем!», снова наполнил стакан, бросил взгляд на Цви и сказал: «Он будет молчать», Цви не сказал ни слова, только погладил Генри и посмотрел на Беша, отчего тот, смутившись, взялся рукой за челюсть и сказал: «Ну, ладно. Да будет так». В последнее время Беш был «в отношениях» с одной очень богатой вдовой старше его на несколько лет, он столовался у нее, иногда спал с ней, без всякого желания, вытягивал из нее деньги, которые, как и свои собственные, регулярно проигрывал в покер, но эти проигрыши никак не влияли на него и не охлаждали его азарта, и это не был азарт к деньгам, или даже страсть к самой игре, нет, он сознательно убивал время, чтобы таким образом продемонстрировать свою веру в безделье и бесцельность, а кроме того, эта наркотическая зависимость питалась чистым любопытством, находившим удовлетворение в момент поднятия и открытия полученных карт, при этом он испытывал напряженное наслаждение, сравнимое, по его мнению, с трепетом, охватывающим мужчину, когда он в первый раз залезает под юбку к незнакомой женщине и проскальзывает рукой между ее ног, в общем, вместо того чтобы ходить на работу и смо-

треть за своими рабочими, Беш каждый понедельник и четверг закрывался в парикмахерской одного знакомого, который вывешивал на дверях своего заведения табличку «сейчас вернусь», и они играли вдвоем в покер, иногда в пикет, до полудня, а когда у Беша было достаточно денег, или если он выигрывал, что бывало не часто, играли и до вечера, пока Бешт, попивая водку, не оставался без гроша, он хмыкнул, только это прозвучало сиплым хрипом, и в нем не было ни капли веселья или иронии, и снова повторил, что отдал бы все на свете за тарелку маминого рыбного супа, а Эрвин сказал: «Лучше забудь об этом. Этого уже не будет», Беш сказал: «Нет. Я этого не забуду», Эрвин сказал: «Это основа», так говорила баба Клара, она умерла под вечер, сразу после того как Цви, Эрвин, Зина и Беш вышли от нее, в возрасте восьмидесяти семи лет, с ясной головой и всеми зубами во рту, и еще успела увидеть высадку первого человека на Луне, это событие поначалу вызвало у нее недоверие, а потом досаду, будто кто-то попытался посмеяться над ней и вторгнуться в ее жизнь, но потом она стала относиться к этому, как к веселой шутке, и даже немного с интересом, ведь за свою долгую жизнь видела все дела человеческие, и самые удивительные, и самые ужасные, возникавшие из благих намерений и высоких надежд, и всякие головокружительные чудеса и неожиданности, оказавшиеся по большей части бесполезными фокусами. После смерти она никому не осталась должна ни гроша, ни даже благодарности, и гордилась этим, она вернула все свои долги вовремя, из принципа и из стремления к независимости, всегда ее направлявшего, и никому не покорялась и не поклонялась, а к Богу, чувствуя себя с каждым годом все ближе к нему, она относилась с легким юмором, как к старому знакомому, пусть и уважаемому, старше и умнее ее, и не раз позволяла себе украдкой нарушать его законы, хотя бы по мелочи, считая его частью семейных церемоний, не самой главной, но надо стараться подходить к ней правильно и чистосердечно, красиво одетой и с принятыми молитвами, хотя их текст не вызывал у нее понимания или трепета, тем более, что она с трудом понимала слова, по-

скольку, в сущности, была простой, необразованной женщиной, но это ей не мешало и не смущало ее духа, и только Мишу, которого она так любила и верила, что он может придать ее силы, она так больше и не увидела, потому что в это время он был занят своими делами в Аргентине и, несмотря на вежливые призывы Цви приехать, повидать мать в последний раз, не смог все бросить и прилететь в страну, где она умерла и была похоронена через сорок лет после того как впервые приехала, от всех бед и ради мечты о Сионе, и притащила с собой мужа, деда Давида, который был довольно успешным скорняком и торговцем пушниной, и еще казначеем в синагоге, но она сразу же разочаровалась в Стране, оказавшейся не такой, как рисовало воображение: среди белых квадратных домиков и везде протянулись пустынные, слепящие под тяжелым светом солнца пески, попадающие в обувь, в еду, царил жар и мучили мухи, и баба Клара почувствовала себя чужой и обманутой, и прошли долгие годы пока это чувство ослабло и перестало быть таким острым, а до той поры она громогласно выражала свое разочарование залпами проклятий на идиш, польском и русском, и потоком злых слов, полных презрения и обиды, палила ими во все стороны, стараясь даже усилить их громкость сверх всякой меры, потому что они еще и доставляли ей удовольствие, веселя тех, кто ее слушал. Она возмущалась жарой, людьми, вкусом воды, раввином в синагоге, ценами, формой домов и улиц, мухами, пылью, воем шакалов, не дающих заснуть, так что приходилось каждую ночь, ложась спать, затыкать уши ватой, кроме субботы и праздников, когда она ложилась раньше, это было законом, а после того как Миша уехал с женой в Аргентину с целью разбогатеть, она стала заходить в кафе и листать английские и немецкие журналы, не понимая ни слова, ходить в кино, или донимала мужа, да так, что он сбегал от нее на улицу, или в синагогу, или к сыновьям, больше всего к Эрвину, или прятался в туалете, ставшем его персональным убежищем, где он запирался и проводил время в размышлениях и приятных фантазиях, дремля, или читая старые газеты, споря с самим собой, или с сыновьями,

или с женой, или с разными знакомыми или политиками, и даже не раз брал на себя риск не отвечать на стук бабы Клары и ее настойчивые требования немедленно выйти, ничего хорошего его на выходе не ожидало, только тычки и издевки, так проходили почти все дни деда Давида с тех пор как он женился на бабе Кларе, а до этого он был уважаемым господином, очень решительным и гордым, а когда овдовел и захотел жениться на молодой и красивой, выбрал бабу Клару, и сразу после женитьбы его статус пошатнулся, а через несколько лет она полностью подмяла его под себя и понукала им как хотела, до такой степени, что в ее присутствии он не смел ни сделать что-то, ни слова сказать, не получив предварительно, хотя бы намеком, высочайшее разрешение, в результате дед Давид превратился в тень самого себя, и от его славного прошлого у него не осталось ничего кроме пары старых костюмов из добротного материала, тяжелой зимней куртки с подкладкой из настоящего шелка и меховым воротником, висевшей в шкафу без употребления, и трость с серебряной ручкой, и еще две его слабости, с которыми он не мог и не хотел расставаться, пытаясь удовлетворить их любым способом, невзирая на опасности и позорные ситуации: нюхательный табак и женщины. Табак он доставал у знакомых в синагоге, или покупал за те гроши, что удавалось там-сям сэкономить, еще Эрвин покупал ему иногда коробочку, и он продолжал, прячась, набивать ноздри табаком, отчего они стали бурые, и это несмотря на выговоры и наказания бабы Клары, а также постоянные, тщательные, унижительные обыски, которые она проводила в его вещах и одежде, он при этом стоял перед ней как нашкодивший ребенок, и конфисковывала любую крошку табака, спрятанную в молитвеннике, в углах глубоких карманов, в складках брюк или под воротником пиджака, и тут же выбрасывала изъятое в туалет и спускала воду; а страсть к женщинам, старая страсть, горела в нем и не отпускала, когда ложился спать, и когда сидел в туалете, когда шел по дороге, а порой и во время молитвы. Когда-то, еще «там», он любил смотреть на женщин, стирающих белье у ручья, на их обнаженные руки и шеи, и

юбки, завернутые почти до колен, а в Стране он ходил к морю посмотреть с набережной на женщин, в основном на молодых девушек, гуляющих в купальниках или загорающих на песке, и молился в сердце своем, что перед смертью ему еще удастся лечь с одной из этих юных красавиц, свежих и загорелых, а дома, когда в лихорадке страсти он пытался склонить к соитию бабу Клару, она с ним боролась, и убегала от него к Эрвину, или к Цви, или к какой-нибудь подруге, и клялась, что никогда не вернется к этому старому злодею, а он в семьдесят лет еще удовлетворял свою страсть с одной женщиной лет пятидесяти с небольшим, в которой муж уже не находил ничего интересного, в ее маленьком магазине, где продавались пуговицы, там они время от времени запирались на несколько минут после закрытия для торопливых радостей, и даже перед смертью в восемьдесят один год, от воспаления легких и осложнения на почки, он еще освобождал себя рукоблудием, но эти короткие освобождения только усиливали его страсть и омрачали дух, а иногда, когда уже не было сил вынести все эти душевные муки, он приходил жаловаться Эрвину, тот, чувствуя слабость и усталость, отрезал кусок черного хлеба, так что крошки упали на пол к вящему неудовольствию Зины, затем, взглянув на Беша, отправил ломтик в рот и принялся медленно жевать, а Беш сказал: «Я забуду об этом только когда умру», выпил еще, улыбнулся и добавил: «Если я это забуду, что остается помнить?», в этот момент прозвенел дверной колокольчик, Зина бросилась открывать, и вошел Макс Шпильман, поговорить с Эрвиным об их общих делах, одетый в ладно сшитый летний костюм, на этот раз цвета беж, аккуратно постриженный, в облаке мужских духов. Он поприветствовал Зину, присутствующих, всем пожал руки, и руку Беша, хотя они друг друга терпеть не могли, Зина спросила, не хочет ли он кофе, Макс Шпильман сказал: «С удовольствием», сел и обменялся несколькими словами с Цви, Эрвиным, и Цезарем, тот перебирал пальцами свою сигару, вглядываясь в лицо Макса Шпильмана, неприятное, но очень ухоженное, выражающее решительность и довольство собой, и вдруг вспом-

нил, что оставил в студии бумажник с документами и водительскими правами, которые будут ему нужны завтра утром чтобы забрать машину из гаража, одним глотком допил оставшуюся в стакане водку, встал и попрощался с присутствующими, Зина проводила его до двери и перед тем как попрощаться, спросила, не хочет ли он взять плитку шоколада для детей, а Цезарь сказал: «Нет, не нужно», поцеловал ее и поспешил выйти, а когда приблизился к студии, увидел издалека Эллу, на плечах у нее был шерстяной платок с бахромой, она пересекала дорогу, приближаясь к дому, он остановился, подождал пока она исчезнет в подъезде, и, поколебавшись, решил что бумажник с правами он заберет завтра, развернулся и направился к Теиле; а Элла поднялась наверх и позвонила в дверь, но Израэль, хотя и узнал ее шаги, продолжил лежать без движения на кровати и смотреть на нож, оставшийся торчать в деревянной доске, Элла позвонила еще раз, коротким звонком, осторожно, и через минуту еще раз, и только тогда Израэль подошел и открыл ей дверь, она стояла перед ним, и на ее светлом, детском лице была смущенная, извиняющаяся улыбка: «Я немного опоздала», Израэль ничего не ответил, и Элла с тревогой посмотрела на него своими невинными голубыми глазами, не переставая улыбаться от смущения, пытаясь таким образом смягчить его гнев, но лицо Израэля осталось тяжелым и отчужденным, Элла вошла в комнату, положила на стол большую плетеную сумку в которой были рулоны бумаги, картон, бутылочки туши, кисточки, ручки и карандаши, глаза ее уже были на мокром месте. Израэль, закрыв за ней дверь, вошел в комнату, разлегся на кровати и взял в руки порно-книжечку, полистал ее, будто Эллы здесь не было, и его упорное молчание, затянувшись, становилось все более мрачным и угрожающим, Элла, не в силах выдержать этого напряжения, подошла к нему и сказала: «Я не могла прийти раньше», села рядом, немного подождала и осторожно положила руку на его плечо: «Правда, я не могла», но Израэль продолжал лежать на боку, хмурый, листая книжку, и только постепенно, огромным усилием, как бы против своей воли, освободил

чувства нежности и любви, настойчиво требовавшие выхода, он освободил их, почти незаметно для себя, будто сдерживаясь, неуверенно провел длинными сильными пальцами по ее золотистым волосам, собранным на затылке и закрепленным синей резинкой, а потом обнял ее, но еще не всем сердцем, не поднимая глаз от книжки и не глядя на нее, но его окаменевшее лицо уже расслабилось и смягчилось, а Элла сказала: «Жарко тут. Я принесла вафли. Хочешь?», Израэль, будто он не слышал ее слов, спросил, не хочет ли она кофе, и Элла, полная благодарности, сказала: «Да. Я приготовлю», но Израэль встал с кровати и сказал: «Не нужно. Садись работать», зашел на кухню, поставил чайник на электрическую плитку, а Элла вытащила из сумки бумагу, тушь и остальные инструменты для рисования, разложила их на столе и села работать. Она училась в художественном училище и зарабатывала изготовлением рисунков растений и животных для отделения природоведения в университете, иногда требовался рисунок растения или животного полностью, а иногда каких-то частей: конечности, легкие, органы осязания, тычинки, пестики, зерна. Все это Израэль узнал от нее в первый вечер их встречи, когда они сидели и пили кофе в «Милк-бар», и с тех пор, вот уже год прошел, узнал, что у нее есть мать, и это была последняя важная деталь о ее жизни, в которой нельзя было сомневаться. Элла не часто о ней вспоминала, и Израэль вообразил себе женщину с длинными черными волосами и черными сверкающими глазами, с лицом грубой красоты, немного мужеподобным, в нем что-то горькое и усталое, потертое и помятое мучениями и разочарованиями, доставшимися на ее долю, так что она совсем перестала следить за собой, и жила безалаберной, беспорядочной жизнью, абсолютно равнодушная к своей судьбе, это лишало ее жизнь твердой основы, она становилась рассеянной и растерянной, почти сходила с ума. Израэль и сам не знал откуда у него возник этот образ матери Эллы, поскольку сама Элла ничего не сообщала о матери, кроме того, что у нее есть мать, отца же она и вовсе ни разу не упоминала, вначале Израэль не обращал на это внимания, но потом стал ее расспрашивать об отце,

иногда осторожно, и как бы без особого интереса, а иногда, уже позднее, напрямую и требовательно, но безрезультатно: Элла уходила от ответа, или замыкалась в молчании и не произносила ни слова, только однажды, после того как он измучил ее допросами, сказала: «Не было у меня отца», и Израэль, потерявший терпение, обвинил ее во лжи, в том, что она от него что-то скрывает, Элла даже не пыталась защищаться, просто ушла в молчанку и не выходила оттуда, но это не было молчанием человека, который что-то скрывает, а человека, сказавшего все что он знает, но Израэль, он вернулся из кухни с двумя чашками кофе, не отстал от нее и время от времени продолжал выпрашивать об отце, тот рисовался ему каждый раз в другом образе, Элла посмотрела на него с радостью, отодвинула работу в сторону, Израэль поставил чашки на стол, сел рядом с ней, и пока они пили кофе, показала ему рисунки «серебряного паука», над которыми работала уже несколько дней, и Израэль сказал: «Это красиво», и спросил, хочет ли она пойти с ним завтра в «Сан Антонио»²⁶, послушать орган, и Элла сказала: «Да, конечно, ты же знаешь, что хочу», и после перерыва на кофе продолжила работать над ножками паука, а Израэль принял душ, сел за рояль и начал играть, Элла, ее лицо светилось покоем, еще поработала, а потом встала и легла на кровать, как всегда – на бок, с поджатыми к груди коленками, и светлая головка на предплечье, и лежа так, стала медленно накручивать на палец пучок волос, играть с ним, завивать, а большой палец другой, свободной руки, она засунула себе в рот и сосала его сосредоточенно и с удовольствием, и так, в покое, глядела на Израэля и слушала его игру, пока он не закончил, и тогда воцарилась тишина, которую Израэль так любил, но на сей раз не дал ей продлиться, встал и сел на кровать рядом с Эллой, она продолжала сосать палец, совершенно умиротворенная, только подвинула голову и прислонилась к его колену, а он положил руку на ее голову и погладил волосы, медленно, с наслаждением, посмотрел на ее тонкие руки, ногти были ко-

²⁶ Католическая (францисканская) церковь в Яффо.

роткие, потому что она всегда их грызла, а потом посмотрел на ее беззаботное лицо, едва заметная, мерцающая улыбка, будто спряталась в нем, пойманная в нежную кожу. Израэль, не сводя с нее глаз, просунул руку под ее майку и погладил маленькие твердые груди и гладкий живот, Элла лежала не шевелясь, так что могло показаться, будто она ничего не чувствует и о чем-то задумалась, Израэль провел рукой по ее шее, по плечу, от подмышек спустился к животу, и спросил, кто был ее первый мужчина, но Элла ему не ответила и продолжала лежать без движения и сосать палец, Израэль однако не отставал и повторял свой вопрос снова и снова, вначале спокойно, потом уже напористо и грубо, чувствуя как в нем закипает гнев, а Элла продолжала молчать, Израэль давил, пока, наконец, продолжая сосать палец, она сказала: «Никто», как уже говорила ему много раз, и этот ожидаемый ответ так разозлил Израэля, что он сказал ей, что она завралась, ведь если она действительно ни с кем не спала, то почему, когда они познакомились, она не была девственницей, Элла вынула палец изо рта и с глазами уже полными слез сказала: «Я не знаю. Так родилась», и Израэль, хотя и знал, что ее слова могут быть правдой, раздраженно отмахнулся, потому что ревность и злоба сводили его с ума, и потребовал, чтобы она взяла свои вещи и убиралась, и никогда больше не возвращалась, и Элла встала с кровати, беззвучно плача, и стала собирать свои вещи, разбросанные по всей комнате, а Израэль смотрел то в книгу, то на нее, и пока сидел на кровати между зеркалами, на которых отражался он и Элла, и вся комната, внезапно созрел для жалости к ней, она была такой потерянной и незащитной, и выглядела такой невинной и несправедливо обиженной, что он, может и сам вдруг испугавшись одиночества, подошел к ней положил руку на плечо, и этого было достаточно, чтобы она спряталась у него на груди, и он, не произнося ни слова, обнял ее, поцеловал ее макушку, лоб и глаза, а потом раздел ее, и она стояла перед ним обнаженная, с белой гладкой кожей, и только рядом с животом, справа, чуть выше талии, было коричневое родовое пятно. Элла погасила свет и обняла его, и

он вдруг засмеялся, сдавленно, будто смех вырвался, и так они стояли посреди комнаты, при слабом свете, идущем с улицы, потом Израэль расстелил простыню на кровати, разделся и лег рядом с ней в уже прохладном вечернем воздухе, который ласково овеивал их, а потом они накрылись другой простыней и заснули на узкой кровати пока день не разбудил их, и Цезарь, который пришел за кошельком с документами и водительскими правами, когда прошел через комнату Израэля, задержался на минуту и увидел их, лежащих голыми: во сне, из-за жары они скинули с себя простыню. Шум, поднятый Цезарем в соседней комнате и когда закрывал дверь, разбудил их, но Израэль, он всегда, пробудившись, быстро вставал, на этот раз не спеша провел рукой по телу Эллы, поцеловал ее груди и живот, они были приятно прохладны, и они еще провалялись почти час, затем встали, оделись, помылись, выпили кофе, Израэль взял ноты, и они вышли и двинулись вдоль моря, оно было беспокойным в то утро, к Сан Антонио, а вернулись в студию только к вечеру, усталые и потные, после того как весь день провели на берегу, наблюдая за терпеливыми рыбаками с удочками, стоявшими на берегу, и за теми, что у причалов, и вдоль набережной, и рядом с портом, и на рыбаков в лодках, медленно готовящих сети, веревки, моторы и прожекторы для ночного плаванья, а когда покидали порт, то рядом с тем местом, где они только что стояли, расположились большие компании белых чаек, они срывались время от времени с места и улета-ли, и снова возвращались и рассаживались на сваях.

Назавтра они вновь отправились в «Сан Антонио» и вновь вернулись к вечеру, и после того, как приняли душ и перекусили, Израэль позвонил Гольдману, как обещал, спросил, как дела, Гольдман, обрадовавшийся звонку, сказал: «Все нормально. Хорошо, что позвонил», Израэль спросил, что нового, и Гольдман отозвался: «Что уж может произойти нового? В доме полно народу», и хмыкнул, Израэль спросил, может ли он чем-то помочь, Гольдман ответил, что был бы очень благодарен тому, кто освободит его от всех этих церемоний, и добавил, что если получится, пусть зайдет к нему

завтра или послезавтра один, или с Цезарем, и Израэль сказал: «Хорошо», они обменялись еще несколькими фразами, пока Гольдман не обрезал: «Я должен вернуться к обязанностям. Ничего не поделаешь, я тут главный виновник торжества. Пока», положил трубку и встретил пожатием руки Моше Целермеира, который в этот момент зашел со старшим сыном Натаном, неразговорчивым и туповатым парнем, очень похожим на отца, в том числе и добросердечием, он занимался огранкой алмазов; Моше Целермеир, он принес большой кремовый торт, гордился сыном и возлагал на него большие надежды, при каждой возможности покупал ему красивую одежду и давал деньги на развлечения, и если бы не боялся дорожных несчастий, купил бы ему мотоцикл, а с того дня как сын кончил ПТУ, где учился на электрика, и особенно после службы в армии, пытался, несмотря на протесты жены, любым путем повлиять на сына, чтобы тот уехал из страны и эмигрировал в Америку, там можно разбогатеть и жить счастливой жизнью, а главное – там не нужно будет снова служить в армии, все это крайне возмущало отца Гольдмана, который уже не раз слышал эту идею из уст самого Целермеира, тот делился ею открыто, в силу своей врожденной наивности, а когда отец Гольдмана попытался однажды разубедить его, он сказал ему в лицо: «Он уже был солдатом. Хватит с него», и отец Гольдмана сдержался и никак не отреагировал, потому что странным образом, несмотря на обиду и гнев, еще чувствовал ответственность, изначально взятую на себя по отношению к Моше Целермеиру, человеку просто-му и необразованному, бывшему когда-то членом «Бейтара», и частенько поливавшего Страну на своем карикатурном иврите, что было неприятно и Гольдману, он обменялся с восшедшими несколькими словами и проводил их в гостиную, уже третий день заполненную людьми, а когда подходил к двери, увидел краем глаза как Манфред встал чтобы попрощаться со Стефаной, тут же отвернулся и ушел к себе в комнату, потому что не хотел снова встречаться с Манфредом, и не хотел видеть эту сцену прощания, хоть и короткую, но в ней ощущались напряженность и холод, даже враждебность,

тщательно скрытые в обычных, спокойных и вежливых словах и жестах. Манфред сказал, что едет завтра в Хайфу и вернется через неделю, после того как побудет с братом и уладит кое-какие дела, Стефана сказала: «Хорошо, Манфред. Поезжай, поезжай. Все в порядке», и проводила его до двери, вернулась и села в свое кресло, отдалившись от всех гостей, большинство из них не заглядывали в дом годами, поскольку отец Гольдмана со всеми рассорился, а некоторых и проклял, остальные сами рассеялись или отдалились, а сейчас, по причине траура, пришли и собрались вместе, чтобы поддержать вдову, при этом ели, пили и болтали, как и в первый день после похорон, только дядя Лазарь, он приходил и вчера, а в этот раз пришел с Юдит Тенфус, почти не произносил ни слова, оставаясь, как и в прошлые свои посещения, смущенным и замкнутым, будто чувствовал себя не в своей тарелке, а после того как почти все гости ушли, спросил Стефану, также как спрашивал ее вчера и позавчера, не надо ли ей что-нибудь и может ли он чем-то помочь, но на этот раз она сказала: «Да», и попросила, чтобы он снял с антресолей в ванной два сундука, дядя Лазарь взобрался по маленькой лестнице, снял эти черные деревянные сундуки с куполообразной крышкой, запертые тяжелыми медными замками, которые уже начали зеленеть, и отнес их в комнату, где поставил один рядом с другим, и Стефана поблагодарила его. Сундуки были полны старыми бархатными и шелковыми платьями с рисунками цветов и вышивкой, шелковыми и вязаными рубашками, а также всякой верхней одеждой и нижним бельем, там еще были несколько широкополых шляп и куртка с меховым воротником, меховыми манжетами и меховым подолом, и когда Стефана открыла их, пахнуло резким запахом нафталина и старой залежалой одежды, она постояла с минуту, глядя на все это, потом пошарила в одежде, что-то достала, медленно рассмотрела, равнодушно, вроде без всякого интереса, а на завтра села в тяжелое кресло перед телевизором в бархатном платье темно-фиолетового цвета, с черным вязаным платком на плечах, и с гордым, отсутствующим выражением лица. Гольдман, с первого взгляда пораженный этим зрелищем, не

смог его вынести, как и толкотню гостей, проникающих и в его комнату, и после того как поставил на стол чашу с фруктами, пирожные и то что осталось от пирога Моше Целермеира, обменялся общими словами с некоторыми из присутствующих и вышел из дома, не сказав никому ни слова, оставив заботу о гостях вдове Цеймера, не пропустившей ни одного дня чтобы не зайти хотя бы на час, или – Юдит Майзлер, или еще кому-нибудь.

Вечерние небеса наполнились темными облаками, нагретый воздух стоял без движения, плотный, тяжелый, во всем была какая-то напряженность, даже в деревьях, кустах, облаках, что множились и собирались в тучи, и Гольдман, задержанный и злой от бесконечной толкотни в квартире, и от того, что чувствовал себя нарушающим какие-то неписанные законы, по крайней мере, правила вежливости, удрал из дома, оставив мать одну с гостями в разгар траурных дней; поколебавшись немного, он решил отправиться, пропади оно все пропадом, к Дите, он ее не видел со дня смерти отца, и хотя не слишком по ней соскучился, но ему хотелось оказаться в другом, чистом и тихом месте, кроме того эти свидания вошли у него в привычку, а со временем стали необходимостью и частью жизни, так же как они стали, хотя и не в той мере, частью ее жизни, Дита была биохимиком и занималась исследованиями по расшифровке «генетического кода», закончила с отличием Иерусалимский университет и по ходу работы продолжила учебу в Англии и США, где защитила докторат. Старше Гольдмана на четыре года, очень организованная, не особо красивая и, честно говоря, ничем внешне не примечательная, кроме красивых карих глаз, она была умна, трезво мыслила, а жизнь заставила ее быть энергичной и самостоятельной, только с годами в ее облике все заметней стала проявляться суровость, иногда неприятная, в какой-то мере из-за того, что так много времени и сил было посвящено учебе и поддержанию жесткой дисциплины, а, возможно, из-за того, что она была одна и не имела детей; поначалу личная жизнь откладывалась до окончания доктората, но потом, когда она погрузилась в работу и привыкла быть одна, воз-

ник страх, что дети ей помешают, да и она со своей стороны не сможет уделить им должного внимания, в конце концов она убедила себя в том, что если и захочет, уже не сможет на это решиться, в любом случае это будет связано с немалыми трудностями и рисками. Встреча с Гольдманом произошла лет пять назад, и с тех пор они виделись три-четыре раза в неделю, а то и каждый вечер, всегда у нее дома, но редко говорили о браке или о какой-то иной форме сожителства, причем частота и целенаправленность этих разговоров со временем менялись, так в начале они говорили об этом довольно часто и с намерением осуществить эту идею, и если бы Дита была настойчивей и требовательней, то, скорее всего, они бы поженились, но она колебалась между привычкой к независимости и желанием разорвать круг одиночества, и ждала, что Гольдман проявит инициативу, но Гольдман, который за все эти годы ни разу не пригласил Диту к себе домой и не представил ее родителям, даже не говорил им о ней, тоже колебался, и вокруг тех же проблем, а кроме того, ему хотелось быть влюбленным, и он опасался очередной неудачи после краха его брака с красавицей Яминой Чернов, и со временем первоначальные намерения и воодушевление ослабли и уступили место осторожности и расчетливости, а долгое ожидание и привычная регулярность встреч сделали брак чем-то необязательным, даже невозможным, но они продолжали встречаться, хотя и знали, что им не быть вместе и не создать семью, и даже секс уже не вызывал у них никакого энтузиазма, превратившись в привычку, и даже долг, но, несмотря на трезвость и опыт, они все еще надеялись как-то вернуться к волнующему и полному надежд началу, будто пытались вернуть прошлое насильно, путем безрадостных повторений, все более и более редких, но уже не могли, при всем желании, извлечь из этих встреч хоть немного простых радостей, они всегда кончались разочарованием и тяжелым чувством поражения, смешанным с лицемерием и стыдом, и Гольдман, в который раз спускаясь по лестнице удрученный и злой, с решимостью разорвать эту мучительную и выхолащенную связь, все никак не мог на это

решиться, и завидовал Авиноаму Левитану, живущему в деревне с женой и тремя детьми, и Цезарю, умевшему наслаждаться с каждой женщиной, даже с проститутками, что было в его глазах позорно, унижительно и греховно, но это было все, на что он был теперь способен, и, несмотря на стыд, не мог от этого отказаться; когда Гольдман уже подошел к дому Диты и увидел свет в большом окне, выходящем на боковой двор, он остановился, постоял немного, потом развернулся и стал удаляться от этого места, не спеша, будто еще окончательно не решил, прошел несколько улиц, повернул и зашагал, как обычный гуляющий, вдоль реки Яркон, ставшей для него самой позорной и пугающей улицей в городе, и почувствовал, как всегда, свою неуместность здесь, и тягостный стыд, потому что приключение за которым он шагал, еще думая, что волен отменить мероприятие, но зная, что не отменит, и все что было связано с этим приключением, шло вразрез с его образом жизни и моральным установкам, хотя он и бунтовал против них, убеждая себя несчетное число раз, что принятая мораль основана на религии, а гуманистическая мораль основана на разуме, и он в нее верил, и как человек нерелигиозный только ее и мог принять, а она не отрицает проституцию, также измены, и не противоречит счастью, а если противоречит, то он морали предпочитает счастье, как Цезарь, но все эти рассуждения были сейчас бесполезны, чувство позора и греха удерживало его, когда он шагал вдоль этой улицы и время от времени бросал взгляд на девушек, которые стояли с маленькими сумочками на углах переулков или у дверей старых мрачных домов, отданных заброшенности и развалу, на подоконники, двери и балконы этих домов, украшенных ржавыми железными решетками в виде цветков, погруженных во тьму, казалось, тут никто не живет, и они полны старой поломанной мебели, пылью, паутиной и злыми духами. Гольдман свернул в один из переулков, спускавшихся к морю, и по обыкновению задержался у маленькой витрины «29»²⁷, посмотрел на фотографии акроба-

²⁷ «29» – популярный ночной клуб.

тического дуэта, фокусника и стриптизерши, затем вошел, кивнув хозяину, в маленький затуманенный зал и направился к стойке бара, поприветствовал мужчину за стойкой в отглаженном костюме официанта, его звали Карл, присел и заказал пива, все это не спеша, при этом огляделся и увидел, что Паулы нет на месте, а чернявая девушка, которую все звали Топси, сидела недалеко с пожилым мужчиной в темном, элегантном костюме, он что-то медленно и молча ел, и только время от времени, погруженный в процесс еды, немного наклонялся и целовал ее в лоб, или, отрезав кусочек мяса, кормил ее с вилки, и она исполняла его каприз, без энтузиазма, но с улыбкой. В зале были еще люди, в основном пожилые, пришедшие немного разрядиться, немного развлечься в обществе работающих тут девушек, которые пили с ними, позволяли им гладить и обнимать себя, и делали вид, что они внимательно и заинтересованно выслушают их рассказы, скучную смесь разочарований и забот под аккомпанемент жалоб и сожалений, или стандартные излияний в любви, иногда отталкивающие, или просто всякую муть о сделках, квартирах и житейской суете. Вместе с этой публикой за столиками сидело несколько молодых людей, всегдаев, и еще несколько пар, которые пришли развлечься и ждали увеселительную программу, включавшую певца, фокусника, дуэт акробатов и «знаменитую стриптизершу, выступавшую в “Крейзи хорс”²⁸», как было сказано в программе, а пока – выпивали, болтали и целовались в тумане дыма, или танцевали под звуки маленького оркестра: рояль, ударник и саксофон, Гольдман поглядывал по сторонам, пил, переговаривался из вежливости с Карлом, который уже в сотый раз рассказывал ему про родной городок в Болгарии, в Долине роз, где по всей долине выращивают розы, а потом варят их в огромных чанах, получая знаменитые на весь мир розовое масло и розовую воду, а над долиной стоит сладковатый запах, и вдруг, посреди его рассказа, послышался сильный шум у входа, и в зал ворвался крепкий парень, стильно

²⁸ Знаменитое парижское кабаре.

подстриженный и выбритый под бродягу, одетый в шикарный черный костюм, украшенный красной гвоздикой в петлице, он празднично сиял и тащил за собой худенькую девушку в белом подвенечном платье. Всем известный в этом заведении и изрядно воодушевлённый, в том числе и алкоголем, улыбаясь во всю ширь лица, он помахал всем свободной рукой, и велел девушке сесть, она тут же села за ближайший столик, а парень ударил кулаком по стойке бара и, хохоча, то ли от радости, то ли от того, что уже накачался, объявил: «Я женился! Я женился!», и показал рукой на девушку, она сидела подавленно, без движения, нервно играя пальцами и поглаживая на него, выглядела испуганной, несчастной и беспомощной в своем подвенечном платье, полупрозрачном и измятом, из-под фаты, надетой неряшливо, пробивались распатланные каштановые волосы, но парень не обращал на нее внимания, только поправил красную гвоздику в петлице костюма и заорал: «Перевяжите мне яйца!», пожал руку Карлу, пожелавшему ему «счастья», после Карла тоже самое проделали два официанта и повар, и музыканты, и девушки, всем тут же раздали пиво под аплодисменты, смех и крики гостей «поздравляем!», и в этот момент вошла Паула, она застыла у входа, пораженная веселой суматохой, а когда выяснилась причина, поспешила к жениху, порхая в облаке духов и пудры, обняла его и поцеловала в обе щеки, он тоже поцеловал ее и взъерошил на голове волосы, после чего она села рядом с Гольдманом, и он заказал для нее стакан «Майдейры», нерешительно положил руку на ее толстую шею, и пока она пила и болтала с ним и с Карлом, Гольдман перенес руку на ее спину и грудь, крепко перехваченную плотным лифчиком, потом на ее голову, и увидел луч света, упавший на маленькую танцплощадку посреди зала, это был знак, что представление начинается, Гольдман, прибодрился, продолжая между тем медленно потягивать пиво и болтать с Паулой, та кивала головой, улыбалась и даже поцеловала его в щеку. Полная, с перламутровой кожей и светло-золотистыми кудрявыми волосами, она выглядела красоткой из старых американских фильмов, была добросердечной, во вся-

ком случае, терпеливой, и Гольдман привык к ней, а когда началось представление, они встали и вышли во двор за домом, окруженным ржавым забором и редкими кустиками, отделявшими этот двор от соседнего, где стоял совсем темный дом, только на втором этаже, где был игорный клуб, горел свет, и с того места, где они находились, видны были головы стоящих там людей и большие вентиляторы под потолком, их медленное вращение. Какая-то перемена случилась в воздухе, и ветер, как освободившийся заключенный, задул на свободе, глухой плеск моря быстро превратился в монотонный шум прибоя, с улицы доносился шум машин и людских голосов, а за стенами и закрытыми окнами бара прорвались звуки музыки, Гольдман и Паула приблизились друг к другу и сделали свое дело, все произошло быстро и по деловому, с небольшими отклонениями, короткими и несущественными, и когда Гольдман кончил, Паула, как обычно, поцеловала его в лоб и спросила, было ли ему хорошо, и Гольдман, стоявший спиной к ней, сказал «Да», но Паула вряд ли уловила его ответ, поскольку и не пыталась его услышать, она уже привела себя в порядок, повернулась и двинулась в сторону бара, а Гольдман, даже не повернув к ней лицо, тоже оправился, теперь он чувствовал набиравшее силу неприятное отчуждение, вышел со двора и пошел домой, пустой и противный самому себе, будто совершил нечто постыдное и греховное, разочарованный, поскольку это во все не походило на дикие вспышки страсти, которые он рисовал в своем воображении благодаря фотографиям и порнографическим книжкам Цезаря, и тому, что тот рассказывал из своего опыта с женщинами, особенно о том (именно об этом так мечтал Гольдман), как переспал с двумя девушками одновременно. Ветер стих, и вдруг пошел теплый редкий дождь, Гольдман зашагал вдоль набережной, прошел мимо невзрачного игорного дома с измерителями силы и говорящими игровыми автоматами, мимо бара, открытого с улицы, и кафе, где ему как-то раз навешали пиздюлей из-за одной девки, потом мимо кафе, где однажды, взволнованный и испуганный, полный ожиданий и после затянувшихся колеба-

ний, в первый раз пригласил девушку, чтобы провести с ней время, но это времяпровождение не заняло и десяти минут, а то и меньше, и закончилось постыдным разочарованием после того как девушка, получив от него деньги и спрятав их в сумочку, потянула его на второй этаж, в какой-то темный зал (Гольдман думал, что она приведет его туда, где есть кровать, и они возлягут), усадила за один из столов, стоящих там в темноте, и, не спросив, заказала за его счет, конечно, вино и пачку американских сигарет, и позволяла ему только обнимать ее и касаться груди под рубашкой, в то время как сама курила и выпивала, ну и поцеловать ее пару раз, но очень осторожно, как бы не смазать макияж и не попортить прическу, и Гольдман, почувствовавший, что его обманули, да еще и насмеялись, попытался протестовать, но сделал это нерешительно, потому что понял, что никакой пользы от этого не будет, да и побоялся конфликта, он встал и сказал: «Клиента ты потеряла», и быстро ретировался, не обращая внимания на дождь, который продолжал неторопливо сеять, освежая воздух, а тротуары и улицы вдруг приятно запахли мокрой пылью, он немного успокоился пока шел домой, но когда подошел и увидел свет из окна гостиной, вновь разозлился и с этим настроением вошел в парадное, включил свет и поднялся наверх. В гостиной еще сидели дядя Лазарь и Авраам Шехтер, Юдит Майзлер, Шмуэль и Браха, и Арон, брат Шмуэля, который хитро и безжалостно, главное безжалостно, вытеснил их отца из мясной лавки, вплоть до того, что не давал ему даже войти в магазин, он завладел им в то время как Шмуэль и Браха, что была почему-то предметом зависти жены Арона, находились в Америке, и с тех пор братья, как и их жены, не обменялись между собой даже простыми вежливыми фразами, Арон был особенно непримирим, почему-то считая именно себя обиженным и преследуемым со стороны Шмуэля, который уже давно забыл всю эту историю, и ту драку, но Арон продолжал держаться своей обиды, он сидел застывший, злобный, и только когда Гольдман вошел, он очнулся и слабая улыбка появилась на его лице, он чувствовал к Гольдману особую близость, потому что его сын

Авраам, уже много лет живший во Франции, учился с Гольдманом в одном классе, и они одно время дружили. Гости, кроме Авраама Шехтера, уже собравшегося уходить, пили чай, ели фрукты (от пирога, что принес Моше Целермеир, не осталось ни крошки), и болтали между собой, Гольдман задержался на миг, сказал присутствующим: «Добрый вечер», Арон поинтересовался о его самочувствии и Гольдман сказал: «Спасибо. Я в порядке», и спросил про Авраама, Арон сказал: «Он очень занят, но, возможно, придет навестить», а его жена сказала: «Он придет, придет, только летом тут очень жарко, и у него много дел», она сказала это громко, чтобы все услышали, она гордилась Авраамом, так же как и Арон, но Авраам стеснялся их обоих, матери, толстой, шумной и примитивной, и отца, тоже человека необразованного, а кроме того грубого и агрессивного, когда он был маленьким, отец избивал его до полусмерти за любую оплошность, и Гольдман сказал: «Хорошо, пусть тогда зайдет», и пожал на прощанье руку Аврааму Шехтеру, который посмотрел на него погасшими глазами и ответил равнодушным рукопожатием, с тех пор как его сын Иуда, родившийся, когда Шехтеру было сорок, погиб, подорвавшись на mine, у него будто исчезла всякая воля к жизни, он схлопнулся внутрь, стал религиозным, хотя его ненавязчивая религиозность, неясная и неуверенная, не была похожа на цельную, хоть и наивную религиозность Моше Целермеира, в которой не было веры в Бога или даже каких-то мыслей о Боге, или о соблюдении заповедей, только соблюдение некоторых, лишенных понимания церемоний, связанных с праздниками или семейными торжествами, такими как бар-мицва или посещение синагоги по субботам, она не была похожа на напористую религиозность Марка Шпильмана, которая, при небольшом отличии от обновленного иудаизма Моше Цеймера, поселенца-пионера и социалиста, была, в сущности, данью моде на праведность, следствие материального благополучия и упадка духа, и облачалась в пустопорожние разговоры о «еврейской традиции» и единстве нации, а еще Шпильман время от времени раздавал в синагоге милостыню, а на Роша Ашана и

Йом Кипур, иногда по субботам, сидел, завернувшись в та-лит, на одном из почетных мест и листал молитвенник, и на религиозность, к которой Гольдман стремился в свое время, сомневающаяся религиозность Авраама Шехтера была плодом отчаяния и невозможности найти выход своим мучениям и растерянностью перед жизнью, она была в основном просьбой поддержать эту раздробленную жизнь, которую уже невозможно было восстановить, но отец Гольдмана, несмотря на всю симпатию и сочувствие тем или иным людям, не верил во всякие попытки возвращения к религии и во внезапный интерес к традиции (неприятие религии стало частью его мировоззрения, цельного и фанатичного), во всяком случае не по формуле Авраама Шехтера, смерть его сына глубоко потрясла отца Гольдмана, на похоронах он встал в сторонке и дал волю слезам, и, тем более, не по формуле Макса Шпильмана или Моше Цеймера (он с ним дружил еще с Польши), религиозность которых вызывала в нем отвращение и гнев, потому что он видел во всем этом только непростительную глупость или лицемерие, и выражал свои взгляды открыто, словом и делом, и не один раз, не так как Йоэль, или дядя Лазарь, они тоже были осознанными атеистами, но оба, особенно Йоэль, чей атеизм не был на первый взгляд связан с мировоззрением, почти никак на эту тему не высказывались, а просто вели светский образ жизни, как Браха и Шмуэль: баба Хава жила с ними почти всю их жизнь, и они, хотя и были атеистами, не хотели ее огорчать даже на последнем этапе ее жизни, когда она уже потеряла связь с происходящим и не понимала что творится вокруг; Шмуэль обратился к Гольдману и спросил его, как самочувствие, не идет ли дождь, Гольдман сказал: «Да. Но очень приятный», Шмуэль пригласил его посидеть с ними немного, но Гольдман, ему нравились Шмуэль и Браха, также как он терпеть не мог Арона и его жену, не принял приглашения, даже когда Браха и Арон к нему присоединились, извинился, сказал, что устал, распрощался с присутствующими и с матерью, и, после того как вытер в ванной мокрым полотенцем голову и лицо, закрылся в своей комнате и минут десять делал гимна-

стические упражнения с небольшими гантелями по «Бульворкеру», потом вернул и то и другое на место, разделся, и, прежде чем растянуться на кровати, бросил взгляд на книги на столе и в шкафу, вдруг найдется что-нибудь почитать перед сном. В набитом книгами шкафу были, между прочими, и книги по иудаизму, Каббале и Галахе, комментарии раввинов и молитвенники: в память о том периоде, когда он попытался, с немалыми усилиями, энтузиазмом и большими надеждами, вернуться в лоно еврейства и обрести религиозность, и в течение года был уверен, что достиг желаемого, но это была религиозность без стержня, без веры, и со временем она стала угасать, и Гольдману удалось достигнуть только внешнего признания необходимости и важности существования Бога, и в этом смысле он не далеко ушел от мировоззрения Манфреда, который через несколько месяцев, в начале зимы, когда у них случился короткий разговор, оказавшийся последним, сказал Гольдману, что не верит в абсолютную автономию человека, что тот сам себя строит, и что мир творит сам себя, и сказал, что отрицание Бога понятно у тех, кто требует подчинения страстям, мира без границ и ценностей, и после короткой паузы добавил: «И мы уже видели, что из этого получается», а Гольдман сказал: «Да. Возможно, ты прав», его собственный религиозный опыт закончился неудачей, так же, как и попытка освоить даосизм, как способ видения мира, как систему принципов мышления и жизнеустройства. Уже в ходе своих изнурительных занятий по изучению Дао, включавших зубрежку Дао Де Цзин²⁹ и разных комментариев, освещавших ему суть учения, так и оставшегося после всех познаний далеким и чуждым, Гольдман вернулся к психологии, которую однажды с презрением отверг, и нашел в ней новый интерес, прежде всего в юнгенианстве, открыв его на этот раз заново благодаря книгам Эрика Ноймана, они произвели на него сильное впечатление, и он попробовал проверить себя в соответствии с открытыми схемами, чтобы по новой определить свою жизнь, стал иссле-

²⁹ Основной трактат даосизма.

довать свои сны, и первое время усаживался на кровати сразу после пробуждения, когда глаза еще закрыты, и что-то бормоча медленно и невнятно, рассказывал себе последний сон со всеми подробностями, чтобы не забыть его утром, но через некоторое время, когда удостоверился, что в этой системе нет большой пользы, а сны растворялись и исчезали, он стал, проснувшись, записывать сны: вставал, садился за письменный стол и тяжелой рукой, в полусне что-то писал на обрывке бумаги, а потом, днем, пытался расшифровать письмена и понять из них то, что от него ускользнуло, что, может быть, в них было, но не достигло сознания, однако результаты этих усилий, как и других, призванных помочь ему спастись от мучительной бессмысленности существования и получить возможность жить в покое и свободе, в едином, упорядоченном мире, оказались жалкими и бесполезными, его интерес к психологии и к своим снам также постепенно сошел на нет, но после периода усталости и растерянности он заново заинтересовался историей и социологией, и в некоторой степени философией, и таким путем вернулся к своей деревенской мечте, с которой, на самом деле, никогда не расставался, воплотившейся в жизни Авиноама Левитана, как он себе ее представлял, и как она осталась запечатленной в памяти после его последнего визита, сливаясь с воспоминаниями, которые он носил в себе с давних пор, когда время от времени проводил школьные каникулы у Йозеля и Ципоры, живших несколько лет с детьми в мошаве, где у них было большое хозяйство. В памяти остались картины, будто высвеченные чудным светом покоя и гармонии, где всегда были синее небо, зеленая трава и бурая земля, и аллея темно-зеленых кипарисов с их запахом пыльного лета, таким резким, опьяняющим, и Ципора в их тени, подстригающая траву для гусей, и плодовые деревья с побеленными стволами, они с Ермияху однажды покрасили их, и крики разгневанных петухов-гордецов, и этот мягкий покой белого света, плывущего с востока, и неожиданная глубокая тишина, и участок зеленых кустов клевера, где в утреннем, еще прохладном субботнем воздухе стоит Авиноам в мокрых сан-

далиях и обрезает кусты серпом, и шумный курятник с теплым воздухом перьев, помета и только что снесенных яиц, собранных Эстер в ведро, и участки перца, помидоров и огурцов в остром свете дня, когда Авиноам проходит вдоль политых грядок, загорелый, красивый, вся жизнь перед ним, а потом, в обед, его жена Одри из штата Юта подает им эти овощи на стол, где сидят еще трое детей, а дальше, за огородами, необъятные дикие поля сухой травы и цветов, где-то вдалеке переходящие в затуманенные сады, бегущие до самого голубеющего горизонта, он так любил на них смотреть в мягком, но еще теплом воздухе первых сумерек, в этой тишине, когда возвращался с Меиром или с Ермяху в двуколке с дальних участков за небольшой эвкалиптовой рощей, расслабленный, отдавшись приятной усталости тела, или, прислонившись к стенке коровника, полного запахами сена, свежескошенной травы и помета, смотрел на Авиноама, сидевшего на табуретке и доившего корову плавными, ритмичными движениями, коров было пять, они при этом стояли неподвижно и безмятежно жевали, а струи молока били в ведро между их ног с однозвучным шумом, и Гольдман (он взял, в конце концов, газету и растянулся на кровати) закрывал полное молоко ведро и осторожно выносил его, а затем возвращался и вновь, подпирая стенку и отдавшись этому приятному чувству усталости в теле, наблюдал как работает Авиноам, и перед ним тоже была вся жизнь, и он знал, что в этой деревенской жизни его спасение, а значит, ему нельзя отчаиваться в этой деревенской мечте, или в любой другой, казавшейся ему реальной и достижимой; почитав немного газету, он отложил ее и стал смотреть в потолок, потом повернулся и лежал с открытыми глазами, глядя в стену, из гостиной еще доходили голоса гостей, но постепенно стихали, он спрятался под летним одеялом и глаза его тоже постепенно закрылись, меньше чем через час остался только голос Юдит Майзлер, потом и она ушла, и настала тишина, были только слышны шаги Стефаны, которая зашла на кухню, помыла посуду, поставила каждую вещь на свое место, потом отправилась в туалет, а оттуда в свою комнату, постелила постель

и легла, и тогда настала полная тишина, и Гольдман, мечтавший заснуть, протянул, не открывая глаз, руку и потушил ночник, но никак не мог задремать, это продолжалось у него уже несколько месяцев, может быть, больше года, и после того как поворочался из стороны в сторону, стараясь заснуть, вновь, уже напряженный и нервный, включил свет, вновь открыл газету и почитал, пока ему не показалось, что он успокоился, устал и вот-вот заснет, и тогда снова потушил ночник, очень медленно, чтобы не потревожить свой покой, с закрытыми глазами, и почувствовал как сон растекается и овладевает им, но все равно не заснул, и опять начал ворочаться с боку на бок, голова была полна обрывками мыслей, потом встал и проглотил две таблетки снотворного и вновь растянулся на кровати, усталый и раздраженный, и через некоторое время заснул, и спал глубоким сном до утра, пасмурного и прохладного в этот сезон переменчивой погоды в апреле и начале мая, а когда проснулся, и вспомнил всякие дела, требовавшие уточнения и решения, продолжил лежать с закрытыми глазами, но, в конце концов, может, от звука шагов Стефаны, медленно и тяжело встал, помылся и выпил кофе, затем взял из тайного места между книгами ключ от личного шкафа отца, чтобы положить туда свидетельство о его смерти и взять чековую книжку (удостоверение личности отца все эти дни было в шкафу на кухне), чтобы оплатить некоторые счета за расходы по болезни, за похороны и установку памятника, он надеялся найти там и документы о страховке, сбережениях отца и облигации госзайма, и, предупредив об этом Стефану, открыл шкаф, к которому никто, пока отец был жив, даже не смел приблизиться. В шкафу было очень чисто, все сложено в образцовом порядке: рядом с альбомами марок и фотографий, где хранились старые снимки счастливой семьи, молодых и энергичных людей, лежали пустые чековые книжки банков «Зарубавель», «Барклай» и «Англо-Палестинского», документов и счетов тридцатилетней и сорокалетней давности за всякие вклады и оплаты учреждениям и магазинам, большинство из которых уже исчезли. Гольдман стоял и смотрел некоторое время в

открытый шкаф, испытывая неловкость и неизбытый страх, и в то же время со странным чувством хозяина: вдруг все это — его, потом наклонился и, осторожно перебирая бумаги и документы, нашел банковскую чековую книжку, документы на страховку и на сберегательную программу, и облигации, нашел старый снимок сестры и завещание отца. Он неуверенно взял завещание в руки, но потом, не открывая конверта, вернул его точно на то место, где он лежал, запер шкаф на ключ, а на следующий день, утром, после того как обдумал это сам с собой, рассказал об этом Стефани и спросил ее согласия на то, что дядя Лазарь вскрыет завещание и прочитает им, Стефана безразлично кивнула и сказала: «Ладно», а вечером, когда пришел дядя Лазарь, Гольдман отдал ему конверт и попросил открыть и прочитать им завещание, и дядя Лазарь, его смутила эта просьба, посмотрел на них с некоторым удивлением, потом одел очки, открыл завещание и прочитал его медленно, монотонным голосом, так что Гольдману показалось, что за таким бесстрастным чтением скрывается некая отчужденность и критическое отношение, и это ему не понравилось, но он ничего не сказал. Завещание, над которым отец Гольдмана трудился последние четыре года своей жизни, таило в себе всю его звериную прямоthu, его пристрастия и горькие разочарования, оно было результатом тщательного обдумывания, с массой черновиков и бесконечных часов раздумий, в результате чего ему удалось создать, при помощи опытного адвоката, творение из многих кругов, вся суть которого сводилась к тому, что имущество покойного должно перейти к законным наследникам, Стефани и Гольдману, но вместе с тем они смогут им воспользоваться только строго определенным образом, на оговоренных покойным условиях, кои, по сути, ликвидируют для наследников, прежде всего для Стефаны, всякую возможность вступить в права наследства, и когда дядя Лазарь закончил чтение завещания брата, он спросил Стефану, не желает ли она чтобы он, или Гольдман, последний во время чтения не сводил глаз с дяди Лазаря, растолковали ей какие-то пункты, но Стефана, выслушав чтение абсолютно холод-

но и презрительно, сказала по-польски: «Спасибо, нет необходимости», и на этом для нее ситуация себя исчерпала, а Гольдман, завещание вновь пробудило в нем чувство отвращения к отцу, вернул его в шкаф, при этом вновь бросив взгляд на фотографию сестры, она была неполной, будто кто-то отрезал часть ножницами или бритвенным ножом, а когда запер шкаф вновь почувствовал смущение, вспомнив свой страх перед отцом, и спросил дядю Лазаря, почему-то чувствуя необходимость отблагодарить его, быть с ним приветливым, не хочет ли он сыграть в шахматы, и дядя Лазарь слегка улыбнулся и сказал: «С удовольствием», Гольдман принес шахматы, и они сели за стол на кухне, расставили шахматные фигуры на старой доске и стали играть. Никто им не мешал, поскольку поток гостей иссяк, большинство уже выполнило свой долг одним или двумя посещениями, и единственными, кто продолжал заходить, хотя и не каждый день, чтобы побыть короткое время с молчаливой Стефаной, были Шмуэль и Браха, Юдит Майзлер, она единственная относилась к Стефане просто и прямодушно, Моше Целермеир, вдова Цеймера, и, конечно, Манфред, он вернулся из Хайфы уже после семи дней поминовения и в тот же вечер зашел к Стефане, а на следующий день пришел снова, на этот раз проститься, через два дня он должен был вернуться в Голландию месяца на три или четыре. Стефана встретила его в темно-синем шелковом платье и роскошной шляпке «лебедь», не очень подходившей выбранному платью, но во всем ее облике был некий аристократический шик, немного искусственный, но совсем ей не чуждый и впечатляющий, а когда Манфред вошел в гостиную, и они встретились, оба были, как всегда, немного взволнованы, но эта взволнованность быстро угасла и сменилась вежливым отчуждением. Их беседа вымученно петляла, полная тягостных перерывов, общих выражений и слишком тщательно подобранных слов, Манфред, нервно игравший своим обручальным кольцом на пальце и время от времени вытиравший очки платком, в конце концов поднялся, попрощался с ней и вышел, а Стефана на этот раз не встала проводить его до порога, хотя он с минуту как

бы ждал этого, посмотрела ему вслед, когда он вышел, и сказала: «Надо уметь расставаться», потом сняла шляпку и молвила: «Все проходит», положила шляпку на стол, включила телевизор, несколько минут рассеянно смотрела на экран, потом выключила и, застыв, сидела, глядя на пустую стену напротив и на белые прозрачные занавески, а через несколько дней рассказала обо всем Юдит Майзлер и сказала: «Он уехал. Все. Ну, уж лучше так», а Юдит Майзлер, женщина с русским лицом, она еще работала в поликлинике, сказала: «Будешь о нем скучать», Стефана сказала: «Уже никогда не буду», Юдит Майзлер сказала: «Ты должна была проводить его до двери», Стефана возразила: «Нет. Он должен был посидеть еще несколько минут. Он слишком спешил уйти», Юдит Майзлер сказала: «Слишком много внимания этикету», Стефана сказала: «Дело не в этом», Юдит Майзлер сказала: «Именно в этом, а это не самое главное», так она выразила свою симпатию к Манфреду и глубокое к нему уважение за все те долгие годы, что она его знала, да, он был трудным, сторонящимся других человеком, но она безропотно принимала и уважала его отношение к Стефане, и стиль его поведения, хотя ни разу это не обсуждала, ни со Стефаной, и уж тем более с Манфредом, она всегда смущалась в его присутствии и ни на одной из их встреч не обменялась с ним больше чем несколькими вежливыми фразами, хотя любила его слушать, не только то, что он говорил, но и тон его речи, просто его голос.

Кроме Юдит Майзлер только дядя Лазарь еще заходил иногда, будто тридцать четыре года разрыва и анафемы, которую наложил на него брат, требовали исправления сближением, проявлением доброй воли по отношению к проклявшему его, а теперь мертвому брату. Он почти не разговаривал со Стефаной, относившейся к нему отчужденно, и с Гольдманом, хотя тот, еще до того как узнал дядю поближе, проникся к нему глубокой симпатией благодаря туманным, но безудержным, пропитанным ненавистью обвинениям, с которыми его отец обрушивался на брата по любому поводу. Гольдман и дядя Лазарь становились все ближе друг к другу,

они часто играли в шахматы, не произнося ни слова, хотя дядя Лазарь вовсе не был молчуном, просто он знал насколько мнения мимолетны, а понимание ненадежно, и все так переменчиво, что реально только сомнение, а способность верить дана немногим, и нельзя надеяться, разве что чуть-чуть, и он знал, как много сил нужно человеку чтобы прожить хотя бы один день, и как судьба всеми играет, и им тоже, и что все слова мира не сдвинут земную ось и не вернут из прошлого ни одного дня, и не наполнят пустого, и не утешат прозревшего, смело глядящего на мир, а дядя Лазарь был тем, кто прозрел и глядел на мир смело, и он вовсе не был человеком отчаявшимся или разочарованным, наоборот, очень уравновешенным, будто погруженным в безмятежное состояние умудренности опытом, когда жизнь, а он относился к ней с уважением, уже ничем удивить не может, ведь он уже был мертв и воскрес, оказался на краю земли и кружил по местам, кои невозможно было вообразить, а нынче, быть может, они уже исчезли, и стоял перед испытаниями, которые не мог себе представить, предавался прекрасным мечтам о новом мире и верил в них, и стоял у колыбели их осуществления, и видел как они, после стольких безупречных расчетов, мельчают и рушатся из-за недостижимости или злой воли, или страха, или человеческих свойств, коим несть числа, но вместе с тем осознал, в борениях и муках, что нет другого пути к спасению, кроме этой веры, и даже ужасные вещи, возмущавшие его, так же свойственны человеку как доброта, проявление дружбы, честности и смелости духа, которые всякий раз заново волновали его и будили на мгновение веру в то что мир и человечество не безнадежны, и по той же причине, по какой однажды в это поверил, и, несмотря ни на что, у него осталось еще слишком много надежд, и он никогда не переставал искать истину, читать книги, прежде всего из-за той же, всегда возвращающейся и обновленной страсти понять этот изменчивый мир, в котором оказался, созданный хаосом или чьей-то слепой волей, породившей и его в забытом Богом местечке, переходившем, когда он еще был младенцем, из рук в руки, от поляков к русским, от русских

к немцам, а от немцев опять к полякам, в потрясениях войн и бесконечных противостояний, сопровождавшихся ненавистью, мрачной завистью и бессмысленной жестокостью, вместе с гордостью, лестью и глупостью, коими были охвачены культурные, рациональные и даже прямодушные люди, и эта слепая воля продолжала сопровождать его с того дня как он оставил Польшу и приехал в Страну, и вынужден был сменить фамилию с Гольдман на Шварц, фамилию, которую с тех пор и носил, поскольку по законам британского мандата репатриировался как сын Рины и Ерухама Шварц, которых он никогда до этого не знал, и с тех пор как они расстались в порту, больше с ними не виделся, кроме двух-трех раз. Ему было тогда лет семнадцать, и поначалу он жил у Йоэля и Ципоры, приехавших в страну лет шесть до этого, на два года раньше, чем приехали родители Ципоры, оставшиеся жить в Тель-Авиве, рядом с их сыном Йишayahу, он умер через несколько лет от малярии, а в конце того лета, когда в страну приехала Сара, его и Ципоры младшая сестра, задержавшаяся непонятно зачем в Австрии и Германии, и после того как прожил с год в Иерусалиме, дядя Лазарь перекочевал в Тверию, оттуда в Зихрон Яаков, в Хедеру, в Хайфу, Бенъямину, Реховот, вернулся в Хайфу, и в конце концов обосновался в Тель-Авиве, как Йоэль и отец Гольдмана, приехавший в страну за четыре года до него, один, и два года был членом рабочей артели трудившейся на северных каменоломнях. В своих скитаниях дядя Лазарь копал, дробил камни, специализируясь на сверлении отверстий в скалах, в которые закладывали взрывчатку, работал в охране, грузчиком, на всяких сельскохозяйственных работах, строил заборы, а когда перебрался в Тель-Авив, стал работать на строительстве, вместе с Эфраимом, уже женатым на Стефани, родившей ему дочь, а в часы после работы он сколотил себе пристройку, и в одной из двух комнат этой лачуги жил с сестрой Брахой, она приехала в Страну с их родителями, дедом Барухом-Хаимом и бабой Хавой, а через некоторое время к ним, присоединился и Реувен, младший брат Стефаны, а Янек, другой ее брат, остался в Польше, и Реувен, высокий, красивый и добрый

парень полюбился отцу Гольдмана и они стали близкими друзьями, но эта дружба кончилась после убийства Арлозорова, поскольку тогда, именно тогда, будто в него вселился демон, Реувен стал ревизионистом, и бездна ненависти разверзлась между ними, ненависти, какое-то время скрытой, пока она не прорвалась гневной ссорой с Акивой Вайнером на свадьбе Рахель и дяди Лазаря. Их пристройка была рядом с баракком Йозеля, а по сути, была частью того же строения, в котором жили Йозель с Ципорой и тремя их детьми, уже родившимися к тому времени, пришлось потесниться и дать место деду Баруху-Хаиму и бабе Хаве, и они зажили в одной комнате со старшим внуком Меиром, которому тогда было семь лет. Во дворе, окружавшем барак с пристройками, Ципора выращивала овощи и держала нескольких кур, по стенам карабкался вьюн, буйствовали ромашки и клевер, и другие цветы, рядом в беспорядке теснились еще всякие лачуги с крышами из пропитанного смолой картона, покрашенные в белый цвет для защиты от жары, а вокруг раскинулась пустыня, желтый песок, а за ней – поля краснозема в дикой траве, колючках, васильках и жалких кустиках, а дальше – кое-где уже смоковница и платан, кипарисы, заросли кактусов, несколько белых домиков, окруженных акациями, а совсем вдалеке арабские виноградники попеременно с участками капусты и садами, во время цветения они наполняли воздух опьяняющим запахом, а когда Шмуэль и Браха в спешке поженились, Браха уже носила ребенка, все дружно, за несколько недель построили им, недалеко от Большого барака, новую пристройку с двумя комнатами, в одну из них, когда у Йозеля и Ципоры родился четвертый сын, переселились дед Барух-Хаим и баба Хава, там они и жили, в этой пристройке, все те годы, когда Шмуэль и Браха перекочевали в Австралию, Шмуэль тогда продал весь свой бизнес: «Салон красоты», магазин вин, и остальное, поверив, что в Австралии, стране солнца, покоя и экономического процветания, сможет легко разбогатеть с помощью разных мелких предприятий: текстиль, мясо, экспорт, импорт, строительство, и даже как парикмахер, но, к своему разочарованию,

не преуспел, только немного выучил английский и сэконо-мил, трудясь не покладая рук, немного фунтов стерлингов, вернувшись в Страну, он быстро потерял эти накопления на разных спекуляциях и неудачных строительных проектах. Отец Шмуэля, тяжелый скряга, ни разу и ни на грош не под-держал сына, но не раз предупреждал перед авантюрами, и предлагал присоединиться к нему в мясном деле, потом его вытеснил из этого дела Арон, младший сын, тот прибыл в Страну перед самой войной и сразу стал работать с отцом; дед Барух-Хаим тоже иногда предупреждал Шмуэля, хотя боль-ше намеками, он вообще не любил предприятия, хоть как-то связанные с обманом или эксплуатацией, а такими были в его глазах все торговые и денежные дела, а посему, хоть он и был человеком неопытным и лишенным всякого коммерче-ского чутья, недоверчивым и полным опасений, категориче-ски воспротивился отъезду сына в Австралию, и целыми днями не находил себе места, огорченный и озабоченный, надеясь до последней минуты, что Шмуэль и Браха изменят свое решение, но когда они все-таки собрались, благословил их в путь и благословил возвращение, и все время, что их не было в Стране, ухаживал за пристройкой: штукатурил два-жды в год, перед Песахом и Новым годом, чинил крышу, кото-рая часто срывалась, и битую черепицу, посадил во дворе клубнику и смокву, и лимон, и несколько виноградных лоз, и еще развел – он очень любил животных – собак, коз, лоша-дей и птицу, и ко всему еще достроил комнатку, в которой продолжал работать часовщиком, зарабатывая на жизнь себе и бабе Хаве. Это был крепкий мужчина, с густой копной чер-ных волос, бесхитростный, глубоко верующий и соблюдаю-щий заповеди, но не фанатик, восторженный сионист, опья-ненный Страной Израиля, так что каждый новый дом, построенный в городе, каждый врытый столб, возведенный забор, или полоска дороги наполняли его радостью; а баба Хава, маленькая худая женщина, жила как ошарашенная, и целый день беспричинные слезы текли из ее глаз и ручейка-ми растекались по сморщенному лицу, ставшему лабирин-том узких морщин, тело ее еще уменьшилось и высохло,

кожа да кости, постепенно и сознание затуманилось, особенно после смерти мужа, но все-таки какими-то спрятанными инстинктами ей удавалось готовить, вязать, убирать дом и строго соблюдать заповеди и указания Господни, даже внушить какие-то из них сыновьям – каждый день, хотя бы один из них всегда приходил навестить ее и деда Баруха-Хаима –, и продолжала молиться на таинственном языке, его слова, напечатанные огромными черными буквами в старом молитвеннике, она безбожно искажала с естественностью и спокойствием, к ужасу ее мужа, и ходила для ответов на все вопросы к раввину, который в ее глазах был верховным авторитетом на земле, воплощением знания и уверенности, что мы живем не в проклятом и погибшем мире, и что мир этот – не хаотическая смесь небылиц и бессмыслицы, а несмотря на беды, возмущения, перевороты и несправедливость, все происходит по заранее продуманному плану, и у каждой вещи есть своя причина и цель. Она продолжала экономить на всем, как всю свою жизнь, и поэтому уважала Макса Шпильмана и с неприязнью относилась к Стефане (отца Шмуэля и Арона она ненавидела по другим причинам), и латала старые носки, заплату на заплате, склеивала друг с другом кусочки стертого мыла, чистила картошку так тонко, что срезанная кожура казалось прозрачной, готовила разом такое количество крупяного супа, что его должно было хватить на неделю, и через несколько дней он отвердевал настолько, что кот мог гулять по нему, не оставляя следов, и она никогда не выбрасывала остатки еды или сношенную обувь, старую одежду или коробки. Во время войны итальянцы отбомбились по бараку³⁰, где она все еще жила со Шмуэлем и Брахой, но они спасли ее, спрятав в шкафу с одеждой, но только для того чтобы дать ей окончательно окаменеть и уме-

³⁰ 9 сентября 1940 года, в результате бомбардировки Тель-Авива погибло 137 человек. 12 июня 1941 года был совершен еще один налет на Тель-Авив, совершенный итальянцами или французами, базирующимися в Сирии, в результате которого погибли 13 человек.

реть в очень почтенном возрасте, ничего не понимая и ничего не помня, в том числе и мужа, после того как она постепенно но неумолимо погрузилась в состояние полного беспамятства, в котором пребывала до самой смерти. Дядя Лазарь, когда его родители прибыли в Страну, еще не был женат и иногда жил у них и помогал им, но года через три, после того как поселился в Тель-Авиве, репатриировалась Рахель, с матерью и братом, Максом Шпильманом, она стала подругой его юности, они даже поселились втроем в большой кабине от лифта, которая торчала брошенная посреди дворов в их квартале, связь между дядей Лазарем и Рахель цвела и крепла, так что через некоторое время стали говорить о свадьбе, что радовало сердце матери Рахель, которая косо смотрела на их свободную любовь без обязательств, но она постаралась скрыть свою радость под маской равнодушия, и потому что боялась дурного глаза, и потому что считала дурным тоном и ошибкой открыто проявлять свои чувства, а Макс Шпильман, который был крайне левых убеждений, отнесся к этому с открытым недовольством и презрением, в этот период он резко расходился с дядей Лазарем по политическим вопросам, и был против института семьи, видя в ней ячейку капитализма, загнивающую и разрушительную, в основе которой стоят экономические интересы, устаревшая религиозная традиция и лицемерие, также он верил в радикальную перестройку общества, в любовь и другие пути свободного соединения людей. Тогда же, после периода экономического спада, снова начался бурный рост строительства и быстрое расширение города, он стал окружать квартал бараков, а в нем к тому времени построили синагогу и провели дорожки, а в маленьких дворах зеленели фикус и инжир, и цитрусовые, и кипарисы, кусты вьюна и пахучий горох, а кое-где, благодаря Ципоре, грядки редиски и салата, помидоров и огурцов, свободно бегали несколько куриц и собаки лаяли по ночам друг на друга и на шакалов, а те выли, казалось, совсем рядом, прямо за стенкой, пугая бабу Хаву, и она каждый день твердила, что хочет вернуться в Польшу. Город расползался с бешеной скоростью по пескам, виноградникам и

полям бахчи, так что Барух-Хаим уже не мог уследить за всеми новыми домами, улицами и предприятиями, он ходил со смешанным чувством грусти, что город как бы ускользает от него, становится чужим, и именно тогда, в дни цветения, дядя Лазарь оставил свою работу по строительству, слишком для него тяжелую и совершенно неинтересную, и стал работать в типографии. Он хорошо знал иврит, кроме польского и идиш, и неплохо освоил, абсолютно самостоятельно, немецкий и английский, набрался широких, хотя и не систематических знаний в разных гуманитарных областях, поскольку мир, хоть и вызывал в нем гнев и тревогу, одновременно возбуждал любопытство и желание понять законы, им управляющие, а с их помощью, может быть, его изменить, так что он благоговел перед печатными страницами, газетными или книжными, манящими волшебной силой могучих тайн. Он уже работал в типографии, когда все собрались строить Большой барак, и в то время постоянно вспыхивали споры между отцом Гольдмана, он был в «Молодом Рабочем», и дядей Лазарем, который принадлежал к «Союзу рабочих», и его воззрения становились все более левыми и радикальными, даже радикальнее взглядов Макса Шпильмана, считавшегося самым крайним по политическим взглядам, и иногда эти споры между отцом Гольдмана и дядей Лазарем распалялись настолько, что переходили в тяжелые ссоры, полные злобы и оскорблений, в результате чего они ссорились «навек», так что и словом не обменивались друг с другом, пока Йоэль и Ципора, или родители, или Реувен не вмешивались и не примиряли их после немалых усилий. Они спорили о целях и задачах пролетариата, о Советском Союзе и коммунистическом движении, о сионизме, по арабскому вопросу, о фашизме и проблемах демократии и насилия, о путях становления Страны и исправления мира, а между тем Рахель понесла, и тогда, к возмущению дяди Лазаря и Макса Шпильмана, всем сердцем осуждавших эти религиозные церемонии, поставили свадебный шатер между бараками, на песке, перед синагогой, и в результате дядя Лазарь смирился с приговором, даже постарался во время церемонии вести себя пристойно,

изображая радость, а Макс Шпильман остался тверд в своем неприятии и не пришел на свадьбу, хотя пришли все, его мать и сестра, и Ципора с Реувеном, и дед Барух-Хаим. Это было в начале октября, когда воздух пропитан ароматами сикмор, инжира и эвкалиптов, и прохладой начала осени, она особенно ощущалась по утрам и к вечеру, но, невзирая на прохладу, столы организовали во дворе Большого барака, под открытым небом, накрыли их накрахмаленными простынями, на них поставили кувшины с геранью и душистым горошком, и ветками груши и бугенвиллий, и ветвями кипариса и цитрусовых, и приглашенные, между ними и Янек, который как раз в это время приехал погостить, сидели вокруг в белых рубашках, пили вино из смоквы и винограда, Ципора его сама приготовила, ели сладкие и соленые запеканки, сыры и картофельные оладьи, и соленые арбузы, и печенье, и пироги с капустой, с луком и маком, и варенье, и торты с шоколадом, которые мать Рахель и баба Хава пекли два дня и две ночи, при этом слезы, не переставая, текли из глаз бабы Хавы и мешались с тестом, которое, так потом утверждала мать Рахель, получилось с горьковатым привкусом. Баба Хава без устали источала слезы и во время свадебной церемонии, и во время праздничной трапезы, и когда все, в том числе и Авраам Шехтер, он был влюблен в Рахель и его сердце разрывалось от боли, пели и плясали, Реувен был особенно неутомим, он почти весь вечер танцевал с Сарой, сестрой Юдит Майзлер, она чудесно танцевала, забывшись в вихре веселья, а через несколько месяцев Реувен женился на ней, несмотря на протесты Стефаны, Янек со своими острыми ботинками и шелковыми рубашками, лихой картежник и бильярдист, мастерски танцевавший вальс и танго, к тому времени уже вернулся в Польшу, Сара и Реувен любили друг друга и очень хотели детей, но детей не было, и это омрачало их жизнь. Танцы продолжались всю ночь, а к утру, когда небо побелело, и гости уже разошлись, и на столах лежали остатки еды, а цветы и ветки в кувшинах были еще свежи и пахучи, умер Барух-Хаим: он сел на край широкой кровати, расстегнул пояс, издал стон и осел на пол, и го-

сти вернулись на следующий день, и в тех же белых рубашках, в которых праздновали свадьбу дяди Лазаря и Рахель, похоронили его, и баба Хава, залитая слезами, поддерживаемая Йозлем и отцом Гольдмана и дядей Лазарем, не переставая, повторяла на идиш: «Он был гигантом. Он был гигантом», и что-то от того поклонения и страсти, наполнявших ее с молодости и поглощенных в суете жизни, теперь прорвалось в громких причитаниях, перемешанных со слезами, а через пять месяцев, к концу зимы, Рахель родила мальчика и дядя Лазарь назвал его Барух, а еще через два года родила дочь, и они называли ее Циля, по имени бабушки Рахель со стороны матери, хотя ни Рахель, ни дядя Лазарь никогда в жизни ее не видели. Они так и жили в кабине лифта, построив к нему еще комнату и расширив кухню, вместе с матерью Рахель и Максом Шпильманом, но вскоре после рождения Циля переселились в барак Йозеля, а тот снял квартиру и жил в ней с семьей несколько лет, откуда семья перебралась в мошав, где жила почти до конца Первой Мировой войны. Когда Циля родилась, дядя Лазарь уже не был в «Союзе труда», а стал коммунистом, но в отличие от Макса Шпильмана, открывшего в бараке Йозеля небольшую слесарную мастерскую, в мировоззрение дяди Лазаря вплелись анархистские идеи, и со временем только укрепились, за что Макс Шпильман, будучи убежденным коммунистом, резко его критиковал; коммунизм дяди Лазаря вызвал со стороны его бывших друзей, старых знакомых и даже членов семьи гнев и враждебность, многие разорвали с ним отношения, что создало вокруг него поле постоянного напряжения, полное разгоряченных споров, и в один из зимних вечеров, рядом с кроватью бабы Хавы, которая слегла, заболев гриппом, после острого спора с отцом Гольдмана о сионизме и статусе арабов Страны Израиля, они рассорились окончательно, а через несколько месяцев, когда стало известно, что дядя Лазарь решил присоединиться к интербригадам чтобы воевать на стороне республиканского правительства Испании, ссора перешла в полное отлучение со стороны отца Гольдмана, чему он остался фанатично верен, ни разу не нарушив до дня

своей смерти, и все попытки примирения решительно отвергал, он говорил, что никогда и ни при каких условиях не примирится с коммунистом и антисеионистом, человеком, продавшим душу дьяволу, и не простит человека, бросившего семью, даже ради спасения мира. И Ципора, и Йозель, и Хаим-Лейб, только несколько месяцев назад прибывший в Страну с госпожой Хаей, и Шмуэль с Брахой, и многие другие, даже Макс Шпильман, пытались отговорить дядю Лазаря, и, конечно, Рахель, которая умоляла его не уезжать и не оставлять ее одну с двумя детьми, но он был непоколебим, и в начале лета отплыл во Францию, во время прощания они почти не разговаривали, а оттуда, из Парижа, пришли от него два письма, а через некоторое время пришло письмо из Барселоны, а потом еще несколько писем, почти все были посланы Рахель, потом случился перерыв, он длился несколько месяцев пока однажды не прибыли его документы и сообщение, что он погиб при обстреле Теруэля, но после этого, довольно скоро, неожиданно пришло от него письмо, и хотя время и дата были полустерты, стали доходить слухи, что он жив и его видели возле Таррагоны, в Валенсии, в Мадриде, в маленькой больнице в Онтоньетте, и искра надежды зажглась в сердце Рахель, но другие слухи, что он был убит польскими добровольцами, подтвердили первое сообщение, как и то, что ни одно письмо, кроме того, с полустертой датой и адресом, не пришло с тех пор, и искра надежды угасла, но она еще три года ждала его, и только тогда, после долгих колебаний, вышла за Акиву Вайнера, он долго, но ненавязчиво за ней ухаживал, и оставила без внимания Авраама Шехтера, который всю жизнь был влюблен в нее, но так ни разу и не решился на признание, ей было важно теперь обеспечить себе и детям «опору», что Акива Вайнер как раз и мог предоставить. Свадьба была в узком кругу ближайших родственников и друзей, рассевшихся за столами, полными всех даров этой земли, но атмосфера печали и неловкости лежала на всем и убивала любую попытку пробудить радость, а посреди свадьбы, после того как Йона Кочинский, к радости Сары, сестры Ципоры, она уже была в то время за ним замужем,

спел своим славным тенором песни на идиш и арию из «Травиаты», когда все уже уселись и занялись едой, пытаясь шутить, вспыхнула страшная ссора между отцом Гольдмана и Реувеном, после которой свадьба совершенно рассыпалась, и почти сразу после того, как вспышка утихла, гости разошлись и отправились по домам. Ссора была короткой и внезапной, никто не смог ее остановить, она вспыхнула после обидной фразы в адрес Жаботинского, которую отец Гольдмана произнес походя, но громко, вследствие чего между ним и Реувеном завязался громкий спор о «деле Арлозорова», быстро перешедший во взаимные обвинения, включая личные оскорбления, и закончился тем, что отец Гольдмана встал со своего места и с почерневшим от гнева и ненависти лицом ударил кулаком по столу и закричал: «Грязный фашист! Убийца! Иди к своему Гитлеру!» и бросился вон, натываясь на стулья и людей, расталкивая их во все стороны, ни на что не обращая внимания, а Реувен, его губы и руки дрожали от волнения, поскольку никогда ни с кем не дрался и никого не обзывал дурным словом, закричал ему вслед: «Коммунист! Мерзавец! Сатана! Это вы его убили! Вы убиваете всех!», и без сил опустился на стул, с тех пор они не разговаривали друг с другом и почти друг друга не видели, разве что случайно, на улице, и старались не ходить туда, где могли наткнуться друг на друга, а когда случайно сталкивались, проходили мимо, избегая даже встречаться непримиримыми взглядами, отец Гольдмана вообще не умел прощать, а ненависть к Реувену, кипевшая в нем еще до той ссоры на свадьбе, продолжала точить его и после того, как Реувен уже умер, она была такой яростной и мстительной, что он даже отказался пойти на похороны Реувена, погибшего от электрического удара (многие умоляли его пойти, хотя бы из уважения к Стефане), и не пропускал ни одной возможности и перед Стефаной бросить в его сторону самые обидные и оскорбительные обвинения, поскольку отвергал и ненавидел ревизионизм во всех его проявлениях, и даже тех ревизионистов, которые считались «порядочными», он видел в нем воплощение фашизма и опасность для народа, и эта ненависть не зна-

ла границ, и незадолго до смерти, когда говорил с Авраамом Шехтером о политическом положении в стране, еще сказал: «Бегин строит из себя милашку, но ничего не поможет – это они убили Арлозорова», и Гольдман, он в этот момент вошел на кухню и слышал эти слова, преисполнился гордости за отца, а Авраам Шехтер сказал: «Брат Арази говорит, что нет», на что отец Гольдмана возразил: «Они его убили. Это факт», и никакие доказательства обратного не могли поколебать эту веру, отравившую его душу и взорвавшуюся таким диким образом во время свадьбы Рахель. Неделю после свадьбы Рахель перебралась с двумя детьми в квартиру Акивы Вайнера, а опустевший барак купил Хаим-Лейб, за несколько недель сделал ремонт, достроил комнату и поставил там огромную деревянную сушилку для белья, а в это время дядя Лазарь уже много месяцев сидел в Якутии, за Полярным кругом, он попал туда после головокружительных приключений как политэмигрант, после того как вместе с другими бойцами интербригад его перевезли в Советский Союз, а там судили как троцкиста, анархиста и агента контрреволюции, но по непонятной снисходительности присудили к ссылке, и так он оказался в Якутии, на берегу Северного Ледовитого океана, вместе с другими арестантами и политэмигрантами, вначале они жили в останках разбитого корабля, потом в жалких деревянных землянках, которые заключенные построили сами из найденных где-то пустых рыбных бочек, он ловил рыбу, строил, копал землю в вечной мерзлоте в безуспешных попытках добыть обнаруженный там каменный уголь или нефть. Его руки затвердели, ноги стали тяжелыми, как свинец, холод и постоянная усталость притупили чувства, а нестерпимая белизна вокруг и длящиеся до бесконечности дни и ночи, к чему он не мог привыкнуть, и эти северные сияния, когда в фантазмагории цвета являлись в небе пляшущие призраки и сводили его с ума, низкорослые якуты утверждали, что это души мертвецов танцуют, но в глубине души, кроме тяжелейших условий жизни, мучила необъяснимая перемена, случившаяся в его жизни, с того момента что он покинул Страну Израиля и до того как был объявлен

агентом контрреволюции и сослан в Якутию, поскольку все переменилось действием каких-то непонятных сил, овладевших его судьбой, произвол стал законом, и мир, и жизнь, все спуталось и стало угнетающе загадочным, противным разуму и правильному, неизбежному порядку вещей, и это не давало ему покоя днями и ночами, преследовало его, как запах мертвой рыбы, как запах льда, и он закрылся в себе, заdraив все щели, и все время пытался решить эту загадку, разрешить тяжелые противоречия, чтобы продолжить жить без страха и отчаяния, чтобы найти основу и успокоиться, ведь не может же быть, что жизнь — хаос, и бесполезны законы логики или справедливости; постепенно, благодаря этим неустанным усилиям, причем, не изменяя своему мировоззрению, он научился тому, что не умел и вовсе не собирался развивать свои способности к этому: научился помалкивать, не замечать ход времени, сносить произвол и подозрительность, жить без ожиданий, почти без планов, жить сегодняшним днем, он сжился со всем этим, даже забыл о доме, о семье (ностальгия по ним через долгое время отрешения вновь охватила его), похоронил их в своем сердце, также как он научился стоять под страшными порывами выюги или справлять нужду снаружи, при морозе в пятьдесят градусов ниже нуля, но через восемнадцать лет, без всяких стараний с его стороны, без того чтобы он как-то выразил свое желание или изменил свои взгляды, его освободили, и в середине зимы, в холодный дождливый день он вернулся в Страну Израиля, его встретили в аэропорту только Йоэль с Ципорой и Шмуэль с Брахой, его мать, баба Хава уже много лет была прикована к постели, а отец Гольдмана соблюдал свою анафему, не собираясь поступиться ею ни на один миллиметр и прийти с братом и сестрой встретить его. Все были взволнованы встречей, ведь еще за неделю до этого дядя Лазарь считался мертвым, и никто уже не чаял его увидеть, но в ней было и что-то тягостное, ведь тех людей, которые простились с ним когда-то уже не было, хотя это были все те же люди, и на них висели старые и путанные счета, тяжелые и болезненные, скопившиеся за долгие годы разлуки, скрытые еще за час до этого, по

крайней мере, от дяди Лазаря. Рахель с детьми не было среди встречающих, и это легло на всех как тень, боялись, что дядя Лазарь спросит о них, но он не спросил, сдержал себя, только о бабе Хаве, и пока они стояли в зале аэропорта, над всеми царили волнение и радость, они обнимались и целовались, смущенно бросали реплики и шутили, и снова обнимались, а Браха, плача не переставая, все время гладила плечо и руку дяди Лазаря, и так всю дорогу до дома Йоэля и Ципоры (незадолго до конца войны они продали свое хозяйство и переехали в город), там устроили праздничный обед с детьми и всей семьей, была и Сара, сестра Ципоры, и Йона Кочинский, который принес из своей кондитерской замечательный торт с орехами и всякие пирожные, а после обеда просто сидели и болтали вокруг стола, его, в честь такого события, поставили в центр салона и раздвинули до конца, как на Песах, а потом, когда стало темнеть и все разошлись, дядя Лазарь прилег отдохнуть в маленькой комнате, спать он не мог, хотя очень устал с дороги, а вечером еще посидели за кофе, без детей и гостей, и говорили уже о вещах более основательных, по ходу разговора Ципора и Шмуэль, и Йоэль с Брахой рассказали дяде Лазарю о смерти Реувена, и о смерти Исая, и о болезни бабы Хавы, рассказали ему о браке Рахель с Акивой Вайнером, после того как получили неоспоримые свидетельства, что он погиб в Испании, не оставляющие места сомнениям и надеждам. Дядя Лазарь, у него голова шла кругом от внезапных перемен в своей жизни, от встреч, находился в сомнамбулическом состоянии, будто потерял связь с действительностью и силу тяжести, и всё: время, люди, виды, слова, — будто происходило в двух мирах и оба существовали одновременно; он все принял спокойно, без внешних признаков волнения или удивления, будто ожидал этого, и после короткого молчания сказал, что завтра, после того как навестит мать, собирается повидать Рахель и своих детей. Уговоры Брахи, Ципоры и Йоэля отложить встречу на некоторое время не возымели действия, и на завтра, после того как Ципора сообщила об этом Рахель и получила ее согласие, дядя Лазарь — виды вокруг и ласка воздуха опьяняли его — , отпра-

вился к дому Шмуэля и Брахи, баба Хава жила у них с тех пор как они вернулись из Америки, за несколько недель продали барак и купили квартиру, а еще через некоторое время поменяли ее на более просторную, в которой теперь и жили. Шмуэля, занятого по горло своими ресторанами, фирмой, которая занималась импортом радиоприемников для автомобилей и другими делами, не было дома, и только Браха зашла с дядей Лазарем к их матери, она лежала в дальней от салона комнате, там ее меньше беспокоили. Комната была выкрашена в белый цвет и блестела чистотой, но окна, может быть из-за холода, не открывали, и в ней стоял запах простынь и лекарств. Мать лежала без движения, под большим пуховым одеялом, маленькое сморщенное существо, то ли женщина, то ли мужчина, видны были только ее голова и руки, она почти исчезала на просторах белой кровати, но несмотря на то, что ее сознание давно было затуманено, в ушах смолкло, а глаза угасли, и она различала только между светом и тьмой, когда дядя Лазарь вошел в комнату, она слегка повернула голову, поседевшую до белизны, и сказала: «Лазарь?», и дядя Лазарь сказал: «Да, мама», и осторожно приблизился к ней, и поцеловал ее разрушенное лицо и руки, от которых остались кожа да кости, от тела и страшного пустого рта шел острый запах старости, он сел рядом с ней, что-то говорил ей, и вновь целовал ее, от волнения, раскаяния и близости, но она лежала, как каменная, и больше ни на что не реагировала, и через некоторое время, после того как немного успокоился, дядя Лазарь встал и вышел на цыпочках из комнаты, после этого еще выпил с Брахой чаю, расстался с ней и пошел к Рахель, но по пути свернул и задержаться у квартала бараков, теперь он был окружен домами и казался маленьким, жалким и заброшенным, даже каким-то отталкивающим местом, совсем одичавшим и покинутым. В барак Шмуэля и Брахи жил мастер по обивке мебели, превративший половину барака в мастерскую, стены покосились, крыша была в дырах, двор, за которым дед Барух-Хаим так заботливо ухаживал, одичал: на земле валялась ржавая голубятня, а инжир и виноградник погибли, везде обрывки бу-

маги, куски ваты, осколки черепицы, обломки досок, и сорняк, сплошной сорняк. Большой барак Йоэля и отца Гольдмана выглядел запущенным, там жили чужие люди, они вселились после того как Макс Шпильман продал его и переехал с матерью и женой Берурией, она была тогда беременна их первым сыном, в пятикомнатную квартиру в одном из новых престижных домов, построенных на руинах арабских деревушек, поглощенных городом, и не потому что бежал за престижем, наоборот, он был очень прижимист, хорошо знал цену деньгам, на что стоит их тратить и на что не стоит, и именно поэтому посчитал, что его нынешний статус обязывает жить в шикарной квартире, такое представительство продвинет его бизнес, а кроме того видел в этом, и оправданно, выгодное вложение. Слесарную мастерскую он перевел из барака еще в конце мировой войны, тогда в результате многих заказов она расширилась и продолжала расширяться после провозглашения государства, он работал в основном для армии, и это небольшое предприятие перевел на новое место, более просторное, уже тогда там было занято человек двадцать, он еще оставался холостым и жил с матерью, в отличие от Рахель он был очень привязан к ней, и возможно, остался бы холостяком навсегда, поскольку уже не чувствовал никакой необходимости в женщине и за все эти годы привык к своему образу жизни, самостоятельному и степенному, а в основном потому, что все его силы, время и воля были сосредоточены на делах, на расширении предприятия и накоплении денег, это привело его через несколько лет, после того как он стал владельцем бензоколонок, к мошенничеству: смешивал бензин с нефтью и еще подправлял показания счетчиков, в результате его отдали под суд, где он все валил на работников и утверждал, что ничего не знал, однако суд нашел его виновным вместо с двумя работниками, наложил на него тяжелый штраф, он же воспринимал судебное разбирательство как временную неприятность и до последней минуты не верил, что суд состоится, а после приговора продолжал с чистым сердцем считать себя порядочным человеком, ничем не запятанным, тем более, что его связи и ста-

тус среди деловых людей и госучреждений нисколько не пострадали, большинство не видело в его действиях ничего предосудительного и тем более непростительного, в худшем случае – неудачу, которую стоит поскорее забыть, во всяком случае, она не должна мешать их отношениям, а были и такие, что оправдывали его, но не Рахель и его зять, отец Берурии, у которого было предприятие по изготовлению водяных баков и изделий из нержавеющей стали, Макс Шпильман выполнял для него некоторые заказы, и благодаря этим связям, еще до того как вошел в бизнес с бензоколонками, познакомился с Берурией, которой было за тридцать, и ее уже записали в старые девы. После недолгих ухаживаний Макс Шпильман женился на ней, не то чтобы по большой любви, но и не по расчету, а через некоторое время стал компаньоном ее отца в предприятии по обработке изделий из нержавеющей стали, оставил квартал бараков, там уже не осталось никого из знакомых, только в бараке, где когда-то жили Рахель и дядя Лазарь, в той самой кабине лифта, к которой пристроили комнатку и веранду, а перед ней посадили грядки овощей и цветы, все еще жил Хаим-Лейб, и дядя Лазарь, стоя под холодным ветром с песком и глядя вокруг с головой, закружившейся от печали и волшебства воспоминаний, вдруг увидел госпожу Хаю, появившуюся в окне чтобы вытряхнуть скатерть, она посмотрела на него, но не узнала, и он поспешил отвернуться, будто был случайным прохожим и забрел не туда, повернулся и быстро ушел, направляясь к Рахель; она думала встретить его с вежливостью, даже в какой-то мере доброжелательно, ведь в конце концов прошло так много лет, но приняла его абсолютно холодно и отчужденно: не пожала руку, не предложила присесть и не спросила о самочувствии, по правде говоря, с первой же минуты как он появился в дверях, ей хотелось спросить его, зачем он пришел, и попросить уйти, но что-то от его волнения передалось и ей, а кроме того любопытство, и вежливость, и она молчала, но неприветливо. Но дядя Лазарь не чувствовал никакой обиды, поскольку признавал свою вину и оправдывал приговор судьбы, только печаль и раскаяние, хотя надеялся

хотя бы обменяться с ней словами, за годы разлуки он их заучил, сотни и тысячи раз повторяя про себя, он хотел поговорить и с Барухом и Цилей, но сын и дочь, как и Рахель, стояли с другой стороны стола и смотрели на него отчужденно. Это длилось всего несколько минут, и за эти минуты дядя Лазарь понял, что и этим самым маленьким и незаметным надеждам, пусть они на самом деле лишь робкий шепот сердца о сдаче на милость победителя, нет права на жизнь. Даже выражению сожаления или просьбе о прощении не было места, и все-таки, когда собрался уходить, после того как произнес несколько общих слов, и Рахель что-то ему ответила, дядя Лазарь протянул руку Циле, но она застыла на месте, а Барух развернулся и вышел в другую комнату, и дядя Лазарь ушел оттуда, в дождь, и заплакал, он так плакал, что у него заболела грудь, а лицо исказилось, он не обращал внимания на лужи, на сильный ветер и дождь, хлеставший его по лицу, только бесцельно бродил по улицам, пока не стало темнеть, а когда вернулся, Йоэль и Ципора, они уже беспокоились, ни о чем его не спросили, Ципора дала сухую одежду и напоила горячим чаем, потом предложила отдохнуть, и дядя Лазарь задремал, а ночью проснулся в лихорадке от высокой температуры и проболел с неделю, а Ципора, ей уже было за восемьдесят, и она ухаживала за матерью, и помогала своим дочерям и невесткам, которые вечно были в долгах, и смотрела за детьми, и занималась с Сарой, своей сестрой, проводившей время в претензиях и жалобах, и в бесполезной маяте по квартире, всегда запущенной, стала заботиться и о дяде Лазаре пока он выздоравливал, а потом еще несколько недель жил у них; все это время он общался с семьей, даже встретил отца Гольдмана в одном из визитов к бабе Хаве, только отец Гольдмана не ответил на его приветствие и отвернулся, со старыми друзьями и знакомыми, и заново познакомился с детьми Йоэля и Ципоры: Меиром, Йермияху, Эстер, Рут и Авиэзером, все кроме Авиэзера уже обзавелись семьями, он познакомился с их женами и мужьями, и внуками Йоэля и Ципоры, и с Иланой и Ури, детьми Шмуэля и Брахи, их старший сын Амос уже несколько лет жил в Аме-

рике, поехал изучать экономику; дядя Лазарь не вернулся работать в типографию, а нашел себе работу в пекарне, стал пекарем, работа пришлась ему по душе и одарила его покоем, он снял себе маленькую квартирку недалеко от моря и жил один, а потом, где-то через год, сошелся с Юдит Тенфус, женщиной небольшого роста с каштановыми волосами, очень скромной и организованной, она много лет работала в школе учительницей английского и жила тихой, одинокой жизнью. Они не оформляли свой брак, никаких причин для этого не было, но жили как муж и жена, в гармонии, как взрослые и разумные люди, уже не ожидающие в жизни ни бурь, ни достижений, даже не заинтересованные в них, наоборот, и, прожив так недолго, в том же состоянии покоя, дарованном свыше, умерли вместе, когда оба спали. После работы, под вечер, они часто сидели на балконе и наблюдали за улицей, во дворах домов было много густых кипарисов, казуарины и томариска, летом полных птичьего гомона, или беседовали, или читали, зимой, понятное дело, сидели в комнате, хорошо прогретой, или ходили в кино, а иногда в театр, или гуляли, взявшись за руки, так они привыкли, и старались совершать дальние прогулки, потому что ходьба была важна для здоровья дяди Лазаря. Иногда заходили в гости к Йоэлю и Ципоре, с ними, и с их детьми – не проходило дня, чтобы кто-нибудь из них не навещал его – он чувствовал себя спокойно, а раз или два в неделю, обычно по ходу прогулки, заглядывали на короткое время к бабе Хаве, которая жила своей замкнутой жизнью, несмотря на предсказания врачей, дружно предвещавших ей скорую смерть, так что казалось, будто она победила смерть, или та о ней позабыла, и она обречена жить вечно, несмотря на болезни, перевороты и скитания, выпавшие на ее долю, особенно после войны; через три года после ее погружения в эту непроницаемость, Шмуэль, в результате неудачных вложений и всяких спекуляций и займов, в частности и у брата, запутался в тяжелых долгах и удрал в Америку вместе с Брахой и двумя детьми, Ури тогда еще не родился, а перед этим экспроприировал и в тайне продал все семейные украшения и другие ценности, а когда в

три часа ночи, за четыре часа до отлета, сообщил об этом отцу Гольдмана, тот перевез к себе мать с двумя ее медными канделябрами, но без кровати, которая была слишком большой, запер барак Шмуэля и Брахи, а потом сдал его Аврааму Шехтеру, перед этим Арон, брат Шмуэля, забрал себе все что смог: часть домашней посуды и мебели, но через год Стефана вновь разболелась, не говоря уже о страшной тесноте в квартире, и тогда бабу Хаву перевезли временно к Йоэлю и Ципоре, и она лежала у них некоторое время пока Ципора, которая занималась и своими детьми, и невестками, и внуками, и матерью, и сестрой Сарой, больше уже не могла тянуть этот воз, и тогда бабу Хаву с ее двумя канделябрами опять перетаскили к Эфраиму и Стефане, только она у них не задержалась, потому что Стефана, всегда с трудом, из вежливости терпевшая ее, еще не выздоровела, так что у нее было все меньше сил и терпения соблюдать кашрут³¹, что было необходимо, пока баба Хава была у них, а тут как раз Шмуэль и Браха неожиданно вернулись из Америки и остановились на некоторое время в своем бараке, который стоял пустой, и через две недели перевезли к себе бабу Хаву с двумя ее канделябрами, и она вернулась в свою комнату и в свою кровать, и так могла бы завершить свои скитания, но Шмуэль продал барак и купил квартиру, а через некоторое время сменил ее на более просторную, и они с Брахой таскали за собой и бабу Хаву, которая прожила еще несколько лет после того как умер отец Гольдмана, пока и она однажды перестала жить, как часы, которые тикали еле-еле и вдруг, так что никто и не заметил, остановились, но в течение всей ее бедной и долгой жизни все члены семьи обязательно навещали ее хотя бы дважды в год: на Йом Кипур и в день смерти деда Баруха Хаима, тогда все вместе собирались посидеть у ее кровати, и отец Гольдмана виделся с дядей Лазарем, но, несмотря на все попытки их примирить, они так и не обменялись ни словом, ни взглядом. Дядя Лазарь, он был рад вновь оказаться в окружении семьи, хотел порадовать мать, хотя ее уже ничто

³¹ Свод разрешений и запретов в иудаизме.

не могло порадовать, и регулярно приходил к ней в дом Йоэля и Ципоры, а после смерти отца Гольдмана регулярно навещал и Стефану, которая неизменно принимала его равнодушно, а Гольдман – всегда приветливо, с подчеркнутой сердечностью, а перед тем как сесть играть в шахматы, что стало у них почти ритуалом, он готовил ему черный кофе с коньяком и подавал его в одной из двух чашек, оставшихся от шикарного чешского сервиза, доставшегося им во время войны и на короткое время осветившего жизнь в доме, годами погруженного в какой-то уродливый хаос, в мрачную атмосферу гнева и безнадежности, результата отравленных отношений и бедности, от нее не спасало ни то, что отец Гольдмана был умелец, ни его неистовая работоспособность, сжигавшая силы и нервы, вместе с его прямолинейностью и гордыней, все съедала инфляция. Гольдман и Наоми жили с родителями в большой комнате, заставленной зеленой мебелью, сгрудившейся возле тяжелого черного буфета, его каждый вечер сдвигали, чтобы освободить место для кроватей Гольдмана и Наоми, отец Гольдмана с женой спали на диване с пружинами, а родители Стефаны, пока жили у них, находились во второй комнате среди громоздкой коричневой мебели, которую привезли с собой из Польши вместе с подушками, одеялами, посудой и постояльцами, последние менялись время от времени и жили в маленькой комнате, на короткое время после войны она превратилась в комнату Наоми, в те дни, когда война еще полыхала, приехал Элияху Давид Костомольский, двоюродный брат отца Гольдмана, который дезертировал из армии Андерса и выбросил на берегу одежду и документы³², он спал на раскладушке, ее раскрывали каждую ночь у входа, и на той же раскладушке потом спал почти год Моше Целермеир, который прибыл как беженец, спасшийся от Катастрофы, без родни и знакомых, и отец Гольдмана скрывал его у себя дома, купил ему одежду, давал деньги и нашел работу, а в конце концов, и невесту, и Моше Целермеир никогда не забывал об этом, как и

³² Чтобы избежать ареста англичанами.

Давид Костомольский, он во время Войны за Независимость служил шофером, а когда война закончилась, временно жил в маленькой гостинице, сначала один, а потом с госпожой Ди-Ботон, красивой и приятной женщиной из восточной семьи, вдовой с дочкой, она прекрасно шила и готовила, но ни разу, из стеснения и страха, не явилась в дом отца Гольдмана и Стефаны, даже после смерти отца Гольдмана, но и она, непонятно каким образом, была полна благодарности и уважения к Стефани и отцу Гольдмана, последний был воистину труженик, таскал на своих плечах вязанки дров для печи, чинил обувь, подбивая резиновые подошвы, нарезанные из старых шин, чинил керосинки и электричество, и пробки в водопроводе, треснувшие стены и полы, и все что ломалось, но в доме все равно царила тягостная атмосфера, и даже внезапные взрывы праздничного настроения отца Гольдмана, когда он кутался в простыню, нахлобучивал на голову подушку и шагал по комнате, стуча по кастрюлям и крышкам, делал страшное лицо и пел диким голосом, не помогали и не вызывали у Гольдмана никакой радости, только неловкость и даже страх, и он молился про себя, чтобы отец перестал, не говоря уже о Стефани, у которой эти вспышки веселья вызывали отвращение, потому что во всем, что бы ни делал отец Гольдмана, хорошее или плохое, скрывались жестокость и агрессивность, и только несколько фокусов, которые он иногда показывал, когда Наоми и Гольдман были маленькими, проделывались с искренней радостью и весельем. Это были три фокуса: он глотал ножи и вилки, выплевывал изо рта яйца, и ударом кулака вставлял стакан в стол. А чешский сервиз принес один из постояльцев, высокий, красивый парень, очень вежливый, из Данцига, он был чистоплотным и платил вовремя, редко бывал дома, но и когда приходил, казалось, что в комнате никого нет, потому что он в основном спал или читал журналы, вот только курил трубку, что немного мешало из-за едкого запаха табака. Он работал в порту, и сервиз, уложенный в картонный ящик, принес в подарок перед своим отъездом, вручив его отцу Гольдмана со словами «Это для вас», и отец Гольдмана, он только что за-

кончил ужинать, ковырял зубочисткой в зубах и читал газету, сказал: «Что это? Это лишнее», в смущении взял коробку, потому что не любил подарков, но в тоже время очень ценил любое проявление внимания, так что жест ему понравился, а постоялец, оставшийся стоять у входа на кухню, сказал: «Это просто сервиз», и отец Гольдмана поставил коробку на стол и сказал: «Это совершенно излишне. Жалко денег. В самом деле, ни к чему», а постоялец сказал: «Мне было очень приятно у вас», и Стефана сказала постояльцу: «Сядьте, сядьте», и придвинула ему табуретку, а отец Гольдмана, еще смущаясь, открыл коробку и медленно, с удивлением и крайней осторожностью вытащил из нее одну из чашек, утопленных в мелкой стружке вместе с блюдцами, большим чайником и сахарницей, и как этрог к празднику Кущей поднял ее на всеобщее обозрение, рассмотрел на свету, постучал пальцем, как большой специалист, и чашка издала легкий звук колокольчика, перевернул, чтобы прочесть надпись с обратной стороны дна и прочитал: «Сделано в Чехии», затем передал чашку Стефане, она взяла ее в руки как бы нехотя и сказала: «Замечательно. Это просто замечательно», и поспешила осторожно поставить чашку на стол, будто боялась, что она рассыпется у нее в руках, а ее мать пощупала внутренность чашки толстыми пальцами и сказала на идиш: «Чешский фарфор лучше немецкого», и с улыбкой наклонила голову в сторону постояльца, он все еще стоял смущенный в дверях кухни и без остановки играл тяжелым серебряным кольцом на пальце с печатью в виде змеи; отец Гольдмана, полностью занятый происходящим, произнес: «Ты не должен был так тратиться», а постоялец рассеянно улыбнулся и сказал: «Это мне много не стоило», и добавил: «Я надеюсь, что сервиз вам пригодится», а Стефана, поставив на керосинку чайник для чая, вновь поблагодарила его, и сказала: «Да, да. У нас действительно не было ничего красивого чтобы угостить», а сервиз и в самом деле был на удивление красив: из белого, тонкого, почти прозрачного фарфора, раскрашенный воздушными разноцветными рисунками, черными, синими, зелеными, красными, голубыми, тем-

но-коричневыми, на них были изображены горы, холмы и деревни в китайском стиле, водопады и камыши, и две женщины в традиционной китайской одежде, глядящих, возможно, на горы, или просто печально вдаль. После того как отец Гольдмана вытащил все предметы сервиза из коробки, а Стефана их помыла и вытерла насухо, их торжественно перенесли в гостиную, и отец Гольдмана с большой осторожностью, как предметы ритуального обихода, расставил их на одной из полок черного буфета, а потом закрыл за ними зеленое стекло, и с этого момента сервиз стал украшением дома, символом его тайных надежд и свидетелем многих тревог, вот так, за стеклом, в сумраке буфета, он ждал того случая, когда, наконец, понадобится, но отец Гольдмана не нашел такого случая в течение двадцати пяти лет, кроме одного раза, когда они принимали в доме родителей красавицы Ямимы Чернов, пришедших познакомиться, и сервиз тогда разбился, так и не дождавшись своего часа, а Стефана боялась его с первой минуты, потому что знала, что ее ожидает, и только несла вместе с ним мучения, позор и скандалы, сопровождавшие разрушение сервиза, оно началось еще с дней Ехиэля и Шошаны Левенкопф, поселившихся, как постоянльцы вместо парня из Данцига, и продолжалось до самой смерти отца Гольдмана, тогда уже от этого шикарного сервиза остались только три блюдца и две чашки, в одной из них, с целой ручкой, Гольдман подносил кофе дяде Лазарю, когда они садились играть в шахматы. Дядя Лазарь неплохо играл и чаще всего выигрывал, он научился играть в Якутии, там большинство сосланных играли в шахматы фигурами, которые сами вырезали из кусков дерева, но кроме шахмат дядя Лазарь научился там многим полезным вещам, которым никогда бы не научился, если бы не попал в Якутию, например, говорить по-русски и на якутском, охотиться, ловить рыбу под толстым слоем льда, есть живых рыб, зажигать огонь без спичек и под сильным ветром, выживать в страшный мороз, водить собачьи упряжки и ориентироваться по звездам в необъятной тундре, и еще узнал важные тайны о животных, о природе и человеке, и это прибавилось к тем урокам жизни,

выученным, когда он воевал в Испании. В игре ему помогало то, что он был человеком с железной волей и умением мыслить сосредоточенно и организованно, о чем дядя Лазарь говорил с легкой иронией, мол, сосредоточенность досталась ему в результате ухудшения слуха, случившегося в Якутии, он почти оглох на одно ухо и слышал в нем только вечный звон, так что, когда они с Гольдманом беседовали, Гольдман должен был говорить громко. Их беседы были обычно коротки и обрывисты, велись как бы между прочим, между концом одной партии и началом другой, или после того как заканчивали играть, после чего дядя Лазарь вставал и переходил в гостиную, где некоторое время молча сидел в обществе Стефаны, ее губы были покрашены красно-фиолетовой неяркой помадой, затем прощался с ней, произнося «шалом» и «до свидания», а она, будто и не слышала его, говорила по-польски «Довидзенья», или по-русски: «Добрый вечер». В этих обрывистых разговорах дядя Лазарь делился порой своим опытом жизни и даже высказывал свое мнение о ней, и о разных делах, иногда вспоминал о войне в Испании, или о жизни в Якутии, там его взгляды прошли проверку и закалились, там он накопил жизненный опыт, приведший к сомнениям в пользе книг по философии и всякой мудрости, хотя он продолжал считать их необходимыми и относиться к учености с уважением, читал книги с удовольствием и воодушевлением и продолжал искать ответы на занимавшие его вопросы, подвергая сомнению всякие социальные теории, хотя и не отрицал их важности, особенно, если они касались определенных и реальных проблем, в любом случае он избавился от вредного легковесного оптимизма и уже не верил, как некогда, что можно изменить человеческую природу, сделать человека лучше и рассудительней, разве что очень медленно и путем гигантских усилий, связанных с трудным и неоднозначным опытом проб и ошибок, принимая «темную сторону» души во всей ее неприглядности, как часть человеческой натуры, не отворачиваясь от препятствий и не чураясь сомнений, но стараясь верить, что можно исправить мир и сделать жизнь людей лучше, во вся-

ком случае нельзя прекращать попытки достичь этого, только не путем коммунизма, в коем он давно и глубоко разочаровался, и не путем анархизма, хотя по-прежнему считал, что это единственная осмысленная социальная теория, опыт научил его сомневаться в ее осуществимости, поскольку она не учитывает человеческую природу и строит свои утверждения на основе самых смелых и оптимистических фантазиях человеческой души; но и зная все это, он не сожалел о своей жизни с этой верой в неосуществимое, и о годах мучительных разочарований, с ней связанных, наоборот, при всей печали и трезвости, настигавших всегда после очередных увлечений, дядя Лазарь говорил с теплотой и гордостью о наивности и самоуверенности, лишенных всякой расчетливости, ради которых принес в жертву половину своей жизни, а однажды, будто кстати, заметил, то ли серьезно, то ли иронично, что, в конце концов, у каждого человека есть своя стезя жизни, своя судьба, от которых не уйти, и Гольдман, на миг, смутившись, возразил: «Можно покончить с собой», и улыбнулся, а дядя Лазарь сказал: «Это часть игры», Гольдман продолжил: «Если так, то можно сказать, что все – часть игры», а дядя Лазарь сказал: «Верно», Гольдман возразил, мол, это не звучит убедительно, это не мировоззрение, а вера, а дядя Лазарь улыбнулся туманной улыбкой, быстро исчезнувшей, и продолжил расставлять на доске шахматные фигуры, Гольдман, помолчав с минуту, спросил его, думал ли он хоть раз покончить с собой, и дядя Лазарь сказал: «Да. Однажды», а потом улыбнулся и сказал: «Но я этого не сделал», и добавил: «Почти каждый хоть раз думал об этом», и Гольдман, он тоже стал расставлять фигуры, спросил его, относится ли он отрицательно к самоубийству, и дядя Лазарь сказал, «Да, но вопрос поставлен неправильно», Гольдман спросил: «Почему?», дядя Лазарь не ответил, только передвинул королевскую пешку на две клетки вперед, а Гольдман, все еще ожидая ответа, передвинул свою королевскую пешку на две клетки вперед и сказал, что согласен с мнением, что самоубийство – самое полное выражение свободы жизненного выбора, свободы отказаться от самой жизни и

выбрать то, что является ее противоположностью, то есть смерть, и дядя Лазарь, спокойно его выслушав, сказал: «Это напомнило мне того инженера, я забыл как его зовут, ну ты знаешь», «Да, я тоже забыл», откликнулся Гольдман и отвел глаза от дяди Лазаря, который передвинул коня, Гольдман в ответ выдвинул на одну клетку ферзевую пешку, и через несколько ходов сказал, что если человек не может поверить в Бога и в бессмертие, самоубийство превращается для него в необходимость, от которой невозможной уйти, а дядя Лазарь посмотрел Гольдману в его серо-голубые глаза и сказал, что это уже точка зрения человека верующего, или имеющего глубокую необходимость в вере, или она результат наблюдения того хаоса, страданий и несправедливости, царящих в мире, но что касается его самого, то он свободен от таких склонностей, несмотря на то, что если трезво посмотреть на его жизнь, и на события, которые он пережил, то они, казалось бы, обязывают его стать абсолютным нигилистом, или прийти к выводу, что действительно существует что-то, что можно назвать «богом», или провидением, или «высшей силой», управляющей миром какими-то тайными путями, но, несмотря на все это, он был и остался атеистом, но при этом, если сказать просто, самоубиваться не собирается, не чувствует в этом никакой необходимости или обязанности, даже принципиальной, и не видит никакой необходимости прорвать ограду жизни и осуществить до конца свою свободу, смертию смерть поправ, он принимает эту жизнь и принимает смерть, как ее часть, после этого на короткое время воцарилось молчание, Гольдман перевел своего коня, нападая на слона дяди Лазаря, и сказал, как бы отвечая самому себе, что то самое, чего мы в глубине души боимся больше всего, происходит все время, а через минуту посмотрел на дядю Лазаря и добавил, вновь будто отвечая самому себе, что когда это, в конце концов, приходит, то приходит в особенно обидной форме и в совершенно неподходящий момент, а дядя Лазарь, стараясь не смотреть на Гольдмана, и почему-то с легким раздражением сказал: «Не знаю, но мне кажется, что нужно очень много пройти, чтобы это сказать». Через несколько

дней дядя Лазарь, отложив вечернюю газету и осторожно подвигая к себе чашку кофе, принесенную Гольдманом, сказал, что иногда кажется, что газеты редактируют черти, он при этом улыбнулся, пригубил кофе и, немного поразмыслив, добавил, что нет ничего удивительного в том, что люди, учитывая весь абсурд существования, все страдания и преступления, необъяснимые и бессмысленные, и особенно — смерть, нуждаются в тайне, называемой «богом», то есть, можно сказать что «бог» это прежде всего функция страдания и смерти, а поскольку страдания и смерть вечны, то и он вечен, хотя он мог бы представить это дело наоборот, и сказать, что раз страдания существуют и человек так и так обречен умереть, какая ему разница есть бог или нет. Гольдман подождал пока дядя Лазарь закончил свое рассуждение и спросил его, боится ли он смерти, а дядя Лазарь, на миг смутившись, сказал: «Как каждый человек», и сразу продолжил: «Иногда я думаю о ней. Все-таки я уже не молод. Но, возможно, раньше я о ней думал чаще», а Гольдман, усевшись на свое постоянное место, сказал, что по его мнению, можно избавиться от страха смерти, дядя Лазарь спросил: «Как?», и Гольдман сказал, что этого можно достигнуть, постоянно тренируясь, приготавливая себя к встрече с ней: стремиться к ней и стараться все время думать о ней, и таким образом к ней привыкая, в связи с этим он припомнил Монтеня, что тот рассказывал, как «тренируется в постели», то есть каждый раз, когда засыпает, или болеет, или теряет сознание, представляет себе свое состояние как «маленькую смерть», и такого рода постоянные представления помогают успешно воспринимать «малую смерть» без страха, а кроме того, добавил Гольдман, он согласен с тем, что философия, в сущности, есть подготовка к смерти, и если она исправно служит своей задаче, то может научить человека принять смерть и идти ей навстречу без страха, и даже с радостью, и напомнил мнение Сократа, что настоящие философы стремятся только к тому чтобы умереть, стать мертвыми, и поэтому смерть страшит их гораздо меньше, чем остальных людей. Дядя Лазарь, хмыкнув, заметил, что слова Монтеня

очень любопытны, но тут же посерьезнел и сказал, что по его мнению, нельзя подготовиться к смерти никоим образом, во всяком случае, его лично больше всего тревожит неизбежное, абсолютное и окончательное расставание, которое несет смерть, а Гольдман сказал, что отдал бы все на свете, чтобы жить тысячу лет и больше, но он боится, что это желание безнадёжно. Дядя Лазарь ласково улыбнулся, и Гольдман сказал полусерьезно-полунасмешливо, что можно продлить жизнь с помощью правильной диеты, сохраняющей ткани и кровь, и худощавость, и с помощью спорта, и рассказал дяде Лазарю о новой диете, которую обнаружил в американском журнале для авиалиний, он скоро начнет следовать ее правилам, похвастался, что каждое утро, летом и зимой, купается в море, и каждый день занимается гимнастикой минут десять, по программе «Бульворкера», и дядя Лазарь, хлебнув кофе, спросил: «Что это “бульворкер”», тогда Гольдман зашел в свою комнату и вернулся с «Бульворкером» и страницей старого номера, где было большое объявление о пользе, особенностях и целях спортивного снаряда, вид и величина которого вызвали улыбку на круглом лице дяди Лазаря, обычно неулыбчивого, Гольдман протянул ему журнал и в том же стиле, полусерьезно-полунасмешливо, предложил прочитать, и дядя Лазарь, пощупав пальцами «Бульворкер», взял его в руки, одел очки и пробормотал объявление, занимавшее почти треть страницы. В верхней части объявления, слева, выделялась картинка мужчины с сильно развитыми мышцами, держащего в руке «Бульворкер», а рядом с картинкой было написано: «Жан Текасье, “мистер Франция”, представляющий один из семисекундных легких упражнений, с помощью которых он достиг этого звания». В нижней части объявления, справа, была картинка еще одного мощного мужчины, улыбающегося во весь рот, и рядом было написано: «Жан Перлон демонстрирует, как он с помощью “Бульворкера” увеличил бицепс на пять сантиметров, окружность груди на десять сантиметров, а окружность бедра на 3 сантиметра всего за несколько недель». И во главе объявления красовалась надпись: «Когда в последний раз ты действительно

был в форме?», а ниже, между двумя картинками, расположилось само объявление следующего содержания:

Даже если ты не собираешься накачать могучие мышцы, ты обязан держать себя в форме. Это печальный факт в жизни многих мужчин: они вдруг находят себя ослабевшими и постаревшими, и значительно раньше возраста седин. Но сегодня, благодаря новейшей системе тренировок, держать себя в форме – вполне посильная задача, и даже легче чем когда бы то ни было. За время меньшее, чем тебе требуется для бритья по утрам, «Бульворкер» превратит твоё тело в предмет зависти мужчин и восхищения девушек. Всего за пять минут в день твои руки огородного пугала станут рельефными и сильными, сморщенная грудь превратится в выпуклую и мужественную, жалкое брюшко – в крепкий живот, опущенные плечи – в крепкие и широкие, ноги из спичек – в могучие и стройные колонны. Жан Такасье («мистер Франция» и консультант по вопросам культуры тела) рассказывает, что надо делать.

Вопрос: Что такое, в сущности, «форма»?

Ответ: Для здоровых людей спортивная форма это часть культуры тела. То есть регулярные тренировки мышц. Задача: придать мышцам бодрость, эластичность и рельефность.

Вопрос: Как определяется «плохая форма»?

Ответ: Зависит от возраста. Если Вы ещё в первых десятилетиях своей жизни, цель – физическое развитие. Если Вы в продвинутом возрасте, первые признаки потери формы это накопления жира, вялость, недостаток энергии. После сорока тело слабеет и расплывается.

Вопрос: Вы говорите о ширине талии?

Ответ: Нет. Каждый может правильными и регулярными упражнениями убрать несколько сантиметров в объеме талии. Но даже если ты подтянул талию, то наверняка заметишь «резиновые шины» над талией и ниже талии.

Вопрос: То есть с помощью спорта я не смогу полностью поправить положение?

Ответ: Конечно, можете. Если будете регулярно тренироваться три-четыре раза в неделю по часу и в течение определенного периода времени.

Вопрос: И все? А более простым образом?

Ответ: Можно проще и удобнее, и гораздо, гораздо быстрее. Это особо эффективная система и она обязательно приносит плоды.

Вопрос: У этой системы есть название?

Ответ: Да, есть название: «система тренировок Бульворкер». Она основана на изометрических техниках и доказала себя: действует в три раза быстрее, чем любые спортивные занятия в спортзалах. На мой взгляд, это самая передовая из всех существующих систем тренировок.

Вопрос: И сколько времени занимает процесс?

Ответ: Первоначальная программа состоит из 17 упражнений и требует чуть больше минуты в день. Более продвинутая программа предусматривает занятия по пять минут в день.

Вопрос: И через какое время можно наблюдать результаты?

Ответ: С первого дня. Именно так. К программе «Бульворкер» прилагается измеритель силы, автоматически отмечающий увеличение вашей силы каждый день. Рост силы по 4 процента в неделю.

Вопрос: Сколько времени проходит, когда изменения становятся наглядными?

Ответ: От десяти дней до трех недель, в зависимости от Вашей последовательности и упорства.

Вопрос: «Последовательности»? «Упорства»? Придется попотеть?

Ответ: Нет. Все преимущество изометрии в том, что ты тренируешься каждый раз только минуту и не допускаешь перегрузки мышц, в отличие от утомительных «ударных» программ, способных больше навредить, чем оказаться полезными. Программы «Бульворкера» соответствуют личным показателям и всегда, абсолютно всегда, будут казаться легкими тренировками, потому что с каждым днем физическое состояние становится все лучше и лучше.

Дядя Лазарь, с его лица не сходила улыбка, дочитал объявление и сказал Гольдману, что тут ничего не сказано о продлении жизни, а только об укреплении тела и сохране-

нии физической формы, Гольдман, он тоже не переставал улыбаться и во время чтения не сводил глаз с дяди Лазаря, возразил, что укрепление тела и сохранение физической формы тоже важное дело, и прямо или косвенно влияет на продолжительность жизни. Дядя Лазарь бросил взгляд на Жана Текасье, «мистера Франции» и авторитетного консультанта по вопросам культуры тела и спросил: «Ну, и на сколько лет это продлевает жизнь?», снял очки и добавил: «В любом случае не на тысячу», и легкая, застенчивая улыбка еще минуту держалась на его лице, но растаяла, и оно снова стало серьезным и тяжелым, Гольдман подтвердил: «Нет, не на тысячу», а потом продолжил: «Я слышал о таблетках для похудения», он все еще держал в руках «Бульворкер» и поиграл журналом, вглядываясь в лицо дяди Лазаря, оно сильно отличалось от лица его отца, но, несмотря на это, будто из упрямства, напомнило ему о нем, и на миг пробудило в нем желание спросить дядю Лазаря о причинах вражды, царившей между ним и его отцом, почему они так и не помирились, но он этого не сделал, потому что каким-то непонятным образом знал причину, и она странным и запутанным образом соединилась в его сознании с причиной, по которой его отец убил Нои Сомбре, и пока дядя Лазарь просматривал глазами газету, его вдруг наполнило чувство жалости к его суровому и несправедливому отцу, и даже тоска по нем, хотя он никогда не любил отца, тот оставил по себе только странное чувство гордости за смертельную прямооту и очень мало добрых воспоминаний, кои можно было воскресить, вытащить из тьмы забвения лишь чрезвычайным усилием, и только одно воспоминание иногда всплывало по своей воле: однажды, в яркий субботний день, когда он был еще ребенком, отец взял его на море, небо было удивительно голубым, солнце ласково желтым, воздух прозрачным, а мир – праздничным и просторным, был еще ранний час, когда они вышли из дома в странную тишину улицы, только птицы, быть может, тысячи птиц копошились и весело пели хором в бугенвиллях, кипарисах и фикусах, отец держал его своей крепкой рукой, они медленно прогуливались вдвоем по белым пескам, рас-

кинувшимся под куполом неба, манившим упасть на них, покатиться, а потом лежать часами без движения, отдавшись легкому ветерку, солнцу и времени, текущему незаметно, а когда вышли к морю, оно вдруг открылось его взгляду во всей красе, синее, тихое и бесконечное, и, спустившись, они бросили одежду и полотенца – Стефана не была на море ни разу, – и подошли к краю воды, почти недвижному, без обычных звуков и накатов прибоя, и отец, у которого было хорошее настроение, показал загорелой рукой на горизонт, где небо почти незаметно соединилось с морем, и сказал, что там есть прекрасные страны, Италия, Франция, Англия, Голландия, и если пересечь это море, можно до них добраться, и они вошли в море, сначала двигаясь осторожно, на отце был черный купальник, а ноги были на удивление очень белыми, и когда вода стала по пояс, отец остановился и взял его за руку и крепко сжал ее, вновь и вновь предупреждая, чтобы не заходил далеко, и он почувствовал беспокойство, почувствовал вдруг в этой тревоге за его здоровье и жизнь беспомощность отца и собственный великий, непобедимый страх, наполнивший его при виде тихого колыхания моря, почувствовал темную силу, заключенную в этой бесконечной воде, которая может в любой момент и без всякой причины вырваться и все поглотить, и так они стояли, пока отец не сказал: «Хватит. Давай выйдем и позагораем», они повернули обратно, и отец вдруг сказал: «Жаль, что мама не пошла с нами», и они вышли на берег, еще прохладный, и побежали вдоль него, а когда вернулись, встретили Моше Цеймера, его жену и двух маленьких детей, и отец с Моше Цеймером стали говорить о политике, а жена Моше Цеймера растянулась на песке и лежала с закрытыми глазами, не обращая внимания на детей (они рыли яму в песке рядом с морем), отдавая свое большое тело солнцу, и тогда, нет сомнений, что это было именно в ту субботу, через некоторое время появилась Каминская в белом летнем платье, с Нои Сомбре, и медленно пошла вдоль моря, удаляясь от них, Моше Цеймер сказал: «Глянь на нее, на эту артистку», отец Гольдмана бросил: «Видеть не хочу. Блядища», Гольдман, слово «блядища»

ударило его как гром, остался стоять рядом, но боялся посмотреть на отца, а потом они снова зашли в море с Моше Цеймером и долго бултыхались в мелкой воде, Гольдман захотел немного отдалиться, но отец не дал ему, и он, все еще глядя на дядю Лазаря, сказал: «Говорят, что таблетки для похудения неплохо действуют», дядя Лазарь вернул журнал и повторил, что не смерть волнует его, а страшный процесс разрыва и расставания, потому что в нем воплощаются суть жизни и главная ее печаль: трудно примириться с тем, что то, что было одним целым, рвется, рассыпается и пропадает навеки и безвозвратно, как разбегающиеся галактики, которые улетают друг от друга в просторы вселенной, пропадая навсегда в ее темных, бесконечных глубинах пространства и забвения. Гольдман сложил журнал, а дядя Лазарь, раздавив пальцем хлебную крошку на столе, вдруг спросил, сколько лет было Наоми, когда она умерла, Гольдман сказал: «Около двадцати пяти», и дядя Лазарь спросил: «Когда это случилось?», Гольдман, он не мог вспомнить в этот момент точную дату, сказал: «Летом. Дорожная авария», дядя Лазарь немного помедлил, как будто собрался еще что-то спросить, но не спросил, они расставили фигуры на доске и сыграли еще две партии, а когда закончили, дядя Лазарь взял свою сумку и вышел гостиную, попрощался со Стефаной, поскольку это была пятница, и он еще собрался навестить мать, Гольдман предложил спуститься с ним и проводить его часть пути, они вышли вместе и прошли почти до дома Шмуэля и Брахи, те, как обычно, уже ждали дядю Лазаря и встретили его с радостью. Дядя Лазарь положил свою сумку у входа и вошел в комнату, где лежала баба Хава, похожая на мумию, под пуховым одеялом, посидел около нее некоторое время, потом тихо вышел и зашел на кухню, Браха поинтересовалась как у него дела, как поживает Юдит Тенфус, не хочет ли он перекусить, дядя Лазарь сказал: «Нет, нет, Юдит меня ждет», но Браха уже поставила на стол тарелку паштета и кусок селедки, затем маленькую тарелочку хрена собственного производства и кусок холодца, свежий плетеный хлеб и стакан кефира, а потом, на закуску, стакан чая и ку-

сок пирога, из тех, что готовила для субботней игры в рамми, а Шмуэль, который в последнее время почти расстался со своими кудрями, располнел и отрастил животик, сидел напротив него и тянул коньячок, играя позолоченным брелком для связки ключей, а пока дядя Лазарь ел, рассказывал ему про свою фирму проката машин и о планах создать фирму авиаперевозок для небольших групп туристов внутри страны, и еще вложить деньги в сеть магазинов, торгующих сувенирами. Дом, был обставлен с шиком, но безвкусно, блестел чистотой, на плите в кухне уже стояла огромная кастрюля с чолнтом для субботнего ужина, к нему почти всегда присоединялись Илана с мужем-адвокатом и их трое детей, а иногда и Ури с женой и дочерью, а кроме того, время от времени приходили отец Шмуэля, когда был жив, двое-трое родственников, друзей и знакомых, но Арона с женой Браха не приглашала ни разу, и не только из-за той истории с мясным магазином, хотя и ее было достаточно, но прежде всего она не могла забыть того, что Арон избил Шмуэля за тот долг, и это она не собиралась ему прощать, несмотря на просьбы Шмуэля. Все сидели в гостиной вокруг большого круглого стола с дорогой фарфоровой посудой, Браха подавала в ней трапезу, в изобилии и чудесно приготовленную, при этом она все время побуждала гостей попробовать то или иное блюдо, положить еще, хотя и знала, что медицина против обжорства, и гости уминали эти гигантские количества еды без всякой к себе жалости, а потом с большим трудом вставали из-за стола и, еле-еле передвигаясь, тащились домой, только Шмуэля, страдавшего от повышенного давления (врачи советовали ему поменьше курить и сбросить вес) Браха пыталась удерживать от кулинарных излишеств, но без особого успеха, в конце он еще выпивал бутылку содовой и замертво падал на диван, заснув тяжелым сном, еще до того как Браха начинала убирать со стола посуду, и даже до того, как гости успевали разойтись.

Стол в гостиной, куда дядя Лазарь перешел, чтобы выпить со Шмуэлем чаю, был уже накрыт для рамми и готов принять игроков, обычно человек двадцать, среди них был и

отец Гольдмана до его смерти, и какое-то время – Моше Целермеир. Они играли по маленьким ставкам, Шмуэль был единственным, кто пытался, к неудовольствию остальных, ставить большие суммы, к нему иногда присоединялась Сара, жена Ионы Качинского, но кроме моментов напряга, возникавших из-за отца Гольдмана с его ненужными и раздраженными спорами, игра всегда шла в приятной обстановке и сопровождалась сплетнями, смехом и легкой болтовней, а заканчивалась далеко за полночь, гости расплачивались, вставали, потянувшись, из-за столов, прощались с хозяевами и удовлетворенные расходились по домам, а Браха, она весь вечер заботилась о том, чтобы игроки не забывали закусь и выпить, собирала оставшиеся пироги, печенье и фрукты, возвращала их на место, очищала пепельницы и собиралась мыть посуду, она всегда делала это охотно, хотя была уже усталой и время поздним, Шмуэль в это время собирал карты по колодам и складывал их в шкафу. Дядя Лазарь спросил, как дела у Амоса в Америке, Шмуэль сказал, что пару дней назад они получили от него письмо, где Амос пишет, что успешно продвигается в своей фирме и собирается купить дом, о возвращении в страну речь уже не идет, ясно, что он там останется с женой и детьми, и это их с Брахой огорчает, больше всего Браху, и уже несколько недель как они не навещали Стефану, после того как почувствовали, что их визиты нежелательны, Браха спросила дядю Лазаря, как Стефана себя чувствует, как Гольдман, а последний медленно шагнул вдоль улицы Алленби, которая была в это время пуста, ни машин, ни пешеходов, все магазины закрыты, погруженная в спокойную печаль субботних вечерних сумерек, а он – в уют этого вечера начала субботы и в свою любовь к городу, в котором родился и вырос, она охватывала его лишь изредка, в минуту печали, чистая, незамутненная. Он дошел до бульвара Ротшильда, руки за спиной, взгляд скользит по витринам, остановился и несколько минут постоял, с радостью глядя на деревья, полные птиц, на людей, спешащих в синагогу, празднично одетых, с пакетом книг в руках для чтения и молитвы, потом тронулся с места и пошел обратно,

а когда поравнялся с «Барклейс Банк», увидел Наоми, сестру, которая шла ему навстречу, он узнал ее издалека по росту и по походке, и на миг его охватило волнение, он не мог оторвать от нее глаз, пока она не прошла мимо с рюкзаком за спиной, выглядела как туристка из Америки, а когда прошла, он обернулся и проводил ее долгим взглядом, потом продолжил движение вдоль улицы, она затуманилась в сумраке, дело было в июле, двенадцатого июля, хотя сообщали им только три дня спустя, при ней не было документов и трудно было установить личность, сразу после того как отец Гольдмана пришел с работы и сидел, разувшись, на кухне, раздраженно поедая обед, приготовленный Стефаной, это случилось через несколько лет после того как Наоми вернулась из Александрии, Гольдман повернул и начал спускаться по Кинг Джордж, так что он с трудом мог себе представить ее среди мечетей и пальм, восточных колониальных зданий, моря и запахов пряностей, плесени, пота и духов, прошел, не задерживаясь мимо бывшего магазина Авраама Шехтера, потом мимо маленького кафе рядом, где подрались Шмуэль с Ароном, налетевшим на брата в безудержном гневе, это произошло в полдень, улица была полна народу, и жестоко избил его, так что рубашка Шмуэля, который даже не пытался сопротивляться, была порвана в клочья и кровь текла ручьем из носа и рта, но Аарон не успокоился и понадобились трое мужчин чтобы остановить его, а он все еще кричал: «Мои деньги! Вор! Паразит! Подожди, я проучу тебя!», а потом ушел, а Шмуэль встал на ноги и стоял, лицо залито кровью, не зная, что делать, потому что позора было больше, чем боли. Гольдман свернул на Раши, с неё – к маленьким улочкам, и зашагал легкой походкой, радуясь тишине, прогулке и пейзажу, смерть Наоми была связана в его памяти с внезапной напряженной тишиной, воцарившейся в доме и накрывшей всех входящих и выходящих, все их движения и производимый ими шум, ему хотелось броситься на кровать у стенки и спрятаться под одеялом, чтобы никто его не трогал, но это было невозможно, и он был вынужден слоняться между кухней, гостиной и своей комнатой, и только иногда уда-

валось уединиться в ванной, или на балкончике кухни, затем он пересек площадь Дизенгоф, продолжил переулками, пока не достиг дома Диты и поднялся к ней; Дита уже приняла ванну и оделась к субботе, во всем были порядок и чистота, набросила на стол скатерть, поставила посуду, приборы и бутылку белого вина и подала приготовленный для них двоих субботний ужин, с годами это стало у них традицией. После ужина Гольдман полистал газеты, а Дита, она была в хорошем настроении, тем временем помыла посуду, потом они смотрели телевизор, иногда переговариваясь, но для Гольдмана (приятный покой, окутавший его, когда он гулял по улицам, испарился пока он поднимался по ступеням) от их отношений остались только несколько украшений вроде субботней трапезы и всякие раздражающие обязательства, превращавшие каждую встречу в тягостную озабоченность, не говоря уже о скуке, и он знал, что это непоправимо, но не находил смелости положить конец этой пытке; когда закончились телепрограммы, он еще некоторое время посидел в напряжении, а потом встал, попрощался с Дитой, она не стала его удерживать, и вернулся домой, там он нашел Стефану, она еще сидела в гостиной в компании Юдит Майзлер, одетая в одно из своих старых шикарных платьев, и на миг напомнила свою мать, высокую и стройную, которая говорила только на идиш и по-польски, и одевала только шелковые или вязанные шерстяные вещи, и также как лицо матери, умершей в том возрасте, в котором была сейчас Стефана, ее лицо было замкнуто и чем-то недовольно, а сейчас и надменно, она будто с каждым днем удалялась от всех: уже совершенно игнорировала годовщины смерти отца Гольдмана, ни разу не навещала его могилу и вообще ни разу и ни словом не упоминала о муже, и все это без усилия или гнева, а как-то само собой, естественно, как будто она никогда и не была за ним замужем, и с той же естественностью продолжала, и все чаще, украшать себя старой роскошью из шелка и бархата, что так шли ей, стала читать книги по-польски и говорить по-польски почти с каждым, кто заходил в гости, на литературном, аристократическом польском, и не обратила внима-

ние на тяжелую аварию, в которую попала Матильда Левитан, машина наехала на нее, когда она переходила дорогу, и Матильда несколько недель лежала в больнице, а потом дома, Стефана ни разу ее не навестила, ее и в самом деле никто не интересовал, и она ни к кому не чувствовала привязанности, только к Юдит Майзлер, и в какой-то мере к Наоми, а в последнее время к брату Янеку, вечному гуляке в заостренных ботинках «шевро» и вышитых рубашках, в облаке духов и одеколона, любителю записных красоток и перзрелых красавиц, доброму и глупому, никогда не прочитавшему ни одной книги, считавшему себя поляком и мечтавшему попасть в «высший круг», походить на «элисту», хотя бы по части украшений и кокетливого безделья, в то последнее лето перед войной, с тех пор они уже не виделись, на его красивой даче, он катал их на катере по реке и гулял с ними по лесу, Гольдману было тогда лет девять, Наоми осталась в Стране, а вечером он танцевал с женщинами, и не было никого, кто танцевал бы лучше, и еще был ловким картежником, пока война не поглотила его, и он исчез, а теперь являлся из бездны забвения, окруженный любовью, и Стефана с нежностью и сожалением вспоминала о нем с Юдит Майзлер, единственным человеком, с кем она охотно, иногда даже с радостью, общалась, тогда как ко всем остальным членам семьи, или просто знакомым и соседям она относилась с полным и не скрываемым равнодушием, и постепенно ее перестали навещать, только вдова Цеймера, которая не отличалась чувствительностью и иногда заходила, и дядя Лазарь, и Моше Целермеир, всегда потный и немного испуганный, он по доброй памяти, не замечая холодного приема и презрительности, а то и насмешки Стефаны, никогда не забывал принести с собой бутылку хорошего вина или коробку конфет, или цветы, всегда интересовался ее самочувствием, хотя знал, что больше неопределенного движения головы или двух ничего не значащих слов ему не достанется, но он не сердился на нее, даже в сердце, только глядел с почтением, а в последние дни с тревогой, пока однажды не набрался храбрости, уже не мог сдерживаться, и, уходя, задержался в

коридоре, сжал Гольдману руку и почти шепотом сказал ему, что кажется, его мать не совсем здорова, и Гольдман, он был один из немногих, с кем Стефана еще разговаривала на иврите как в старое доброе время, кивнул головой и сказал: «Да. Возможно», хотя для него это не было новостью, он давно подмечал изменения, присходящие со Стефаной, но сначала предпочитал не обращать на них внимания, а потом решил отнестись к этому как к факту, который его не касается, и приучил себя оставаться равнодушным к ее заскокам, утешаясь тем, что так или иначе скоро оставит дом. Дядя Лазарь тоже в начале делал вид, что ничего не происходит, считая, что не вполне обычное поведение Стефаны – проблема ее характера и личного вкуса, и, может быть, некоторой, не очень приятной эксцентричности, но когда Стефана стала красить губы и щеки красным и все больше углублялась в свою отчужденность, он осторожно заметил Гольдману, что, может быть, стоит с кем-нибудь посоветоваться. Гольдман выслушал его, но не сказал ничего вразумительного, поскольку не собирался ни с кем советоваться, он решил оставить мать в покое, пусть делает все что ей вздумается, пусть живет со своим сумасшествием, если она сумасшедшая, как бы это ни злило его, как бы ни было отвратительно, с каждым днем он все больше привыкал к этому ее состоянию и даже стал видеть в нем естественное жизненное проявление, иногда ему казалось, что такой она была, в сущности, всегда, и этим даже вызвала в нем что-то вроде понимания, но без сочувствия, а Стефана не обращала внимание ни на что, она все больше замыкалась в себе и проявляла абсолютное равнодушие ко всему что ее окружало, а в августе пришло письмо от Манфреда, посланное из Лондона, и целую неделю пролежало на буфете в гостиной, пока она его не открыла и не прочла, а потом равнодушно положила в шкаф на кухне и пошла готовить обед Гольдману, он остановился у входа и звонил Израэлю спросить, не мог бы тот поехать с ним завтра после полудня на кладбище, он собрался посетить могилу отца, и Израэль сказал: «Да, конечно», Гольдман сказал: «Нет сил ехать одному, но ты не обязан», Израэль сказал:

«Все нормально», на завтра они встретились и отправились на Центральную автобусную, чтобы оттуда доехать до кладбища, с утра небо над городом закрыло облако суховея из взвеси песка и пыли, оно все густело, а когда они прибыли на Центральную автобусную станцию, погруженную в горячий воздух, грязный от дыма и выхлопных газов, Гольдман не повернул на остановку автобусов на Холон, а стал прокладывать себе дорогу сквозь плотную толпу мокрых от пота людей к остановке на Кирьят Шауль. Израэль, шагавший за ним вслед, спросил его об этом, и Гольдман, напряженный и раздраженный из-за множества народу и духоты, сказал ему, что все в порядке, и продолжал пробиваться к остановке, где встал в очередь, но когда они поднялись в автобус и сели, Израэль не выдержал и заметил, что как ему кажется, отец Гольдмана похоронен в Холоне, а не в Кирьят Шауль, и Гольдман, смахнув пот с лица, подтвердил и добавил, что, как выяснилось, из-за административной путаницы его отца поменяли на какого-то другого Гольдмана, и похороны в Холоне были ошибкой, и поэтому его вытащили из могилы, где-то неделю назад, и перезахоронили в Кирьят Шауль, где первоначально должны были похоронить, именно поэтому он и едет туда, надо проверить, все ли сделано как надо: могила, и памятник. Проверка не заняла много времени, и когда на обратном пути ждали автобуса, еще было светло, но это уже был странный, как сквозь легкий дым, свет ранних сумерек, без теней, проникавший сквозь облако пахучей взвеси, скрывшей солнце за красно-серо-коричневой пеленой цвета пустыни, она окутала движущиеся в тумане электрические столбы, деревья, телевизионные антенны и отдаленные дома, превращая их в неясные призраки, летящие в пыльном, горячем, замутненном воздухе, будто застывшем, не дающим дышать, а когда прибыли в город, вечер уже спустился, он наступал медленно, почти незаметно, как будто дневная замуť постепенно сгущалась, но по дороге от Центральной автобусной они решили пройти пешком, вдруг открылась сквозь толщу мути полная луна, поспешившая взойти, она выглядела как серый восковой круг. Гольдман поблагодарил

Израэля, что проводил его и пригласил подняться, выпить что-нибудь, но Израэль, мокрый и грязный, поспешил вернуться в студию, принял душ, переоделся и сел играть, но вскоре услышал шаги Цезаря на лестнице и сразу разозлился, а через несколько минут вошел Цезарь, источавший пот и тяжело дышащий из-за жары, духоты и подъема по ступеням – он еще и располнел в последнее время и стал больше курить – , снял с себя тяжелую камеру, вытер мокрым платком очки и лицо, опавшее и потухшее, и спросил, не звонил ли кто, Израэль сказал: «При мне было четыре звонка», и Цезарь, он никогда раньше не выглядел таким уставшим, измученным и растерянным, сказал, что если это плохие звонки, пусть не рассказывает, потому что он убит и у него нет сил на плохие вести, Израэль сказал, что ему трудно судить какие звонки хорошие, а какие плохие, и пошел на кухню, поставить чайник для кофе, а Цезарь, продолжавший вытирать лицо, все еще источавшее пот, пошел за ним и спросил: «Кто звонил, говори уже», и Израэль рассказал, что было два звонка по работе, он записал имена и номера телефонов, они просили связаться с ними, как только сможет, третий звонок был от матери, она ничего не сказала, только просила передать, что позже перезвонит, Цезарь сказал: «Это точно по поводу Шалвы. Она сведет меня с ума», а четвертый звонок был от Вики, она просила передать, что уезжает на неделю, а когда вернется, позвонит, с тех пор как она вышла замуж, ему было запрещено ей звонить, Цезарь облокотился на рамку двери, казалось, он не расслышал слова Израэля, и выругался: «Пошли они все «кебенемать»³³, и кроме этого не проявил никаких признаков гнева, он продолжал стоять, усталый и отчаявшийся, совершенно равнодушно зажег себе сигарету, бросил спичку на пол и сказал: «У меня все плохо», и, помолчав минуту, добавил: «Но я убегу в Италию, или в Америку, не волнуйся», и вновь замолчал, встал у умывальника и принялся открывать и закрывать кран с водой, распространяя

³³ Израильское ругательство, произошедшее из созвучного русского.

облако дыма, пепел от сигареты, рассыпаясь, падал на его рубашку и на брюки, но Цезарь не обращал на это внимания; с тем же ощущением беспомощности он продолжал играть с краном, при этом бросил взгляд на Израэля, но тот не произнес ни слова, хотя чувствовал, как Цезарь ждет от него вопроса о том, что случилось, и почему у него «все плохо», он налил две чашки кофе и протянул одну Цезарю, оба стояли и пили в тишине, а когда закончили, Цезарь сделал только два-три глотка и поставил чашку на гранитную плиту кухни, а потом взял камеру и вошел в «темную комнату», чтобы проявить снятую пленку, а Израэль помыл чашки, сел за рояль и продолжил играть. Где-то через час Цезарь, измочаленный, вышел из «темной комнаты», и позвал Израэля посмотреть на снимки, Израэль поднялся с места, зашел во вторую комнату, оглядел фотографии ткацкой фабрики, развешанные для просушки, и выразил свое восхищение, Цезаря порадовало впечатление, произведенное на друга, и он сказал: «Да. Это хорошая работа», любовно посмотрел на снимки и заговорил о том, что хотел бы поработать в кино, Израэль сказал: «А что тебе мешает?», Цезарь сказал: «Да ничего, в сущности», и с выражением удовлетворения снова посмотрел на фотографии и обронил: «Я могу и на кого-то поработать, мне не важно», он отвернулся от фотографий, оперся на рабочий стол и вытащил из кармана рубашки новую пачку порнографических открыток, которые кто-то привез ему из Германии, быстро просмотрел их и сказал: «Смотри, что тут творится», и подытожил: «Неплохо. Но у меня – больше», закончив просматривать, добавил: «Может, начать фотографировать всякое такое? И удовольствие, и деньги», хмыкнул, вытер рукавом потное лицо, бросил порнооткрытки в один из ящиков и зажег себе сигарету: «Хорошо. Она разводится, эта блядь», Израэль спросил: «Кто?», Цезарь, его лицо снова стало усталым и серьезным, посмотрел на Израэля и сказал: «Элиэзра», и тут же добавил: «Как раз сегодня она рассказала мне это, блядь такая, что все уже кончено. Что ты на это скажешь? Они уже взяли очередь в раввинат», бросил сигарету на пол и раздавил ногой. Израэль

упрямо молчал, Цезарь посмотрел на него с ожиданием, но Израэль продолжал молчать, и Цезарь, вдруг обессилев, налил себе полстакана виски и поведал, что Элизра разводится под его обещание жениться, но это обещание она выжала из него силой, а он, когда давал его, был уверен, что до выполнения дело не дойдет, во всяком случае, не так быстро, но если она все-таки разведется, он бы дал миллион, чтобы этого не произошло, не сейчас, по крайней мере, он окажется в ужасном положении, потому что будет вынужден выбирать между ней и Теилой, а это как раз то, что он не хочет и не может сделать, потому что и Теиле он обещал жениться, и они так хорошо дополняют друг друга: Теила домашняя, порядочная и верная, не капризная и этим дает ему чувство уверенности и покоя, не говоря уже о чувстве долга по отношению к ней, а Элизру он любит, она единственная к кому его влечет, и она каждый раз заново дает ему наслаждение, какое он ни с кем не испытывал, потому что у них идеальное сексуальное соответствие, и соответствие психологическое, и если поженятся, он в этом уверен, несмотря на все возможные трудности и перипетии, их жизнь будет сплошным праздником. Цезарь на минуту замолк и Израэль спросил: «Кого ты предпочитаешь?», Цезарь, он ждал другого вопроса, вновь посмотрел на него тем же взглядом беспомощной жертвы, но с долей разочарования и нетерпения, поиграл зажигалкой и сказал, что он предпочитает обеих, но если надо выбрать одну, то он предпочитает Элизру, хотя, на самом деле, не может отказаться и от Теилы, и зашагал взад-вперед по комнате, остановился у двери балкона, выходящего на улицу, а Израэль покрутил в длинных и сильных пальцах лист бумаги и сказал: «Иногда приходится жертвовать», Цезарь сказал: «Да. Я знаю», бросил взгляд на улицу и отозвался эхом: «Ты прав. Приходится от чего-то отказываться», но он был рассержен и в глубине души не мог понять, почему, в самом деле, нужно от чего-то отказываться, он не мог с этим согласиться, также как ни коим образом не мог примириться с тем фактом, что не все зависит от его желаний и потребностей и есть ситуации непоправимые или безвыходные, или

вещи недостижимые, и есть ситуации, когда нельзя сгладить противоречия и приходится принимать однозначное решение. Для Цезаря все это было надоевшими предвзятыми мнениями, и к тому же неоправданной и немотивированной жестокостью по отношению к нему, ведь жизнь, так он чувствовал, всегда должна была поддаваться его желаниям и радовать его, в основе его мироощущения жизнь была текущим, бесформенным материалом, и все в ней было возможно, ее можно было двигать вперед и назад, как фильм, куда он захочет, и он пытался оформить мир, в котором жил, в соответствии со своими желаниями и удобствами, во всяком случае, он считал что так должно быть, и поэтому не признавал никакой ответственности, кроме ответственности за удовлетворение своих страстей, а все обязанности и другие ограничения воспринимал как помеху, или намеренную злобредность; он посмотрел на Израэля с вызовом и сказал: «Но как я ее оставляю? Просто скажу “пока” и уйду?», Израэль покачал головой, и Цезарь, он выглядел разочарованным и рассерженным, пошевелил пальцами ноги и сказал: «Она покончит с собой», и выбросил сигарету, которую только что зажег, в окно, вновь заговорил, что это будет дикой жестокостью по отношению к Теиле, а он ей многим обязан после того как жил у нее, и жил с ней, как с женой, она из-за него поссорилась со своей семьей и, наверное, пропустила много возможностей выйти замуж, о ее аборте он не рассказал, даже не намекнул, хотя прекрасно об этом помнил, но Израэль не смягчился и, продолжая крутить лист бумаги между пальцев, возразил: «Она не покончит с собой. Но если ты так думаешь, то оставь Элизру и женись на ней», Цезарь посмотрел на него рассерженно и возмутился: «Но я люблю Элизру», после чего воцарилось молчание, Цезарь хлебнул виски и снова стал метаться по комнате, остановился возле письменного стола, повернулся к Израэлю и сказал: «В ней что-то есть, в Теиле. Во всяком случае, она как-то на меня действует», и добавил: «Она – человек», он произнес это с полной серьезностью, как бы продолжая внутренний разговор, помедлил немного, сдвинулся с места и, заматавшись по

комнате, обронил: «Запутался я с ней», рассеянно открыл и закрыл ящик стола и вдруг поведал с неожиданной откровенностью, что на самом деле никогда не любил Теилу и приходил к ней только чтобы с ней переспать, а когда пришел в третий или четвертый раз и она предложила ему остаться, он согласился, час был поздний и ему было удобней остаться, а переночевав у нее ночь-другую, это произошло недели через две, он уже остался у нее жить, и не потому что не было с кем переспать, а потому что одиночество его угнетало, он тогда жил один, в квартире, снятой после ухода от родителей, а еще и потому, что у нее всегда было что-то в холодильнике, и в ванной всегда было мыло и чистое полотенце, его одежда всегда лежала в шкафу стиранная и глаженная, Теила обо все заботилась, а кроме того, в силу своей работы часто была занята по вечерам и ночам, так что не давила на него, и он чувствовал себя свободно, последние слова он произнес, облокотившись на край письменного стола, и замолчал, а через минуту продолжил, что, в сущности, несмотря на трудности и препятствия, он бы женился на Элиззре, но он боится, что как хозяйка она не так хороша как подруга, и больше всего он боится, что она не будет ему верна, а кроме того побаивается Гидеона, действительно, если тот узнает, что у них была постоянная связь и «она разводится с ним чтобы выйти за меня замуж, он может меня застрелить». Последние, неприятные для него слова Цезарь произнес с настоящим страхом, который даже не пытался скрыть, и добавил: «Он хороший парень, Гидеон, но очень амбициозный и без капли юмора», потом добавил: «В сущности, все бы действовали также. И он тоже человек», бросил взгляд на фотографию девушки, которую повесил на стену, потом на Исраэля и продолжил: «Я не шучу. Он избил ее со страшной силой несколько дней назад», Исраэль продолжал молчать, а Цезарь принял еще глоток виски и сказал: «Знаешь, я его терпеть не могу. Он поц», посмотрел в окно на город, укрытый плотным облаком суховея, долго смотрел, и, как бы самому себе, произнес: «Кроме всего прочего у меня есть сын, я должен подождать со всем этим пока он не выздоровеет», после этого он уселся на табурет пе-

ред Израэлем и стал говорить, что если бы она уже была разведена, или хотя бы не разводилась именно из-за него, все выглядело бы иначе, но вместе с тем, заявил он, внезапно востепенувшись, он не намерен отказаться от Элиэзры и попытается убедить ее отложить развод до зимы, или до следующей весны, и тут взглянул на друга, пытаясь найти признаки согласия или понимания, но лицо Израэля осталось замороженным и запечатанным, и Цезарь, смущенный и обиженный, поиграл стаканом виски и сказал: «Я еще жемлюсь на ней. Ты увидишь», Израэль сказал: «Хорошо», Цезарь вновь остановился у двери на балкон и сказал, что по правде говоря, он не понимает, что плохого было до сих пор и почему Элиэзра должна разводиться, так же как он не понимает, почему он должен жениться только потому, что этим блядам вздумалось окрутить его, но у него самого нет в этом никакого интереса и настроения, он вообще не верит в институт брака, по общему мнению, это пережиток прошлого, запутанный и обанкротившийся, и единственная функция, которую он еще может с успехом выполнить, это убить любовь и бросить двух людей в пропасть взаимных унижений и обманов, как например, жизнь Филиппа и Зары, или жизнь его родителей, или родителей Гольдмана, или жизнь Рухамы и Авигдора, пока они не развелись, а кроме того, добавил, мужчина существо полигамное и останется таким, и нет никаких причин бороться с природой и привязывать себя к одной единственной женщине, будь она хоть Брижит Бардо. Вдруг подул сильный горячий ветер, ворвался через окно в комнату и спутал поредевшие волосы Цезаря (несмотря на бесполезность усилий, он по-прежнему пользовался «Юхмас гормон», мешая с другими мазями), он еще постоял молча с минуту, упершись взглядом в белую стену напротив, потом закрыл окно и сказал: «Убей меня, если знаю зачем развелся. В общем, мне было не так уж плохо», и через минуту добавил: «Все из-за этого говна, с которым она пошла трахаться», действительно, тот самый случай, когда Тирца изменила ему с незнакомым мужчиной, не давал ему покоя, и он не мог стереть его из памяти и справиться с обидой и ревностью,

хотя с годами эти ощущения в значительной степени потеряли изначальную болезненную остроту, тогда он дни на пролет не отставал от нее, вынуждая вновь и вновь рассказывать, и в подробностях, как они встретились, куда пошли и как все происходило, и не уставал допрашивать ее, почему согласилась, получила ли удовольствие, и был ли член мужчины больше чем у него, и тогда, долгие недели он пытался найти этого мужчину, хотел его увидеть и даже поговорить с ним, но все эти усилия были напрасны, потому что Тирца, для которой его непрекращающиеся допросы превратились в сущий ад, и она отвечала на них с нарастающим недовольством, отказалась наотрез открыть ему имя того мужчины или какие-то детали его личности, только сказала, что они не знакомы и что он врач, что уязвило Цезаря еще сильнее, и он продолжал выпрашивать и требовать, это действительно сводило его с ума, а через некоторое время после того как Рухама бросила его, этот разрыв нанес ему тяжелую травму, измена Тирцы вернулась и заняла свое прочное место в списке несчастий его жизни, пока он не расстался с ней с дикими ссорами и фантастическими обидами, с их помощью он пытался вернуть себе хоть что-то от униженного самоуважения, но, конечно, сколько бы он не твердил обратное, измена Тирцы не была причиной его развода с ней, может быть, одной из причин, а главными были его избалованность, эгоизм, нежелание или невозможность уступить, взять на себя обязательства, и еще фильмы, журналы, Эрвин, и Беш, и напрасные, несерьезные надежды, и потребность завоевать как можно больше женщин, снова и снова доказывая свою мужскую силу, но сейчас, как и всегда в моменты неудач или трудностей, он вдруг становился реалистом, хотя и сентиментальным, ему хотелось покаяться, и он сказал: «Это было ошибкой, этот развод. Я вел себя как ребенок», потом добавил: «Я бы покончил со всем и вернулся домой», он сказал это искренне и чистосердечно, как бы собираясь это сделать, хотя знал, что ничего делать не будет, все что было – все уплыло, но он продолжил тешить себя этой мыслью: «Это было бы лучше всего для меня. Надоело метаться. Ты думаешь, она

примет меня обратно?», Израэль сказал: «Может быть», звонил телефон, Цезарь сразу напрягся и попросил Израэля поднять трубку: если это Элиэзра, сказать ей, что он уехал на загородные съемки, и вернется поздно, может быть, только завтра, и это действительно была Элиэзра, она звонила с улицы, и Израэль передал ей слова Цезаря, она сказала: «Хорошо. Только передай ему, пожалуйста, что я звонила», Израэль сказал: «Да, я передам», положил трубку и передал ее слова Цезарю, тот еще был во власти своих мрачных настроений и раскаяний, но в нем уже пробудилось что-то иное, мечтательное: «Она удивительная. Я еще женюсь на ней, пусть весь мир перевернется. Мне плевать», допил виски и сказал, что уверен, ему удастся убедить ее отложить развод, поставил стакан на стол, покрутил пуговицу на рубашке Израэля и прибавил: «Погоди, она еще так быстро не разведется, пока это только разговоры», он явно воспрял духом, и виски помогло, а его последние слова будто освободили его и вдохнули надежду.

Мгла над городом стала рассеиваться, и постепенно открылось красивое летнее небо с полной луной, Цезарь зажег себе еще сигарету и сказал, что ему нравится лето, и он хотел бы быть одним из этих бедняков в Бразилии или Мексике, живущих естественной жизнью: бездельничать, купаться в море, танцевать «самбу» и гулять с женщинами, жизнью без стремлений и забот, или как та американская туристка, которой наплевать с кем она ест, с кем спит, что будет завтра, и она каждый раз ловит кого-нибудь, чтобы разделить с ним часть пути без планов и обязательств, Цезарь произнес это мечтательно, но и с радостью, будто эта мечта уже осуществляется, или будто она завтра осуществится, при этом он равнодушно взглянул на балкон квартиры в доме напротив, там сидела девушка и писала, он долго смотрел на нее и вдруг отвернулся со словами: «Ерунда, все образуется. Может, пойдем вечером в кино, или к Заре?», а Израэль отозвался: «Может быть», Цезарь спрятал пачку сигарет в карман рубашки, платок – в карман брюк и сказал: «Жаль, что эта американка смылась», взял камеру и сказал, что обязан зайти к родите-

лям из-за смерти Шалвы, хотя видел-то ее за жизнь пару раз, Израэль проводил его до двери, а когда Цезарь вышел, закрыл дверь, перешел в гостиную и сел за рояль чтобы продолжить игру, но в комнате было страшно жарко, а еще больше достал его и вывел из себя разговор с Цезарем, так что он уже не мог сосредоточиться, вышел на балкон, облокотился на перила и подставил себя струям прохладного воздуха, они тянулись с моря, разгоняя духоту и жару, посмотрел на прохожих, на огромную машину Цезаря, припаркованную у дома, старый, ободранный «Плимут» покрытый пылью, и на минуту ему показалось, что он увидел Эллу, идущую к дому, это его удивило, ведь она уже почти две недели не приходила и они не виделись, радость попеременно со злостью наполнили его, эта чересполосица радости и злости завладела их отношениями, превратив их в горючую смесь взаимных обвинений и ссор, с примирениями, полными раскаяния и нежности, ссоры заканчивались так же неожиданно, как начинались, но когда вспыхивали, Израэль старался – его сердце тяжело злобой – быть с ней жестоким, как только можно, хотя и знал, насколько неправ, применяя в качестве главных средств отчуждение и молчание, продолжительное и упрямое, а Элла пыталась разговорить его, чем-то порадовать, улыбалась, осторожно приближаясь к нему, даже умоляла, но напрасно, его отчуждение становилось все враждебнее, а молчание все мрачнее, он проследил взглядом за той девушкой пока она не прошла мимо дома рядом с машиной Цезаря, он как раз маневрировал ею вперед-назад пока не удалось освободиться из плотного ряда машин, припаркованных вдоль тротуара, и Израэль, не умеющий водить, проводил взглядом машину, которую Цезарь погнал вверх по улице, а потом резко, на скорости, свернул вправо и она исчезла, а через несколько минут Цезарь уже парковался возле дома родителей, прошел двор и, не испытывая особой радости, позвонил в дверь, Зина, она была с Яфой на кухне и готовила кофе, открыла ему с радостным возгласом, он, как обычно, поцеловал ее в щеку и спросил, как она поживает, Зина ответила: «Прекрасно», потом зашел на кухню и по-

приветствовал Яфу, спросил ее как дела, как дела у Тиквы, но не успела Яфа ответить, как Зина вмешалась, она прошлым вечером уже звонила Цезарю и сообщила ему о смерти Шалвы, и теперь снова сообщила об этом, с тем же ужасом и той же взволнованностью, как и вчера, он выслушал ее нетерпеливо, даже с раздражением. На самом деле Зина и Яфа тоже не знали как им отнестись к смерти их сестры, они так долго ее не видели, что связь между ними стала чем-то отстраненным, и в смерти своей она не стала им ближе, чем была при жизни, но эта смерть наложила на них какую-то тень вины, или обиды, так им казалось, она оставила их в удивлении и замешательстве, ведь Шалва покончила с собой четыре месяца назад, не оставив никакого сообщения ни семье, ни кому-то из близких. Ее отец и мать, единственные, кто все эти годы следил за нею издалека с мечтой о примирении, давно умерли, и они так стремились все эти годы скрыть, стереть ее семейные связи, что никто даже не знал, что у нее есть какие-то родственники, так что и некому было сообщить о случившемся, о самоубийстве, к которому она приготовилась, как к праздничному событию: приняла ванну, накрасилась, надела лучшее платье, потом уселась в большое кресло перед зеркалом в гардеробе, проглотила таблетки снотворного и погрузилась в забытие, навечно. Свет в доме горел еще два дня и три ночи, пока один из бдительных соседей не вызвал полицию, та примчалась, взломала дверь в квартиру и нашла Шалву во всей красе и великолепии, исчезнувшие из ее жизни и вернувшиеся к ней в смерти, на столе в комнате нашли записку, заверенную по закону, что она завещает свое тело науке, и если бы ни эта записка, близкие и не узнали бы, что она умерла, а так Цви, он по своей работе просматривал старые газеты, случайно обнаружил стандартное траурное объявление, опубликованное университетом, и поспешил сообщить об этом Эрвину, оба сообщили это Зине и Яфе, так что обе со вчерашнего вечера, после того как проверили все факты в полиции, а утром еще позвонили и уточнили их в университете, все время обсуждали это, пытаясь понять, что им теперь делать, какую форму придать своей

скорби, не испытывая никакого сожаления (Эрвин и Беш считали, что ничего делать не нужно), их обычную самоуверенность пошатнуло возникшее у обеих чувство долга и необходимости как-то отметить смерть их сестры, Зина вообще любила трагические случаи, а в последние годы хотела вновь вернуть себе управление неоспоримыми делами, касавшимися семьи и традиции, коими она раньше пренебрегала, а Яфа, очень постаревшая после смерти мужа и сына, и с тех пор как расстроились ее отношения с Тиквой, всю жизнь была очень семейственной, и со дня смерти родителей видела себя ответственной за семью, к тому же Шалва всегда вызывала в ней жалость и чувство вины, но Цезарь не нашел ничего интересного в деле Шалвы, ни в ее жизни, ни в ее смерти, и после того как покорно выслушал сестер снова спросил Яфу как дела у Тиквы, Яфа сказала: «У нее все в порядке. Растит детей. С ней все в порядке», хотя, на самом деле, Тиква жила одними жалобами и пустой тратой денег, отец оставил ей достаточно для глупых трат, а мать не могла ее обуздать и все ждала с нетерпением, что дочь кого-то полюбит, и это спасет ее от одиночества и скуки, и в самом деле, время от времени появлялся какой-то новый любовник, с которым Тиква ходила в кино и рестораны, на ланч и вечеринки, они шутили и смеялись, пока он не исчезал, вновь оставляя ее одну в большой квартире с добротной мебелью и двумя детьми, у нее никогда не было на них времени и терпения, а они были заняты своими бесконечными детскими ссорами и обидами, которые вспыхивали по каждому пустяковому поводу; Яфа добавила: «Ей только нужен жених», Цезарь заметил: «Давно ее не видел», а Яфа сказала: «Я просила ее прийти. Может быть, придет», Цезарь сказал: «Хорошо бы», и вышел на балкон, там сидел Эрвин в плетеном кресле и смотрел невидящим взглядом на деревья, улицу, на Беша, тот сидел напротив и что-то говорил, но Эрвин не отвечал, продолжая смотреть вокруг бесцельно и равнодушно. Невозможно было не заметить, что он болен, и с каждым днем болезнь обостряется, он похудел, тело размякло и будто висело на остоле как костюм на пару размеров больше, рыжеватые волосы с седи-

ной стали твердыми, как солома, лицо усохло и посерело, уши выросли, голова склонилась набок: старый попугай ма-рабу, усохший и потерявший перья, но Эрвин упрямо не желал замечать происходившего с ним, только иногда насмешливо говорил о потребности мужчин его возраста в физкультуре и даже стал регулярно делать легкий массаж рук, шеи и лица, проверяя результаты в зеркале, Зина осторожно предложила ему обратиться к врачу, но он заявил, что прекрасно себя чувствует, а когда она предложила снова, с раздражением отверг: «Пусть другие ходят к врачам. У нас семья здоровых людей». Цезарь сказал всем «Шалом», улыбнулся Бешу и дружески хлопнул по плечу Эрвина, который повернул голову и улыбнулся ему, немного вымучено, спросил, как дела, Цезарь сказал: «Нормально. Живем», и сел рядом, Беш заметил, что того, кто говорит «нормально», надо тут же отправлять в сумасшедший дом, а потом добавил, что он ненавидит счастливых людей, но к счастью он с такими не знаком, и поэтому ему приходится просто быть мизантропом, и еще через минуту прибавил, что если бы Господь явился в этот город, было бы с кем поговорить, но даже сатана удрал из него, бросив на произвол черни и всяких животных вроде Макса Шпильмана, и всяких бешеных псов, которые зовут себя евреями, но пустыня научит их уму разуму. Цезарь рассмеялся, а Беш заявил, что это не смешно, а душераздирающе, поскольку сие есть морда этой несчастной страны, от главы правительства до последнего дворника, и ему хочется поднять свою шляпу с перьями и из последних сил прокричать итальянский воинский клич: «Спасайся, кто может», рассмеявшись, он обернулся к Зине и Яфе, которые принесли из кухни кофе, сахар и пирог, и спросил Яфу, как продвигается изучении французского, Яфа сказала: «Я вспоминаю то, что учила еще в гимназии», Беш выронил: «Хорошо, что в мире есть французский», а потом рассказал, что уже три или четыре раза прочитал в газете про французских девушек, которые с благословения церкви вышли замуж за своих умерших возлюбленных, один – солдат, погибший в аварии, другой – полицейский из маленького городка, кото-

рый был застрелен во время погони за преступником, и сказал, что он не может решить, что это, полное сумасшествие, или высшая мудрость, потом обратился к Зине и спросил ее, почему она не идет учить французский, Зина сказала: «Может, когда-нибудь», Беш сказал: «Вы уже не так молоды, мадам», Зина сказала: «Да, я знаю. Ты не обязан мне напоминать», и пододвинула чашку кофе Эрвину, тот взял ее трясущейся рукой и стал медленно пить, но с губ у него стекло, и на рубашке и брюках возникли пятна, Зина, не спуская глаз с него, время от времени помогала ему, всегда незаметно и ненавязчиво, вот и на этот раз она быстро вытерла ему платком губы, подбородок и брюки, болезнь Эрвина вдохнула в нее новую жизнь, она почти забыла про свои больные ноги и преданно, даже с воодушевлением ухаживала за ним и была бы счастлива, если бы его болезнь длилась вечно, в это время раздался звонок, Зина открыла дверь и вошла Нехамы, которая неделю назад, никому не сообщив, вернулась из Америки. Два года до этого она отдала своих детей Авигдору и уехала в Нью-Йорк учить логопедию, но через несколько месяцев бросила учебу и стала работать продавщицей, потом учительницей иврита, какое-то время была замужем за одним американцем из Филадельфии, хозяином большой фабрики спортивного инвентаря, а теперь, когда вернулась, часто заходила проводить Эрвина, всегда встречавшего ее с широкой улыбкой, полной симпатии, Цезарь, который не виделся с ней после ее приезда, встал навстречу и они пожали друг другу руки, спросил как ее дела, она ответила: «Ты видишь: потихонечку», Цезарь сказал: «Рад тебя видеть», окинул беглым взглядом изменения, произошедшие с ней за эти годы: она располнела и подурнела, и вновь произнес: «Правда, я рад тебя видеть», Зина, она относилась к Рухаме с подчеркнутой, даже преувеличенной симпатией, пошла приготовить ей кофе, Рухама села между Бешом и Яфой, обменялась несколькими словами с Эрвиным, Бешем и Цезарем, последний спросил, как она привыкает к стране, еще и еще раз оглядел ее, убедился, что все что было между ними, тяга друг к другу, любовь, исчезло, не оставив и следа.

Она не вызвала в нем, к его полному удивлению, ни волнения, ни желания, ни даже воспоминаний, только абсолютное равнодушие, и сколько бы он ни всматривался в нее, сколько бы ни слушал, это удивление только нарастало, он вновь спрашивал себя, возможно ли, что всего несколько лет назад он полыхал страстью к этой женщине, лишенной всякой привлекательности, с толстыми пальцами, опавшим лицом и зубами, почерневшими от курева, а ведь он чуть с ума не сошел от ревности и отчаяния, когда она бросила его, и, выйдя тогда на холодную и мокрую улицу, в затуманенное утро, был уверен, что его мир рухнул, и ему уже никогда не оправиться. Цезарь прислушался к ее разговору с Эрвиным: она спрашивала о самочувствии, как идут дела, рассказывала что-то про Америку, к ее разговору с Бешом и Яфой (о Шалве при этом никто и не вспомнил, как и после того как Беш с Рухамой ушли), и спросил ее, что она собирается делать, она ответила, что еще не знает, Зина как раз принесла ей кофе, а Беш сказал, что она будет делать то же что делала до сих пор – трахаться, засмеялся и предложил ей добавить к кофе коньяк, Рухама рассмеялась и сказала, что она любит кофе отдельно, а коньяк отдельно, тогда Беш встал, подошел к бару, взял бутылку коньяка и два стакана, и, несмотря на протесты Зины, налил себе и Рухаме, воскликнул: «Выпьем!», они подняли стаканы, и Беш сказал: «Да здравствует твой последний муж, Рухама!», и они выпили, Рухама засмеялась и сказала, что насколько она помнит, тот не заработал благословения стаканом коньяка даже в шутку, хотя имел накаченные мышцы, носил круглый год загар, и даже имел какое-то инженерное образование, но он был почти импотентом, смертельно скучным, и что хуже всего – сумасшедшим скрягой, жалевшим каждый проклятый цент, она провела языком по губам и продолжила: «Мужчина, не умеющий тратить деньги, недостойн внимания», Беш расцвел, рассмеялся довольный, и продолжил наполнять их стаканы, приударяя за ней по своему обыкновению грубо, решительно, без церемоний, при Эрвине, но тот только улыбался ее словам, Зина и Яфа помалкивали, очень недовольные, а Цезарь пил свой кофе и

смотрел на все это с равнодушием, готовность Рухамы пофлиртовать с Бешем совершенно его не задела, скорее Беш, и это впервые, стал злить его своими словечками и выходками, он отвел взгляд и посмотрел на деревья в вечернем небе, при этом краем глаза вдруг увидел Эрвина с застывшей улыбкой, сморщенного, сдавшегося, равнодушного ко всему, глядящего в одну точку безжизненным взглядом, покрытым пеленой, и сразу почувствовал желание уйти от всех этих людей, убраться отсюда, допил чашку кофе, встал и, несмотря на уговоры Зины и Рухамы остаться с ними еще немного, быстро со всеми попрощался и вышел. На улице он увидел вдалеке Макса Шпильмана, тот шел ему навстречу и даже помаха-хал рукой, но Цезарь отвернулся, будто не заметил его, пересек улицу, сел в свою помятую машину, завел ее и покати-тил, только не мог решить, куда направиться, видеть детей ему не хотелось, хотя он уже не заезжал к ним несколько дней, как и Теилу, или Вики, или Элиэзру, или Ибраэля, на самом деле он никого не хотел видеть, и поэтому продолжал ехать без цели пока не оказался за городом, и тогда погнал машину по широкому шоссе, что тянулось вдоль пустырей, невысоких рыжих холмов, поселений, эвкалиптовых рощ и обработанных полей, погруженных в приятную тишину и туман вечерних сумерек, он отдался удовольствию от быстрой езды, и не прошло часа как забыл и своих родителей, и Беша, и Рухаму, и детей, и Макса Шпильмана; тот, как обычно, пришел к его отцу посоветоваться по деловым вопросам, тепло пожал руку Рухаме, он тоже впервые увидел ее после возвращения из Америки, спросил, как дела и как там было, Рухама сказала: «Было очень хорошо, но мне хватило», и спросила как его дела, и как дела у Бенямина, старшего сына Макса Шпильмана, который учился в школе вместе с ее сыном, и Макс Шпильман рассказал ей, что Бенямин недавно закончил службу в армии и отправился в Англию продолжить учебу в области компьютеров, Рухама сказала, что была бы рада повидать его, а Макс Шпильман сказал: «Будет такая возможность, он в этом месяце приедет», Рухама спросила его о жене, и Макс Шпильман ответил невозмутимо, что

она умерла, Рухама воскликнула: «Ой, сожалею, я не знала», а Беш сказал: «Такие вещи стоит знать», Макс Шпильман успокоил их: «Ничего. Это было давно», и добавил сахару в кофе, принесенный Зиной, а Эрвин, обращаясь к Рухаме, сказал: «Ты не помнишь?», Рухама сказала: «Нет, я сожалею», Эрвин обронил: «Уже прошло несколько лет», на самом деле, Берурия умерла пять лет назад от тромбоза, и Макс Шпильман жил теперь в огромной квартире, в последнее время один, и кроме своих разветвленных деловых проектов, в которые вкладывал все силы, энергию и сообразительность, стал теперь вести образ жизни богатого человека, как будто очнулся и решил поспешно взять от оставшихся лет то, что ему представлялось «хорошей жизнью», наверстать упущенное за годы аскетизма: стал покупать себе модную дорогую одежду, ездить в большой американской машине, есть в престижных ресторанах и отдыхать в шикарных отелях, он мог себе это позволить: кроме значительных доходов от разных предприятий и бензоколонок Макс Шпильману удалось заработать капитал на сделках с земельными участками, на строительстве и на всяких денежных спекуляциях, но обретя богатство, он не научился им пользоваться так, как бы ему хотелось, потому что был слишком расчетлив, и во всем, что касалось необязательных расходов не мог освободиться от бережливого и трепетного отношения к деньгам, как и не освободился от своих социалистических взглядов, вызывавших в нем противоречивые чувства: с одной стороны он сентиментально гордился своим богатством, а с другой — испытывал неловкость и даже отрицал его к возмущению окружающих. Беш его терпеть не мог и презирал, а Эрвин, который вел с ним дела, видел в нем человека напористого, в деловых схватках не знающего никаких границ, он был ему неприятен, но Макс Шпильман, уважавший Эрвина, не обращал на все это внимания и по-прежнему вел свои дела уверенно и нагло, не зная стыда, ни когда был жесток, ни когда льстил, зная не зная что значит «держат слово», и был предан только своим интересам, никто не вызывал в нем сочувствия или чувства близости кроме сестры Рахель, которую

он любил, заботился о ней и всячески поддерживал, и был готов отдать последнюю рубашку, чтобы помочь ей, и матери, что жила с ним все годы, он был связан с ней, как с Рахель, а, кроме того, глубоко уважал ее и слушался, единственную из всех людей, и самоотверженно ухаживал за ней, пока она не умерла в своей просторной комнате в его квартире (он отказался поместить ее в дом престарелых или специальный санаторий), и он рыдал, потрясенный ее смертью, так же как был потрясен смертью Бериури, и не потому что был сентиментален или слезлив, он и к ней относился с нежностью и душевной щедростью, полагался на нее до конца, не говоря уже о его отношении к двум сыновьям, и дядя Лазарь уважал его за это, хотя прекрасно знал его характер и отталкивающие дела, и несмотря на то что Макс Шпильман относился к нему абсолютно отчужденно – ничего кроме прохладных приветствий, а сейчас он быстро допил свою чашку кофе, поставил ее на стол и посмотрел на Эрвина, Зина спросила его о младшем сыне, Яире, он был младше Бенъямина на год, недавно женился на девушке из Бельгии и жил с ней в Брюсселе, Макс Шпильман зажег сигарету и сказал: «Неделю назад получил от него письмо. Пока он доволен», посмотрел на Рухаму и добавил: «Он в Брюсселе, с женой», и снова посмотрел на Эрвина, тот тоже допил свою чашку кофе, поднялся не без труда, и они вдвоем перешли в гостиную, сели там в углу и погрузились в разговор, а через некоторое время и Беш встал, сказал Рухаме: «Пошли», и Рухама, без колебаний или смущения, встала, они попрощались с Зиной и Яфой, те ответили только легким, отчужденным кивком головы, попрощались с Эрвиным и Максом Шпильманом, и ушли. В ту ночь Рухама переспала с Бешом, она знала что это произойдет с той минуты как вошла и увидела его, во всяком случае с того момента, как он стал шутить и принес ей коньяк, и Беш это знал, и знал, что она это знает, и она переспала с ним, хотя он не вызвал в ней никакого любопытства или влечения, и она не чувствовала никакой необходимости в приключении, или в сочувствии, и не надеялась, что он доставит ей какое-то удовольствие, как оно и случилось, но она

любила отдаться на волю слепого случая, ничего не ожидая, и провела ночь в постели Беша, переспав с ним без страсти и без стыда, в силу полного безразличия, и когда встала утром и ушла, не чувствовала никакого сожаления или разочарования. Их отношения продолжались несколько месяцев в той же духе, пока Рухама не поддалась Макс Шпильману, который на следующий день после встречи в доме Эрвина начал за ней ухаживать, дарил кучу дорогих подарков, развлекал, пытаясь завоевать ее сердце разными широкими жестами, что в ее глазах были совершенно излишни, а многие и просто смешны, он даже пытался произвести впечатление, демонстрируя приобретенные знания о винах и сырах, и разных деликатесах, и еще до того как Бенъямин вернулся из Лондона, она вышла за него замуж и переехала жить в его шикарную квартиру, уставленную старинной мебелью, вызвавшую у нее насмешку и отвращение, а также коврами и картинами, большинство этих вещей были приобретены в последние годы, но в честь Рухамы он убрал из квартиры, хоть и с тяжелым сердцем, все, что могло напомнить о бывшей жене, хотя Рухама не просила его об этом и даже не намекала, поскольку ей было совершенно все равно, она удостаивала его легкой приветливостью, почти не спала с ним, ни до свадьбы, ни после, она вообще избегала его как могла, он был противен ей физически, особенно его губы и ладони, и пальцы, только позволяла ему себя гладить, греть в ладонях ступни ее холодных ног и ходить с ней в рестораны, иногда в кино и в театр, и преподносить ей дорогие сигареты и гигантские коробки заграничных шоколадных конфет, которые она опустошала со страстью, даже когда забеременела и врачи посоветовали ей ограничить сладкое и вообще похудеть, он все это делал с удовольствием, потому что его влекло к ней, и он ею гордился, а Рухама, постепенно научившись быть ему благодарной и даже получать какое-то удовольствие от его общества, продолжала еще несколько месяцев после свадьбы, спать с Бешем, в основном в силу привычки и равнодушия, пока Макс Шпильман не обнаружил это, и она без труда прекратила отношения с Бешем. Свадьбу сыграли в узком кругу родни и

друзей, и Рахель, не любившая Рухаму и считавшая всю эту историю абсолютной ошибкой, позаботилась, чтобы ни в чем не было недостатка, и все было организовано в лучшем виде, Зина сказала, что больная, она не хотела встречаться с Элишевой, матерью Рухамы, и не пришла на свадьбу, как и Цезарь, который уверял Израэля и Гольдмана, что Рухама выходит за Макса Шпильмана, потому что ищет удобства и деньги, к тому же он старше ее на пятнадцать лет, и она надеется, что ей достанется большая часть наследства, последнее он утверждал то ли в шутку, то ли всерьез, но правда была в том, что Рухама вышла за Макса Шпильмана не потому что он пленил ее дорогими подарками и неловкими «широкими жестами», и не потому, что зарилась на его состояние, а потому что так устала, что стала ко всему равнодушной и хотела только одного: найти покой после бесконечных пертурбаций, она была сыта гонкой жизни, и любовью, и сексуальными приключениями, все это ее больше не радовало, и если бы Беш предложил ей выйти за него, она, возможно, и согласилась бы, возможно, даже в первую ночь, после того как они вышли из дома Эрвина и, взяв такси, кружили по городу, потому что Рухаме приспичило поесть чолнт и соленые кишки, и именно в ресторане с видом на море, но в конце концов она была вынуждена расстаться с мечтой о чолнте и соленых кишках, и они вернулись в Яффо, заказали обильный мясной ужин в хорошем ресторане у моря, по которому скользили рыбацкие лодки с огоньками, Беш, однако, не предложил ей выйти за него, потому что Беш, любивший хорошую еду, думал только о том, как поскорее закончить ужин, затащить ее к себе и лечь с ней, так было в ту ночь, и во все другие, и пока Цезарь мчался из Тель-Авива в Хайфу и обратно, Рухама и Беш кувыркались в постели в пустой и заброшенной квартире Беша, а потом, отвернувшись друг от друга, уснули; Цезарь между тем въехал в город и неся по пустым и темным в этот час улицам, а когда проезжал мимо студии, заметил горящее окно, и на миг мелькнула мысль остановиться и подняться к Израэлю (тот задремал, не погасив лампы, и уже спал), но продолжил путь и припарковал машину

возле дома Теилы, которая лежала в постели и читала, при встрече у него пробудилось желание ее порадовать, было что-то манящее в ее усталости, и он, переспав с ней, заснул, а Израэль только утром, когда проснулся, погасил лампу, умылся, выпил кофе, взял ноты и уже собрался выйти и отправиться играть в «Сан Антонио», как зазвонил телефон, Гольдман говорил из офиса и сообщил, что получил повестку в армию через три недели. Израэль посоветовал ему закосить, но Гольдман удивился: «Зачем? Для меня это подарок с неба», Израэль сказал: «Если так, хорошо», Гольдман сказал: «Погоди, мы еще это отпразднуем», Израэль сказал: «Как скажешь», Гольдман спросил: «Хочешь зайти ко мне вечером?», Израэль сказал: «Может быть, но специально не жди меня», они попрощались, Израэль положил трубку, вышел, и зашагал вдоль моря. В воздухе еще держалась утренняя прохлада, горизонт прятался в легком тумане, но близкое небо уже было чистым и синим, а под ним раскинулось море, с утра беспокойное, а вдалеке, у входа в порт Яффо, где солнце уже зажгло дома на берегу, порозовевший собор и башни мечетей, мельтешили белые чайки. Израэль шел медленно, здания вдоль набережной еще отбрасывали на дорогу и тротуар прохладную тень, смотрел на море, на купающихся и рыбаков, они стояли на камнях и трубах канализации, застыв со своими удочками и с бесконечным терпением ожидая добычи; чем ближе он подходил к Яффо, тем больше отклонялся от моря, вот оно уже скрылось из глаз, только время от времени являлось между домами, он шел вдоль знакомых улиц: вначале стояли уродливые домики из сложенных камней вперемежку с бараками, наспех сколоченными из досок и обложенными жестяными листами, потом одноэтажные домики из белых блоков, окруженные ржавыми заборами, а внутри свалки старья и мелкие автомастерские, потом пошли улицы больших и старых каменных домов, будто подкрашенных пылью и легкой копотью, с множеством высоких стрельчатых окон и маленьких балкончиков с ажурными оградами, местами с ржавчиной, и по ходу прогулки смотрел на прохожих, прилавки лавок с ово-

щами, фруктами, сладостями и рыбой, все аккуратно разложено в коробках и открыто для обозрения, в некоторые коробки насыпан лед, на витрины обувных и мебельных магазинов, на слесарные и столярные мастерские, мелкие типографии, втиснутые в узкие складские помещения, на парадные дома и заброшенные участки, и в конце, когда повернул вместе с улицей, там, где она открывалась в нескольких направлениях (на одном из них было видно море), появился белый собор; он подошел к большому саду вокруг собора, с кипарисами, ивами, тамарисками, мушмулой и кустами гибискуса и бугенвиллий, подсолнухами и розами, гвоздиками и геранью, и гладиолусами, открыл ворота, у входа был барельеф с изображением Иисуса, преклонившего колена и протянувшего руки маленькому мальчику, Святому Антонию, и зашагал по тропинке, покрытой гравием и осколками ракушек, поприветствовал привратника, возившегося с цветами, потом священника, небольшого роста, крепкого, с белой бородой и недоверчивым взглядом, в очках и черной ермолке, тот стоял в тени у входа, в коричневой сутане, и в ответ на приветствие кивнул Израэлю и проводил его неслышными шагами, руки за спиной, во внутреннее пространство собора, открыл тяжелую деревянную дверь, Израэль поблагодарил его и поднялся по узким ступенькам к органу, перед ним были три огромных высоких окна с витражами, в центре Иисус в красной мантии, слева Святая Клара, а справа Святой Франциск. Израэль уселся перед органом, разложил ноты, а когда начал играть, черты его благостно отрешенного, высоколобого лица сразу стали сосредоточены и вдумчивы, длинные, сильные пальцы побежали по клавишам, исторгая из органа густые звуки, медленно вылетавшие и заполнявшие пространство пустого собора, погруженного в сумрак, только приглушенный свет проникал внутрь через витражи, освещая могучие мраморные колонны, бурые скамейки и алтарь с медными подсвечниками и большими свечами, их огонь трепетал в прохладном, тяжелом воздухе, пропитанном запахом ладана, холодных камней и старой мебели. Израэль играл несколько часов, а когда

закончил, собрал ноты, спустился вниз, поблагодарил старого священника, тот снова кивнул ему, и вышел через сад, залитый ярким светом дневного солнца, остановившегося посреди поблекшей голубизны пустых небес, и пошел вдоль улицы, прокаленной от жары, он шел как можно ближе к стенам домов, стараясь не выходить из тени, мимо пекарни, откуда несло запахом лепешек и баранок, приправленных чесноком и розмарином, сразу за ней пересек дорогу и свернул в тенистый проулок, где зашел в рыбную таверну, он иногда бывал тут с Эллой, сел за один из столов, среди рабочих, которые в это время заполнили заведение, некоторые сидели в майках, или по пояс голые, и через несколько минут человек, который жарил рыбу в большом железном чане, полном кипящего масла, принес ему порцию локуса с четвертью белого хлеба и немного острого перца. Место было небольшое, без всяких украшений и причуд, похожее скорее на заброшенный склад, выкрашенный в ярко-зеленый цвет и заставленный внутри простыми столами и скамейками, здесь царил запах жареной рыбы и масла, а через двери можно было еще отведать острых запахов кожи, фисташек, политуры и гнилой воды, они веяли в проулке вместе с негромкой музыкой столярных и обувных мастерских, с мотивом примуса, гревшего чан, и в аранжировке разноглосья рабочих, те не забывали и за едой просматривать газеты и болтать на иврите, болгарском, арабском, но все эти камерные мелодии заглушали звуки восточной музыки, она неслась во всю мощь из ресторана напротив, там, на узком тротуаре и на дороге сидели люди на пластмассовых стульях, играли в шашки и шеш-беш, пили турецкий кофе в маленьких фарфоровых чашках и темный чай с мятой, время от времени громко споря, их крики мешались с криками человека, жарившего рыбу; одетый, как рабочий на стройке, в грязный передник, он стоял перед чаном, лицом к улице и зычно орал: «Рыба! Рыба!» и шарил огромной вилкой по дну чана. Исраэль медленно ел рыбу, внимательно и спокойно слушая шум вокруг, а когда закончил, вытер руки старой газетой, заплатил и вышел под палящее солнце, предоставив каплям пота свободно

катиться по лицу и шее, взгляд бродил по серебристо-синему морю, оно сейчас было спокойным, и дрожащий пар струился над ним. Две недели назад он проделал этот путь с Эллой, пропавшей после очередной ссоры между ними, когда он снова потребовал, чтобы она ушла и больше не возвращалась, а теперь задумался, не пойти ли к ней и попробовать помириться и вернуть ее, эта мысль начала сверлить ему голову сразу после того как Элла перестала приходить, и мучила его каждый день, почти непрерывно, вот и сегодня, когда встал утром, и по пути к собору, и когда сидел в рыбной таверне, и на обратном пути в дневном пекле, и вечером, когда Элла обычно приходила к нему, и перед сном, но с этой мыслью всегда пробуждались в нем мрачное сопротивление и гнев, они мешали ему сделать то, что он хотел, неделю за неделей, а тут пришла дата призыва Гольдмана в армию, он служил полевым санитаром в части, стоявшей в Синае, и перед отъездом пригласил Цезаря и Исроэля поужинать в «Эльфгот», но перед самой встречей Цезарь позвонил Исроэлю и сообщил ему, что не сможет прийти, потому что Теила купила билеты в кино и просит, чтобы он провел этот вечер с ней. Голос у него был подавленный и раздраженный, и прежде, чем положить трубку он сказал: «Слушай, надоело мне. Все получается через жопу», и после короткой паузы добавил: «Житья не дают», и попросил передать Гольдману, что он себя неважно чувствует и не сможет прийти, и чтобы извинился за него, Исроэль, молча выслушав, спросил, почему бы ему самому не позвонить Гольдману и не сказать об этом, а Цезарь сказал: «У меня нет на это сил, он обидится», и тут же добавил: «Сделай мне одолжение, я тебя прошу», и Исроэль сказал: «Ладно», и когда встретился с Гольдманом, передал ему слова Цезаря, Гольдман принял это без всякой реакции, как будто не слышал, что ему сказали, и только потом, позже, сказал: «Он фуфло, Цезарь. Но ничего не поделаешь», и добавил, что раз так, то он предлагает пойти в другое место, более интимное, в румынский ресторан, там отлично кормят. Гольдман не был скупердеем, но его отношение к деньгам было осторожным и неуверенным, что всегда мешало ему, он

вечно был озабочен счетами и своей бережливостью, считая это постыдной слабостью и даже недостатком для мужчины, и всем сердцем желал преодолеть эту слабость, не трястись над деньгами, а уметь их тратить, как Цезарь, не мелочась, беззаботно, и на него нападали иногда приступы необъяснимой расточительности, тогда он в один миг мог потратить большие суммы, но удовольствие и гордость за подобный поступок не долго радовали, он быстро трезвел от опьянения собственной щедростью, раскаяние уже грызло его сердце и мучило за поспешность и глупость трат, он вновь начинал считать, сколько и на что потратил, и сожалеть об этом, и еще несколько дней после «кутежа» старался сэкономить и вернуть хотя бы часть потраченных денег, но эта бережливость задним числом, вместе с мелкими и беспокойными расчетами, сопровождавшими ее, вызывали в нем чувство унижения и отравляли ему жизнь сильнее, чем мотовство, но он не мог избавиться от своей унижительной склонности к расчету, и должен был тратить время и силы в попытках вытравить ее, каждый раз заново.

Гольдман предложил пойти в ресторан Нело, хотя и «Мон жарден» – вполне приличное место, как и ресторан у теннисных кортов, но, по его мнению, ресторан Нело симпатичнее, и там широкий выбор первых блюд, рыб и солений, и блюд из цветной капусты, каких нет во всем городе, только ради этого стоит к нему зайти, но, конечно, можно пойти к Стефану, или в ресторан кускуса, Израэль сказал, что ему все равно и выбор за Гольдманом, и Гольдман сказал: «Ладно, тогда пошли к Нело», остановил такси, и они поехали в ресторан, где в это время – начало вечера – было еще пусто, только Нело с женой сидели в сторонке за столом без скатерти, он служил им офисом и кассой, и играли в шеш-беш, еще был бармен, он стоял, опираясь на стойку и курил, а недалеко от него сидел официант, нога за ногу, и читал газету. Гольдман вошел первый, через несколько шагов остановился и огляделся, жена Нело подняла голову от игровой доски и улыбнулась им, Нело при этом вбросил кости, Гольдман кивнул, сказал им «Шалом», и подошел к столику в углу, поколебал-

ся и перешел к другому, в центре ряда с другой стороны, но прежде чем сесть снова огляделся и вернулся к тому столику, к которому подошел вначале и сел, Израэль сел напротив, и Гольдман, только сейчас он успокоился, улыбнулся по-хозяйски, взял меню со словами: «Лучшая литература из мне известных», и стал читать вслух названия блюд, позади слышался стук игральные костей, радио играло балканскую музыку, звуки струнных и духовых инструментов сплетались в клубок страсти, нежности и печали, они несли на своих крыльях сладость теплых летних вечеров с тонкими запахами смоковниц, дыма, прибоа и мучительной страсти, и пока Гольдман изучал меню и обдумывал что заказать, по ходу дела обсуждая то или иное блюдо и вспоминая с сожалением и сластолюбием то, что вкушал однажды и чего в меню не было, он любил поговорить о еде, к ним подошел официант, похожий на Шарля Азнавура, его лицо было печально и равнодушно, и произнес: «Да, пожалуйста?», и Гольдман, он был воодушевлен, предложил Израэлю заказать первому, Израэль заказал мозги в томатном соусе и шпинат с рисом, а Гольдман – фаршированный баклажан и салат из тыквы с орехами, и еще заказал на двоих двойную порцию маринованной капусты и бутылку красного вина. Уже стемнело, ресторан заиграл огнями неоновых лампочек на множестве столиков, покрытых белыми скатертями, они стояли рядами в большом и холодном зале между высокими голубоватыми стенами, украшенными цветными коврами, на них были изображены озера и голубые реки, и поля винограда, и пальмы с оранжевым шаром солнца между ними, и полные красные женщины, сидящие на зеленой траве с гроздьями винограда в руках, жена Нело была похожа на них, как будто сошла с одного из ковров, чтобы немного развлечься игрой в шеш-беш. Гольдман отрезал кусок хлеба, что лежал в плетеной корзинке, окинул взглядом ковры на стенах, потом Нело и его жену, сказал: «Как же они счастливы», и улыбнулся довольный, а Израэль, который не понял, кого тот имеет в виду, сказал «Да», Гольдман продолжил: «Люди любят усложнять себе жизнь», отправил кусок хлеба в рот и заметил,

что лучший в мире стек делают в Японии из коров, которым дают пиво, и это придает мясу особый вкус и пятна жира, как у колбасы, между тем официант принес заказанные блюда и вино, Гольдман наполнил бокалы и сказал: «Жаль, что Цезарь не пришел», они подняли бокалы, выпили и стали есть. Гольдман отведал баклажан и сказал: «Баклажан отличный», его лицо разгладилось, затем он выразил восхищение салатом из тыквы, и больше всего маринованной капустой, от ее вкуса он просто растаял, вновь подчеркнул, что такой капусты нет во всем городе, и пригласил Израэля отведать; капуста, действительно вкусная, быстро кончилась, и Гольдман, заказав еще двойную порцию, заметил: «Смотри, какой замечательной может быть жизнь», выпил еще вина и сказал, что счастлив пойти в милуим³⁴, потому что мечтает уйти подальше из дома, от матери, от конторы, которая надоела ему невыносимо, из этого города, побыть на природе, среди песков, камней, кустов, птиц и неба, встретить новых людей, и кроме радости общения с новыми лицами он верит, что это станет началом какой-то новой жизни, во всяком случае, он очень этого хочет, снова выпил вина и прибавил: «Один Бог знает, зачем я учил юриспруденцию, и латынь, и все это», тщательно вытер куском хлеба тарелку с салатом из баклажан, все, что там оставалось, и соус, бросил официанту, который стоял и разговаривал с барменом: «Жаль, что все кончается», затем – уже Израэлю: «Я мог бы стать моряком и жить на море. В любом случае все могло бы быть по-другому», официант подошел к ним, и Израэль заказал в качестве главного блюда рыбу в масле с грибами, а Гольдман – тушеного барашка, рис и бамию, и еще заказал две порции тушеных овощей, прибавив: «Не самая диетическая еда», Израэль сказал: «Не страшно», а Гольдман сказал: «Я скоро начну американскую диету», снова наполнил бокалы вином и добавил, что надеется, что их часть разместят на линии огня, что будут стычки, и удастся поучаствовать, и снова бросил взгляд на Нело и его жену, которые громко заспорили, очевидно,

³⁴ Милуим (ивр.) – резервистская армейская служба.

из-за игры, и заметил, что он не боится умереть, но боится ранений, лишиться какой-нибудь части тела, особенно члена. Последние слова Гольдман произнес шутливым тоном и улыбнулся Исраэлю, который улыбнулся в ответ и заметил, что можно было попросить освобождение или перевод в тыловую часть, но Гольдман повторил, что рад призыву, он любит свое подразделение, и через минуту, жуя хлеб, добавил, что время, пока он будет вдали от города, может оказаться решающим в его отношениях с Дитой, достигших поворотного момента: либо надо жениться, либо прекратить отношения, полностью и окончательно, он выпил вина и добавил, что у него такое чувство, что в ближайшее время его жизнь радикально переменится, пододвинул к себе блюдо, принесенное официантом, попробовал его, бросил взгляд на рыбу, которую принесли Исраэлю и сказал: «Грандиозно, да?», отведал тушеных овощей и прибавил: «Потрясающе! Попробуй, попробуй», и снова углубился в главное блюдо со словами: «Хорошо, что мы пошли сюда», он жадно ел и по ходу еды издавал всякие одобрительные звуки, а иногда радостно смеялся, вино уже ударило ему в голову, он снова наполнял свой бокал, побуждая Исраэля сделать тоже самое, сказал, что прочитал где-то, что самое хорошее и самое дорогое вино делают в Индонезии, за счет того, что топят в бочке с вином обезьяну, потом он заговорил о Дите, что, по сути, у них нет выбора и придется расстаться, потому что их отношения стали невыносимо тягостны, наполнил рот едой, посмотрел на Исраэля и подождал, не скажет ли тот что-нибудь, его темно-зеленые глаза блестели, а потное лицо светилось, но Исраэль ничего не сказал, и Гольдман, макнув кусок хлеба в мясной соус, продолжил: «Я бы пошел в мошав», сделал паузу и добавил: «Послушай, человек должен уметь жить один», а потом сказал: «Он фуфло, Цезарь. Но все это ерунда», положил кусок хлеба в рот и доброжелательно, почти игриво заговорил о том, что он завидует Цезарю, и даже Моше Целермеиру, человеку простому, без затей; Моше Целермеир, действительно, был человеком без всякого образования или признаков культуры, он женился и родил детей с той же

естественностью как ел и пил, выигрывал и проигрывал в карты, бросался кому-то на помощь, и, кажется, никакие тяжелые воспоминания его не тревожили, как и тот факт, что он счастливчик, ведь уже десять раз мог погибнуть, но жив, и сто раз должен был разориться, но вышел с набитыми карманами, ко всему относясь с душевным спокойствием, и без намека на глупость, его дни прошли в бесконечной суете и тяжелой работе, и не потому что стремился к какой-то желанной цели, а только в силу желания обеспечить будущее своих детей, и его сын мог теперь, наконец-то, осуществить его мечту и уехать в Америку, уже приготовлен паспорт и все необходимое, и с той же естественностью он разошелся с отцом Гольдмана, отвернувшегося от Моше Целермеира, потому что после пяти лет работы на обувной фабрике тот открыл свой магазинчик и стал торговать кожей, а потом еще импортировать обувь, и к этому прибавилось желание Моше Целермеира, чтобы сын уехал из страны, для отца Гольдмана это было предательством, хотя он все еще, и это было необъяснимо, несмотря на гнев и отвращение, относился к Моше Целермеиру с некой отцовской снисходительностью, а тот ни на что не обижался, и всегда помнил бескорыстную помощь отца Гольдмана и испытывал к нему уважение и благодарность, любил как доброго отца и уважал как человека, и все это распространялось и на Стефану, и на Гольдмана. Болезнь отца Гольдмана потрясла его, он каждый день, иногда дважды в день навещал его в больнице, заходил и выходил на цыпочках, стоял в стороне, не выронив ни звука, иногда безмолвно кивая, и тихо покидал комнату, а во время похорон и погребения, в отдалении от толпы провожавших, рыдал, не переставая, не в силах сдерживать себя, что крайне раздражало Гольдмана (он старался не смотреть в его сторону), больше чем все, что происходило вокруг; он отвел взгляд от Исраэля и отрезал кусок мяса, оно было удивительно вкусным, улыбнулся и сказал, что на самом деле завидует не Цезарю, и не Моше Целермеиру, а Авиноаму, с кем он вместе учился и вместе воевал в войне за Независимость, пока Авиноама не ранили, и не послали потом на излечение в Америку, а после

того как выздоровел, он остался там, учился в университете на агронома, и вернулся в страну через шесть лет с женой Одри, дочерью богатого промышленника из Юты, и вместе с их старшим сыном Ионатаном они вступили в мошав, где тяжело работали и построили свое хозяйство. Когда Гольдман навестил их, это было лет восемь назад, Одри уже была как выжатый лимон, и, несмотря на юную фигуру и приветливость, у нее не много осталось от той свежести и американской красоты, которые так восхитили Гольдмана, когда он увидел ее в первый раз, через несколько дней после их приезда, у Матильды, но оба они, она и Авиноам, он все еще был крепок и красив, хотя уже страдал от сильных приступов головной боли, результат старого ранения, были счастливы деревенской жизнью, хозяйством, тремя детьми, и это счастье и благодать, напомнив радость приезда в мошав к Йозлю и Ципоре, передались и Гольдману; он явился к ним к концу дня, погруженного в летний покой, а утром в воскресенье вышел с Авиноамом собирать клевер, вязать снопы после жатвы и грузить их на телегу, а потом, после завтрака, помогал перетаскивать трубы для орошения на хлопковое поле, потом пошел покупать удобрения, насыпал коровам корм и положил новую солому в качестве подстилки, с трудом выдерживая жару, духоту и острый запах помета, царящие в коровнике, пыль и куски соломы забивались в сандалии и под одежду, прилипали к телу, к шее, и к лицу, и они все время чесались до невозможности, а сразу после обеда, уже сильно усталый, он вернулся на участок хлопка, на этот раз один, чтобы снова переместить трубы для орошения, участок был теперь погружен во влажное облако, поднимавшееся от орошенной земли и кустов хлопка, назойливые кусачие мошки лезли в уши, в нос, глаза и паутиной висели в пылающем, тяжелом и влажном воздухе, Гольдман с трудом дышал, обливался потом и еле передвигал ноги в липкой грязи, чувствуя смертельную усталость и раздражение, казалось, эта пытка никогда не кончится, и только под вечер, после заката, когда воздух вновь будто раздался вширь и посвежел, и все окутал покой, он тоже успокоился, и после того как принял душ и сменил

одежду, еще погулял немного с Авиноамом по мошаву, а вечером, после того как Авиноам закончил доить коров и привел себя в порядок, они посидели вместе с Одри на веранде, комары не давали покоя, болтали о чем-то необязательном, без особого смысла, пока Авиноам, он почти дремал от усталости, не сказал: «Идем спать», и они встали и пошли спать. Гольдман думал пробыть у них неделю, но на четвертый день, после того как два дня колебался, под надуманным предлогом вернулся в город; но, несмотря на тяжелую работу, поездка врезалась в его память как нечто удивительное, свободное, полное бодрости и удовлетворения, и это впечатление не ушло со временем, наоборот, он отправил в рот еще кусок мяса, немного рису и бамию и сказал: «Они там счастливы, Авиноам, его жена и дети», а через минуту добавил: «Я бы завел хозяйство и стал жить в мошаве. Может, еще не поздно», подождал реакции Исраэля, тот положил на край тарелки кость от рыбы, бросил на него взгляд и спросил, как здоровье матери, и Гольдман, пробудившись от грез, сказал: «Отличное. Потихоньку сходит с ума», и засмеялся, он уже был слегка пьян, и еще раз хохотнул, а когда успокоился, сказал, что в последнее время она говорит только по-польски и читает только польские газеты и книги, и ведет себя будто живет в Польше, и он считает, что она и в самом деле думает, что живет там, во всяком случае, она заставляет себя в это верить, Исраэль спросил его, собирается ли он что-то делать в связи с этим, Гольдман спросил: «Что?», отрезал себе еще кусок мяса и сказал, что, может быть, стоило отправить ее к психиатру, но он думает, что это пустая трата денег и лучше просто подождать пока все не пройдет само собой, выпил остаток вина в бокале, наполнил его снова, и, подумав, добавил, что ему кажется, что ей сейчас хорошо, лучше, чем когда-либо, во всяком случае, это все, что она хочет и может получить, и он сомневается, есть ли необходимость, да и право, вмешиваться и разрушать это счастливое состояние, в котором она прибывает, в чьих-то глазах это сумасшествие, но для нее это райский сад, куда ей позволено вернуться после смерти мужа, и, как видно, это было счастливейшее событие

в ее жизни, и он снова засмеялся, улыбка еще долго оставалась на его лице, потом он сказал, что иногда спрашивает себя, а если бы они спали друг с другом, Израэль спросил: «Кто?», Гольдман ответил: «Родители», и, отхлебнув вина, добавил, что этот вопрос занимает его время от времени в последние годы, и ему кажется, что они очень долго этого не делали, лет двадцать, может, тридцать, хотя сегодня, на основании исследований, которые проводились в Америке, известно, что высокий процент, выше пятидесяти, мужчин и женщин в состоянии это делать в семьдесят лет и старше, и получать от этого удовольствие, высокий процент из них это делает, но он не думает, что его родители относятся к этой группе, и не из-за возраста, или физиологических причин, а потому что его мать ненавидела отца, и потому что никогда, так ему кажется, не находила в этом интереса, а отец ненавидел мать и был готов не приближаться к ней сто проклятых лет ради того чтобы унижить ее и сделать их жизнь невыносимой. Гольдман на время умолк и занялся тушеными овощами, от баранины уже почти ничего не осталось, потом сказал, что мать никогда не спала с другим мужчиной, он в этом уверен, может быть, с Манфредом, и отец – с другими женщинами, но по другим причинам, хотя сегодня, после многих лет ему кажется, что отец был не равнодушен к вдове Цеймера, которая изменяла Цеймеру почти открыто, и он хотел переспать с ней, и тут, собрав с тарелки остатки риса и бамии, Гольдман неожиданно спросил Израэля, не испытывал ли он когда-нибудь страха перед импотенцией? Израэль удивленно посмотрел на него, и Гольдман, которого собственный вопрос смутил до того, что он покраснел, хмыкнул, и, не ожидая ответа, добавил, что спрашивает потому, что это, как выяснилось, довольно распространенное явление у мужчин всех возрастов, гораздо более распространенное, чем это принято думать, и большинство исследователей сегодня согласны с тем, что если иметь в виду все известные формы импотенции, то ею страдают сорок, а то и пятьдесят процентов всех мужчин, и каждый мужчина в тот или иной период страдал импотенцией, вызванной в основном психологиче-

скими причинами, такими как неуверенность и всякого рода страхи, часто вызванные ложными представлениями или преувеличенными ожиданиями, порожденными легендами о мужской силе, разными слухами и лживыми рассказами о подвигах других мужчин, ну и, конечно, в результате работы кино, телевидения, иллюстрированных журналов, а также рекламы, особенно рекламы одежды, сигарет, продуктов и косметики. Гольдман продолжал обсуждать эту тему и когда принесли десерт: двойную порцию «баварского крема» и турецкий кофе, сказал, что жизнь невозможна без сексуальности, даже отрицательной, но надо защищать секс не только от пуритан, но и от тех, кто создает иллюзорный, лихорадочный мир, вытер потное лицо и сказал: «Слишком много съел», добавил: «Здоровью это не на пользу», а Израэль сказал: «Это ж не каждый день», и Гольдман, он пил кофе маленькими глоточками, сказал, что можно, как это делали римляне, вставить палец в глотку и сблевать, и таким образом многократно предаваться кулинарным радостям, засмеялся и позвал официанта, тот принес счет, Гольдман и Израэль встали и подошли к Нело с женой, Гольдман сказал: «Было замечательно!», а жена Нело сказала: «На здоровье», Гольдман, заметно повеселев после трапезы, бросил: «Я мог бы поселиться у вас тут, в ресторане», и протянул Нело деньги, тот рассмеялся вместе с женой, а та шутливо схватила его руку и сказала: «Открой на минуту», Гольдман раскрыл перед ней ладонь и спросил: «Ты умеешь гадать?», она сказала: «Сейчас увидишь», Нело сказал: «Она умеет, она умеет», и дал Гольдману сдачу, а жена Нело подержала перед собой ладонь Гольдмана, провела по ней пальцем и сказала, что по линии сердца можно сказать, что он человек сильных чувств, они сильнее его логики, и с легкой улыбкой добавила, что он любит женщин, но остался связан только с одной, и еще сказала, что он чувствует красоту и любит порядок, и что, возможно, его ждет большая удача с деньгами, или в делах, или в картах, но он чего-то боится, она умолкла и через минуту продолжила, что по линии судьбы она видит как очень скоро что-то случится в его жизни, и что-то радостное, скорее всего

в связи с женщиной, его линия жизни длинная, но запутанная, и он должен опасаться воды, но если будет осторожен в этом плане, то его ждет долгая жизнь, Гольдман улыбнулся и сказал: «Спасибо, госпожа Нело», попрощался с Нело и его женой, а когда они с Израэлем вышли из ресторана, сказал: «Все это ерунда, конечно, но в море, пожалуй, купаться больше не стоит», и рассмеялся, а когда они отошли немного и вышли к развилке улиц, спросил Израэля, как он думает, стоило ли оставить чаевые официанту, Израэль сказал: «Нет, все нормально», Гольдман сказал: «Да, ты прав», и через минуту добавил: «Ведь они кроме прочего получают зарплату», а еще через минуту сказал: «Я должен начать американскую диету». Час был еще не поздний, но торговые улицы, по которым они шли, были пусты и тихи, даже машин почти не было, они шли молча, пока Гольдман, он устало шагал после тяжелой еды, спросил Израэля, как дела у Эллы, Израэль сказал: «Нормально», и Гольдман спросил, не собирается ли он жениться на ней, Израэль сказал: «Может быть», Гольдман, старые улицы вокруг нравились ему и вызывали сентиментальные чувства, сказал, что в сущности, надо было жениться на Дите и родить детей, построить, что называется дом, как Авиноам, ведь таков порядок в этом мире, а порядок — важная штука, и, несмотря на все трудности и недостатки семейной жизни, она все еще самая реальная и плодотворная штука, в всяком случае, любой другой жизненный путь бесплоден и ведет к скуке и загниванию, но он этого не сделал, и его жизнь проходит в сомнениях, в ожидании чего-то, что сразу освободит его от скуки и наполнит жизнь содержанием и ясным смыслом, быть может, очень увлекательным, он даже согласился бы на катастрофический поворот, хотя надеется, что это будет большая любовь, роковая, как в книжках или фильмах, что не раз смешили его, и освободитель иногда виделся ему в образе Жана Моро, а иногда в образе Элинора, но ничего не случилось, жизнь продолжает свой однообразный ход случайных событий, наполняясь ощущением истощенности, бесплодное ожидание стало ужасной привычкой мысли и чувства с целой системой рас-

суждений и надоевшего самообмана, потому что никакой Жан Моро не явится, а Элинор становится все более призрачной, хотя Манфред и Стефана не раз напоминали о ней за эти годы, да и сам Гольдман вспоминает о ней время от времени, вот как сейчас; они шагали по Кинг Джордж вдоль ряда огромных сикомор, нависших над дорогой, и, как обычно, Гольдман не сказал об Элинор ничего определенного, ее личность осталась для него тайной, окутанной волшебством единственной встречи, и только в воображении он мог отметить, что она высокая, с полными губами и голубыми глазами, и атласно белой кожей, и от нее пахнет как-то особо, он не мог сказать как, иногда говорил, что это запах душистого мыла, а иногда – запах сосен, но все эти слова возникали из воображения, а не из живой памяти, в которой она существовала только как сплетение чего-то туманного, и он повторил все это, и добавил, как всегда, что есть в ней что-то потерянное и умоляющее о помощи, и это притягивает, даже навязывает себя, и он надеется, что у него будет еще возможность встретить ее хотя бы один раз. Гольдман говорил о ней с воодушевлением, произносил ее имя с любовью, будто это была клятва, в которой заключена тайная сила, и с ее помощью можно вызвать прошлое, и ее, Элинор, и она выполнит его желание и придет, а тем временем они удалились от ряда высоких сикомор, пересекли Буграшов, а когда подошли к одинокой сикоморе, посаженной на краю тротуара, отсюда в свое время начинался квартал бараков, Гольдман остановился, оглядел пустырь, бывший некогда их вселенной, полной жизни, он был связан с ней и теперь нитями памяти и ностальгии, только она пропала, превратилась в широкий пустырь песка и краснозема, и когда он стоял и смотрел, подошла компания молодежи, они громко смеялись и толкали друг друга, Гольдман чуть сдвинулся в сторону и освободил им дорогу, потом продолжил путь и сказал: «Дикари. Поубивал бы всех, одного за другим», а потом добавил: «Это уже не мой город, и моим уже никогда не будет. Просто мусор», продолжая идти, он еще раз бросил взгляд на пустырь, где за пару лет до этого уже разрушили почти все жилые бараки,

лишь остались кое-где еще несколько, черных и выпотрошенных, похожих на беженцев, растерявших всякую волю к жизни. Один из этих бараков был жилищем Рахель и дяди Лазаря, его много лет назад купил Хаим-Лейб у Макса Шпильмана, отремонтировал, пристроил комнату, поставил в ней огромную деревянную чурку и отказался освобождать место, годы он вел упрямые войны с городским советом и компанией, купившей у городских властей эту территорию, собираясь построить здесь небоскребы с офисами, магазинами, ресторанами и кинотеатрами, потому что считал компенсацию, которую компания была готова заплатить за эвакуацию, наглейшим грабежом и обманом, и когда все бараки вокруг уже были освобождены и разрушены, Хаим-Лейб все еще оставался на месте с госпожой Хaeй, но к тому времени что Гольдман навестил его в последний раз, случайно, Хаим-Лейб пришел, наконец, к соглашению с городским советом и строительной компанией, и вскоре после этого барак снесли. Гольдман постучал в дверь и с радостью ждал, что она сейчас откроется и на пороге появится Хаим-Лейб, в нем, и во всем, что он делал, было что-то светлое, мудрое и исполненное жизненной силы, он любил поесть и выпить, читать газеты, бродить по улицам, вести простые беседы и политические споры, особенно любил отмечать обрезание и выкуп сыновей, и совершеннолетие, свадьбы и похороны, и вообще жил с удовольствием и в согласии с миром и Господом, и Гольдман, который в детстве и отрочестве проводил часы, с удивлением наблюдая крутящиеся валики сушилки и Хаима-Лейба за работой, его толстые и тяжелые, как у каменщика, ладони, он любил его больше всех родных и знакомых, но с тех пор как вырос, перерывы между их встречами длились годами, а с тех пор как они виделись в последний раз прошло года четыре, а то и больше, это было на похоронах отца Шмуэля и Арона, который провел свои последние годы в доме для престарелых. Хаим-Лейб шагал между провожающими, руки за спиной, госпожа Хая шла чуть позади него в маленькой оранжевой шляпке, ночью шел дождь, но к похоронам распогодилось, и когда Хаим-Лейб прошел мимо Гольдмана,

он улыбнулся ему и сказал на идиш: «Не волнуйся. Господь никого не забывает», и Гольдман улыбнулся в ответ, снова постучал в дверь, вытер лицо платком и огляделся. Лето было в разгаре, и от большой сикоморы, дарившей густую тень, шел резкий запах, пробудивший память о песках, полях сорняка и арабских виноградниках, их раздавленные ягоды валялись на земле, раскрашивая тротуар и дорогу с пронсящими машинами, а по ту сторону, рядом с тем местом, где танцевали два медведя и обезьяна, был кинотеатр, и на фасаде, на огромной рекламе был изображен мужчина в усах, держащий в объятиях красивую блондинку в белом летнем платье, Гольдман посмотрел на них, и как раз в это время открылась дверь, и на пороге появился Хаим-Лейб с глубоко запавшими карими глазами, лицо пожелтело и сморщилось, высохло, он сильно похудел, живот втянулся настолько, что брюки собрались складками вокруг ремня, конец которого неряшливо болтался. Гольдман протянул руку и сказал: «Шалом, Хаим-Лейб», но Хаим-Лейб стоял и смотрел на него потухшими глазами и не узнавал, и только после того как Гольдман назвал ему имя своего отца и своей матери, на лице Хаима-Лейба обозначилось подобие улыбки, он бессильно пожал Гольдману руку, все это время висящую в воздухе, и пригласил войти, они вошли в первую комнату, когда-то она была большая, высокая и сумеречная, хотя и с белой штукатуркой, в будни в ней стоял запах стирки и крахмала, а по субботам – готовки и чистых простынь, а сейчас она была маленькой и светлой, и старая мебель, что еще оставалась в ней, стояла попеременно с новой и потеряла свою таинственную привлекательность, разочаровала Гольдмана и белая электрическая выжималка, ее уже год как не включали, она стояла в углу комнаты вместо старой, деревянной, полной тайн. Госпожа Хая вышла из кухни и по обыкновению с приходом гостей выглядела испуганно, она волочила ноги в широких домашних тапках и влажными пальцами держала шею курицы и иголку с белой ниткой, а когда увидела Гольдмана, ее морщинистое лицо цвета молочной пленки прояснилось, она издала радостный звук, поспешила на

кухню и вернулась, вытирая руки фартуком, после чего пожала ему влажными ладонями руку. Госпожа Хая была высокой, немного сутулой женщиной, синь ее глаз выпцвела напроць и вся величавость износилась и увяла, не осталось и кусочка от былой красоты или хотя бы изящества, и того и другого в молодости было в избытке, тогда она носила модные вещи из шелка и шерсти и умывалась «сиреневым молоком», как дочь солидных людей, отец ее был портным для богачей, они вели образ жизни расточительный до разорения, ели серебряными ложками из тарелок «Розенталь» с чем-нибудь изысканным на донышке, и даже училась играть на рояле, что не было принято, но ее отец был известен своей эксцентричностью, любил среди бела дня крутиться в гостиных в красивом костюме, носил трость с серебряной ручкой и говорил по-немецки, и, в сущности, она была избалована, пока Хаим-Лейб не женился на ней и не утащил ее в Страну Израиля, несмотря на мольбы родителей, прежде всего матери, которые остались в Польше, и на усилия его брата, тянувшего приехать к нему в Америку, где можно разбогатеть, но Хаим-Лейб не поддался, потому что не хотел остаться в Польше, ждать пока поляки его выгонят, и потому что его сердце было отдано Стране Израиля. Между тем они зашли втроем во вторую комнату и госпожа Хая спросила Гольдмана как здоровье родителей, Гольдман сказал: «В полном порядке, тетя Хая», а Хаим-Лейб сказал: «Лазарь заходил несколько дней назад со своей подругой», они сели за круглый стол, покрытый старой бархатной скатертью, зеленой, разукрашенной огромными желтыми, оранжевыми и фиолетовыми цветами, госпожа Хая поставила перед ними бутылку коньяка, граненые стаканы из красного стекла, нарезанную селедку в длинной хрустальной тарелке, луковую запеканку собственного изготовления, извлеченную из старой жестяной коробки из-под квакеров, на ней был изображен мужчина с загорелым лицом в соломенной шляпе с большими полями, и налила им коньяку, Гольдману до краев, а Хаиму-Лейбу – на донышке, они чокнулись и выпили, Хаим-Лейб сказал: «Возьми селедочку, еврей», и пододвинул тарелку Гольдма-

ну. Сам он не ел соленое, потому что после операции несколько месяцев назад врачи запретили ему алкоголь и соленое, Гольдман взял кусок селедки и съел с запеканкой, Хаим-Лейб спросил: «Ты сегодня уже накладывал тфилин³⁵?», Гольдман сказал: «Еще нет», Хаим-Лейб сказал: «Ну да, зачем вам тфилин? Вы и без него обходитесь», а госпожа Хая сказала: «Еш, еш. Я это сама сделала», и поспешила на кухню, а Хаим-Лейб сказал: «Все вернутся. Ничего не поможет», и замолчал. Почти ничего не осталось в нем от излившейся полноты веселой жизненной силы и жара, он был погружен в удручающую расслабленность и равнодушие, как будто покрылся пылью, и все попытки Гольдмана расшевелить, разговорить его были напрасны, кроме нескольких слов он ничего не произносил, только один раз пробудился и сказал: «Если бы Бегин был у власти, все было бы по-другому, но и Бегин уже не Бегин. Он тоже стал «хорошим парнем», и хмыкнул, Гольдман тоже хмыкнул в ответ, взял еще кусок селедки и отвернулся от Хаима-Лейба, потому уже не мог больше выносить идущий от него запах старости, посмотрел в окно, выходящее на улицу, на низкие глиняные холмы и пески, которые когда-то тянулись там до неба, в памяти Гольдмана оно всегда было синим, а однажды он увидел араба в черном плаще и в платке, гарцевавшего на улице двух медведей и обезьяны, но Стефана утверждала, что такое могло быть только много лет назад, может, еще до того, как он родился, и даже если он это видел, он не мог этого запомнить, но он помнил, как будто это было вчера, и это удивляло его, так же как всегда удивляло, хотя это было удивление другого рода и вызывало неловкость, как это Хаим-Лейб, рабочий и первопоселенец, так близко друживший с его отцом, с Йоэлем и Ципорой, и с дядей Лазарем, и со всеми другими родственниками и знакомыми, мог сочувствовать ревизио-

³⁵ Тфилин (ивр.) – часть молитвенного облачения иудея, две черные коробочки с отрывками из Торы, одну повязывают на лоб, другую на руку.

нистам и Эцелю³⁶, и должно было пройти много лет пока Гольдману удалось преодолеть внутреннее неприятие этого, он отвернулся от окна и посмотрел на Хаима-Лейба, и вдруг, в одно мгновение, увидел себя как отражение старости Хаима-Лейба, и сразу почувствовал, просто реально почувствовал, что старость не есть что-то чуждое ему, наоборот, она часть его существования, которая движется в его сторону, и на самом деле уже бросает на него свою тень, а скоро распространится и накроет его всего, он взял еще кусок луковой запеканки, госпожа Хая снова спросила его о здоровье родителей, и он снова ответил: «Они в порядке», и госпожа Хая сказала: «Слава Богу. Жена нашего Шломо уже две недели болеет. Может, это от еды», Хаим-Лейб, он сидел без движения и без всякого интереса смотрел на бутылку коньяку и на запеканку, сказал: «Я видел твоего деда в лисьей шубе. Видно, он разбогател в этой жизни», и снова хмыкнул, а госпожа Хая сказала: «Хватит, хватит», пододвинула тарелку с запеканкой Гольдману и сказала: «Еш. У меня еще много», Гольдман сказал: «Спасибо. Уже наелся», допил коньяк, остававшийся на дне стакана, и поднялся, госпожа Хая спросила: «Уже уходишь?», Гольдман сказал: «Я зашел на минутку, поздороваться», и в это время поймал краем взгляда картинку «Райский сад», висевшую на своем месте, над коричневым буфетом, в детстве она производила на него сильнейшее впечатление. В центре картины, на переднем плане стояли Адам и Ева в образе парня и девушки, красивых и крепких, их чресла покрывали пояса из лавровых листьев, а в руках были младенец и роза, а вокруг, на зеленом лугу мирно паслись разные животные: лев, тигр, овца, журавль, змея, волк, медведь, павлин, и с двух сторон, начиная с нижних углов картины, поднимались ступени, сходящиеся наверху в центре, и на ступенях стояли друг против друга мальчик и девочка, юноша и девушка, мужчина и женщина, и в конце, на верхних, соединившихся друг с другом ступенях, стояли

³⁶ Аббревиатура боевой подпольной организации сторонников Жаботинского «Национальная военная организация».

старик и старуха, опираясь каждый на свою палку, и их общая ступень была вроде свитка летящего, и Гольдман знал что там написано: «Вот Учение и вот Предназначение»³⁷, он поблагодарил госпожу Хаю, попрощался с ней и Хаимом-Лейбом, Хаим-Лейб кивнул ему, а когда он уже уходил, бросил вслед: «Иди, навести бабушку свою», и хмыкнул, а госпожа Хая проводившая его до двери, прокричала, чтобы передал привет отцу и матери, Гольдман сказал: «Хорошо», вышел через заднюю дверь, через кухню, спустился на две ступеньки, на мгновение снова подумал о старости, и ступил ногою в песок, и этот песок вместе с видом синего неба и простора, открывшегося перед ним, погруженного в слепящий солнечный свет и тишину, пробудили в нем счастливое волнение, но оно сразу рассеялось при виде одиночных редких бараков, еще кое-где торчащих среди разрушений, рассеянных по всему этому пространству, такому знакомому и такому чужому одновременно, на краю его возвышались, неожиданно далеко уходя в небо, две группы новых высоток, белых как бумага; Гольдман шел по песку, приблизился к месту, где стоял некогда Большой барак, от которого и следа не осталось, обогнул тутовое дерево, что выросло само по себе, дошел до места, где когда-то был двор перед баракom Шмуэля и Брахи, и деда Баруха-Хаима и бабы Хавы, его разрушили вместе с другими, но чудесным образом остались на месте блоки на которых стояли стены, и таким образом сохранился остров, утопленный в песке, Гольдман остановился, постоял рядом с тем местом, где была голубятня, сердце радости и гордости деда Баруха-Хаима, затем прошел на кухню, низкую и темную комнатку, пристроенную к фасаду барака, потом вошел в большую комнату, стекла ее высокой двери были толстые и шершавые, тускло-желтого цвета, как медовые соты, и остановился на месте, где стоял когда-то стол в форме эллипса, всегда покрытый толстой бархатной скатертью, а вокруг четыре стула, высоких и тонких, на их спинках были полустертые барельефы ветвей, листьев и цветов. Слева сто-

³⁷ На иврите: «зе – тора, вез зе – схара» זה תורה וזה שחרה

яла кровать Шмуэля и Брахи, левее от нее, в коричневых деревянных рамах висели фотографии деда Баруха-Хаима и бабы Хавы, она долго не хотела фотографироваться, боясь сглазу, а справа стоял коричневый шкаф с одеждой, где прятали бабу Хаву во время итальянской бомбардировки в мировую войну, рядом с ним, в детской кроватке, а потом на раскладушке, спал Амос. Песок, спрятанный под досками пола, обнажился, перемешанный с осколками битого стекла и керамики, сухими листьями, ветками и кусками угля и бумаги, которую ветер принес сюда, Гольдман нагнулся и поднял осколок чашки и поиграл им в руках, потом перешел во вторую комнату, где была широкая железная кровать, тут спали баба Хава и дед Барух-Хаим, а на ней потом лежало его тело, покрытое белой простыней, и еще в комнате было неуклюжее кресло, и тяжелый буфет, а в нем несколько обычных книжек и книги святого писания, и два медных подсвечника. Дед Барух-Хаим любил ветер, любил телом чувствовать его дуновения, и требовал, исключая дни уж совсем холодные и дождливые, чтобы окно было открыто и днем и ночью, но баба Хава не любила пыль и не терпела холод, и он уступал ей, и такой была комната, невыносимо тесная, всегда пропитанная запахом матрацев, перин и валерьянки, и хотя стены и потолок были побелены, как в первой комнате, но здесь всегда царил сумрак, а сейчас кругом были простор и свет, так что глаза слепило, наверху, над головой Гольдмана развернулось широкое летнее небо с желтым солнцем, куст клещевины, свежий, фиолетово-зеленый, прислонившийся к стене барака, запустил свой большой побег в комнату, и Гольдман, постояв и оглядываясь вокруг, вышел через стену и бодро зашагал, пока не достиг улицы Дизенгоф, где через дорогу орудовал огромный бульдозер. День ото дня город с удивительной скоростью менял свой облик и всего за несколько лет, прямо у него на глазах, захватил песчаные пустыри, поля сорняков, виноградники, сады и рощицы и арабские деревеньки, а потом началось вторжение в старые улицы, на которых стояли там и сям простые одноэтажные дома с двориками, где были кусты и клумбы цветов, а иногда

— грядки овощей и клубники, или кипарисы, или флоксы, или лимоны-апельсины-мандарины, а кое-где стояли здания с вычурными архитектурными затеями, намеками на европейский шик в стиле Парижа, Вены или Берлина, и даже ходили на замки и дворцы, но всем им путь в будущее был заказан, потому что устарели, и не соответствовали вкусам и привычкам новой жизни, а больше потому, что головокружительный взлет цен на землю и на квартиры превратил их существование в ненужную роскошь и позволил их владельцам заполучить огромные суммы, и Гольдман, привязанный к этим улицам и домам, потому что эти дюны и пустыри с сорняком были местом, где он родился и вырос, знал, что разрушения неотвратимы, а может быть и необходимы, как и неумолим процесс смены населения города, оно, всего за несколько лет, пополнилось множеством новых людей, они были в глазах Гольдмана чужаками, вторглись в город и превратили его самого в чужака, и понимание происходящего не утешало его, не могло погасить ненависть, которую он испытывал к этим новым людям, и овладевшее им чувство бессилия и ярости по отношению к эпидемии перемен, подорвавшей все основы, и эти чувства становились все горше, ужесточая его тоску по старым улицам, кварталам и видам, что исчезли, ушли невозвратно, как этот безобразный квартал бараков, ставший теперь огромным пустырем, и люди, женщины, машины проплывали мимо, не задерживаясь, не задумываясь о том, что здесь было; он прибавил шагу, чтобы догнать Исраэля, который проводил его до дверей дома, там они постояли под ласковым вечерним ветерком, и Гольдман, проводивший взглядом проходившую мимо пару, сказал: «Завтра утром, перед отъездом я позвоню Дите», потом добавил: «Я не верю, что женщина может меня полюбить», улыбнулся и посмотрел на Исраэля, тот оторвал листок фикуса, измял его пальцами и ничего не сказал, а через минуту Гольдман снова сказал, что хотел бы еще хоть раз встретиться с Элинор, Израэль продолжал разминать лист в пальцах, и Гольдман сказал: «Надо отлить», они спустились в темный двор, зашли за кусты мальвы рядом с высокими кипарисами

и приступили к делу, Гольдман произнес: «Я бы хотел, чтобы Наоми вернулась, хотя бы на час. Это было бы чудесно», и продолжил: «Если бы она была сегодня жива, ей бы через три года стукнуло пятьдесят. Странно, да? Ей было двадцать пять, когда все это произошло с машиной», и немного помолчав, Гольдман, не видя при этом лица Исраэля, потому что они стояли, отвернувшись друг от друга, и, в сущности, он разговаривал с темнотой, бросил: «В последнее время мне трудно заснуть», и прибавил: «Знаешь, самые красивые моменты жизни – те, что неосуществимы», хмыкнул и сказал: «Это банально, но я думаю, что это так», а когда закончили и снова поднялись к дому, он добавил: «Я хотел бы быть счастливым», Исраэль, он чувствовал, что обязан хоть что-то сказать, произнес: «Да. Как и каждый», и оторвал еще лист фига, Гольдман улыбнулся и сказал: «Как бы то ни было, а капуста была отличная, согласен?», Исраэль отозвался: «Да все. Рыба была нечто. И «Бавария»», потом они попрощались, пожав друг другу руки, и Исраэль добавил: «Береги себя», а Гольдман сказал: «Все будет в порядке. Передай привет Цезарю», помахал рукой, повернулся и исчез в парадном, а Исраэль, наконец, остался один и пошел в сторону студии, но приятный вечер и овевающий с разных сторон ветерок, предвещавший осень, и чувство легкого опьянения от вина, возбудили его, он захотел увидеть Элли и переспать с ней, но, побродив по улицам, как бы сам того не желая, поднялся в студию, снял рубашку, ополоснул лицо и взялся за книгу, он слишком устал, чтобы играть, а когда прилег на кровать, зазвонил звонок, и Исраэль встал чтобы открыть дверь, полагая, что это Цезарь, и надеясь, что это Элла, но увидел Элизру, она, вдруг увидев Исраэля, удивилась и смутилась, но быстро пришла в себя и спросила, дома ли Цезарь, Исраэль, тоже смущенный, сказал: «Нет. Его нет», Элизра поколебалась с минуту и сказала, что она договорилась с Цезарем встретиться здесь в полдесятого, Исраэль сказал, что кажется, это время уже прошло, но, может, Цезарь где-то застрял и опаздывает, и предложил Элизре войти и подождать его, и Элизра, она выглядела загорелой и свежей, будто

только что вышла из моря, вошла в комнату Израэля, присела на кровать и сняла большие очки от солнца. Израэль вошел за ней, и на какое-то время возникло неловкое молчание, он сказал: «Он точно придет», потом прибавил: «Здесь душно», Элиэзра сказала: «Ничего страшного», Израэль спросил, не хочет ли она выпить кофе, Элиэзра сказала: «Да, с удовольствием», Израэль вышел на кухню, поставил чайник, а когда вернулся, Элиэзра спросила его, что он играет, Израэль сказал: «Кое-что из Баха», сел на стул рояля, напротив Элиэзры и бросил взгляд на ее ноги, открытые выше колен, Элиэзра сказала, что она любит камерную музыку и старинную, Израэль посмотрел на ее шею, плечи и загорелые руки и сказал: «Гольдман тоже любит старинную музыку», а Элиэзра, поиграв своими очками, сказала: «Но я его не люблю» и улыбнулась, Израэль снова взглянул на ее шею и грудь и сказал: «Да», и – на ее ноги, которые он знал по фотографиям Цезаря, где она раздевается, и лежит обнаженная, и они лежат вместе, Цезарь снимал их напрямую и с помощью зеркал, интимные сцены, и иногда показывал эти снимки Израэлю, которого разозлили ее последние слова о Гольдмане, больше всего их пренебрежительный тон, но несмотря на ее грубоватую заносчивость, она вызвала в нем, в первый раз, чувство близости, потому что была смущена, растеряна и обманута, он пожал плечами и сказал: «В основном он любит классическую музыку», и вышел приготовить кофе, но когда вернулся и они уселись пить кофе, Элиэзра снова заговорила о Гольдмане и сказала, что он жалок в большей степени, чем несчастен, потому что он ничего не делает чтобы изменить свое положение, и она не испытывает к нему никакого сочувствия, потому что не жалеет людей, старающихся вызвать жалость к себе, Израэль спросил: «А тех людей, которые не стараются вызывать жалость к себе?», и Элиэзра, немного смущенная его вопросом, сказала: «Иногда да, в любом случае, он выводит меня из себя», Израэль ничего не ответил, вновь возникло неловкое молчание, пока Элиэзра, ее лицо, бывшее серьезным и напряженным, неожиданно разгладилось, и она спросила, как он думает, есть ли

шанс, что Цезарь на ней женится, Израэль посмотрел на ее лицо, заглянул в зеленовато-карие глаза, глядевшие на него озабоченно и с надеждой, и сказал: «Думаю, что да», а потом сказал: «В любом случае он тебя любит». Элиэзра посмотрела на него и вдруг рассмеялась, оставила чашку с кофе, встала, подошла к письменному столу, взяла нож для резки бумаги и спросила, умеет ли он бросать нож в деревянную доску, как Цезарь, Израэль сказал, что он готов попробовать, и Элиэзра, не дожидаясь ответа, метнула нож со всей силы, он глубоко вонзился в доску, и тут же побежала к доске, вытащила нож, отступила на несколько шагов и вновь метнула, и снова побежала вытащить его, но Израэль опередил ее, выхватил нож из доски, отступил вглубь комнаты и с силой метнул, но нож упал, и Элиэзра вновь рассмеялась, подняла нож с пола, отступила и снова точно метнула. Игра разгорелась, они бегали, толкали друг друга, метали нож и боролись – кто первый его схватит, чтобы метнуть снова, пока на каком-то этапе оба не схватили нож и замерли у доски, разгоряченные и развеселившиеся, держась вдвоем за ручку ножа, Элиэзра, ее волосы растрепались, задержала свою руку на руке Израэля, всего на миг, но с этим мгновением упали последние преграды между ними, и, в сущности, уже не нужно было ничего, только обнять ее, что он и сделал, поскольку оба уже стояли в центре круга, из которого не было ни желания, ни возможность выбраться, и оба искали выхода своим чувствам, и пока одна его рука еще держалась за нож, другая обняла ее, как будто это было совершенно естественно, и она подалась к нему, они поцеловались, потом он отключил телефон, закрыл дверь на замок, и когда лег с ней, их объятия отразились в разных зеркалах, установленных Цезарем, он взял ее грубо, не думая о ней, будто хотел утопить в ее теле весь свой гнев и всю горечь, и таким образом получить от нее все возможное наслаждение, и Элиэзра послушно отдавала себя его движениям, потом приняла душ, оделась и ушла, а Израэль, он еще некоторое время не мог унять возбуждение, уснул, чуя тоску, и спал пока Цезарь не пришел утром, чтобы взять пленку и оборудование для съемки и не разбудил

его. Он был мрачен, выхватил нож, что все еще торчал в доске, поиграл им и спросил Исроэля, как было вчера, Исроэль сказал: «Хорошо. Гольдман просил передать тебе привет», Цезарь кивнул, замолчал, и через минуту заговорил о том, что ему нельзя было жениться, что он больше никогда этого не сделает, а Исроэль, его лицо опухло после сна, спросил, что случилось, а Цезарь, бросив нож на стол, сказал: «Все – дерьмо», Исроэль спросил его как здоровье сына, и Цезарь сказал: «Черт его знает. Эти бляди не говорят ничего», снова взял в руки нож, молча поиграл им и снова бросил на стол, добавив: «Всё – одна большая куча дерьма», и ушел, а к вечеру вернулся, беспокойный и еще более мрачный, чем утром, и так, с небольшими перерывами, когда что-то отвлекало, продолжалось день за днем, и даже ухудшилось и запуталось из-за неопределенного состояния сына, и из-за резкого ухудшения здоровья Эрвина, и только в его отношениях с Элизрой произошел прогресс, она излечилась от него почти полностью, ее вопросы и требования, и их встречи стали не такие частые и не такие напряженные, на самом деле они ничего и не делали, только трахались, а потом расходились, и Цезарь, которому полегчало, сказал Исроэлю, что она решила, видимо, немного отсрочить развод из-за детей, а тем временем Исроэль получил открытку от Гольдмана, которая была и для Цезаря, где тот в нескольких шутливых фразах обрисовал свои армейские приключения и закончил: «Я тут вновь открыл для себя небо. До встречи, Гольдман». Исроэль прочитал открытку Цезарю, который сказал: «Хорошо ему там», взял ее у Исроэля, снова прочитал для себя и повторил: «Хорошо ему там, этому отморозку», положил открытку на рояль и сказал: «Жаль, что эта Вика вышла замуж. Она единственная меня успокаивала», потом добавил: «Все бляди», зажег себе сигарету, подошел к окну и выглянул на улицу, как раз закончилась первая половина матча и движение оживилось, спросил Исроэля, как дела с Эллой, Исроэль сказал: «Все нормально», Цезарь сказал: «Она симпатичная», и добавил: «Это лето сведет меня с ума. Пойдем, прогуляемся немного», Исроэль спросил: «Куда?», Цезарь сказал: «Не

важно. Зайдем к Филиппу и Заре. Уже сто лет обещал им зайти», и, заметив явное неудовольствие на лице Израэля, повторил: «Давай, давай. Они симпатичные ребята. Мы там долго не будем, обещаю», и Израэль сказал: «Ладно», зашел в ванную, ополоснул лицо и причесался, а Цезарь встал рядом, осмотрел себя в зеркале и сказал: «Волосы выпадают», взял с полки бутылочку «Юхмас гормон», вылил немного на ладонь, помазал волосы и хорошенько растер голову, потом тоже причесался и сказал: «Посидим у них немного, выпьем чего-нибудь и смоемся. Все будет нормально», и пока Израэль надевал сандалии, Цезарь позвонил Заре и сообщил ей, что собирается прийти с Израэлем, они спустились, сели в машину, Цезарь завел ее и сказал: «Убей меня, если я знаю что делать», и через минуту, после того как высвободил свою огромную машину из плотного ряда соседей на парковке, погнал ее вверх по улице, заметив: «Погоди, скоро начну гашиш курить. Один раз уже пробовал, рассказывал тебе, у него был какой-то зеленый вкус», потом добавил: «Эти болезни – иди, знай, что это», и замолчал до конца пути, только один раз сказал: «Эта американка, она понимает, что такое хорошо. Она была как листок на ветру, архитекторша. А может, я просто должен вернуться домой и все», через полчаса он припарковался перед виллой Филиппа и Зары, расположенной посреди большого сада, они вышли из машины, прошли ворота сада и зашагали по каменной дорожке в прозрачном воздухе, пропитанном резким запахом сосен и прохладой, поднимавшейся от влажной травы, от кустов и деревьев. Цезарь позвонил, и Зара открыла им дверь, приветствуя широкой улыбкой: «Молодцы, что приехали», обнялась с Цезарем, который, поцеловав ее в шею, прошептал: «От тебя сказочно пахнет», и представил ей Израэля, хотя на самом деле он уже их знакомил, затем, когда они вошли в гостиную, представил его Филиппу, тот сидел одетый в теннисную рубашку и мокасины, и добавил: «Он играет на органе», Филипп спросил: «На традиционном органе?», Израэль, чувствуя себя неловко, сказал: «Да», Зара представила двух друзей Эде, своей подруге и ровеснице, та была в белых джин-

сах, сидела в кожаном кресле и машинально гладила серую кошку, лежавшую рядом без движения, Цезарь и Израэль пожали ей руку, Цезарь бросил: «Мы зашли только сказать шалом, что-нибудь выпьем и тут же отчалим», и вместе с Израэлем уселся на мягкий диван около низкого и широкого стола, на нем стояло несколько стеклянных и серебряных чаш с орехами, миндалем, сухими фруктами и бисквитными пирожными, и еще чаша с кубиками льда и бутылки сока, содовой и виски. Цезарь набрал пригоршню орехов и спросил Филиппа, как его дела, Филипп, со слабой и горькой улыбкой, почти не покидавшей его лица, сказал: «Спроси у Зары. Она точно знает», и тут же добавил: «Неплохо по сравнению с другими возможностями. В последнее время завел кошку», и бросил взгляд на Зару, которая поставила на стол поднос с сырами и корзину с тонко нарезанным черным хлебом и спросила гостей, что они будут пить, Цезарь отрезал себе кусок сыра и сказал: «Виски с содовой. А где сигары, ты обещала», и Зара, ее лицо в этот вечер было не таким красивым, как в их прошлую встречу, достала деревянную коробку, лежавшую на секретере, и сказала: «А вот и сигары. Возьми», налила ему виски, а Филипп спросил Израэля, погруженного в себя, где он играет, Израэль сказал: «В Яффо. В Сан-Антонио, Филипп сказал: «Я вам завидую», его английский акцент был еще замечен, хотя и сгладился, Цезарь взял себе сигару, с удовольствием ее обработал и сказал: ««Вильям Второй», есть люди знающие толк в хороших вещах», зажег сигару, выпустил облако дыма и весомо молвил: «Кто это не согласен с тем, что жизнь прекрасна», после чего сделал глоток виски, а Зара сказала: «В твоей жизни никогда не было ничего дурного, ты это оставляешь другим», улыбнулась и спросила Израэля что ему налить, Израэль попросил сок грейпфрута с содовой и взял себе немного орехов, а Цезарь, лицо его повеселело, но на душе скребли кошки, сказал: «Ты на меня клеветешь», а Филипп сказал: «Это она любя», Зара не отреагировала, Цезарь сказал: «Да. Я знаю», и вздрогнул от неожиданности: кошка, вдруг спрыгнув с кресла, вскочила на диван и потерлась о его руку, Филипп,

приметив это, позвал: «Эвридика, иди сюда, Эвридика», и Эвридика, слабо мяукнув и капризно изогнув спину, прыгнула с дивана и, пройдя под столом, забралась к Филиппу, а Зара сказала: «Филипп прав. Он знает меня лучше всех», и спросила его, что ему налить, Филипп сказал: «Немного виски», Зара налила ему и стала рассказывать Цезарю, что собирается поменять свою «Фиат-спорт» на «Альфа-Ромео», или «БМВ», Цезарь сказал: «Я люблю американские машины», выпустил облако дыма и прибавил: «А зачем тебе? Твоя «Фиат-спорт» почти новая», Филипп сказал: «Она не остановится, пока не получит белый «Ролс-Ройс», а потом добавил: «Она все время меняет вещи. Это уже принцип», он выглядел усталым, тяжелое лицо, бессильная, горькая улыбка, возраст тоже давал о себе знать, в приятности его речи, медленной, ироничной, звучала глухота и капитуляция, он знал, что она продолжает встречаться с молодым архитектором, и она знала, что он это знает, но оба предпочитали не замечать и не обсуждать это, Зара сказала: «Он просто насмехается», а Филипп сказал: «Я не умею говорить серьезно. Все что я тут говорю – шутка», Зара сказала: «Это не так», она произнесла это твердо и взглянула на него не с любовью, а с желанием выразить сочувствие и не огорчать, Филипп обратился к Цезарю, но как бы и ко всем присутствующим: «Все ждут, что я умру, но я пока жив», и рассмеялся сухим смехом, Зара сказала: «Хватит уже про это, Филипп», и обратилась к Израэлю, тот молча разглядывал людей и огромную гостиную с ее мебелью и украшениями, с предложением отведать сыров, а Филипп снова позвал Эвридику, кошка между тем вновь прилипла к ноге Цезаря, Ада спросила: «Кто хочет заработать две тысячи лир, не пошевелив пальцем?», Цезарь сразу отозвался: «Я! Но каким образом?», Ада объяснила, что читала в газете, как одна большая строительная компания объявила конкурс на лучшее название для отеля, который она собирается воздвигнуть в Иерусалиме, главный приз – две тысячи лир. Цезарь сказал: «Неплохо. Только где ж его взять», и отрезал себе кусок сыра, а Зара спросила, есть ли какие-то условия в этом конкурсе, и Ада объяснила, что

нет никаких особых условий, но они предпочтут имя, которое хорошо прозвучит и для англоязычных, и спросила, что они думают об имени «Ариэль», она подумала о нем сразу, как только прочла объявление, Зара сказала: «Это гениально», а Цезарь поддакнул: «Да, да, хорошо звучит», а Филипп, он сидел равнодушный, погруженный в себя, отгороженный каким-то экраном усталости и печали, оживился и сказал, что насколько ему известно, имя «Ариэль» несколько раз упоминается в Ветхом Завете, в книге Исаяи, и в других местах, и если он не ошибается, означает Иерусалим и алтарь в Храме, но с другой стороны, это слово глубоко укоренено в английском и во французском языках, как известно, это – воздушное существо в «Буре» Шекспира, и мятежный ангел в «Потерянном рае» Мильтона, кроме того у этого имени есть в языке разные смыслы, и, конечно, есть «Ариэль» из «Рейп оф де лок» Поупа³⁸, та тень, что сопровождает Блиндю, и еще добавил о двусмысленности слова «рейп» и названия произведения вообще, и тут внезапно остановился и выронил: «Оставим эту скукоту», а Ада сказала: «Это как раз интересно», а Цезарь сказал: «В любом случае, ни один отель не может требовать большего», а Зара сказала: «Нет-нет, вопрос только в том, читали ли они Мильтона и Поупа», а Филипп предложил Эде прямо завтра утром послать свое предложение, и если она пожелает, то может присовокупить несколько пояснений, и у него нет сомнения, что она выиграет конкурс, хотя у него самого есть гораздо более успешное название, но поскольку он каждое утро должен отвозить детей в школу и ухаживать за Эвридикой, он сомневается, будет ли у него время послать свое предложение на конкурс, Ада спросила, какое же название он придумал, и Филипп сказал: «Бордель. Отель «Бордель»», и, обращаясь к присутствующим, спросил, как им такое имя, все кроме Израэля засмеялись, Цезарь сказал, что лучшего названия быть не может, оно прекрасно звучит на всех языках, и если бы он был хозяином отеля, он бы тут же купил это название, Зара

³⁸ «Похищение замка», поэма Александра Поупа.

сказала: «Клиентура – круглый год», Филипп, обрадованный успехом, сказал, что если получит отпуск у Эвридики, то сможет подрабатывать в таком отеле в качестве «бардакмена», а Цезарь сказал, что он готов присоединиться к нему в должности помощника бардакмена, даже бесплатно, Зара сказала: «Верю. Но зачем тебе? Ты и так уже на этой работе», Цезарь сказал: «Да», и рассмеялся, а Зара продолжила: «Ты думаешь, что тебе всегда будут прощать, что всегда сможешь получать удовольствие за счет других? Это так не работает», и Цезарь, все еще смеясь, спросил: «Ты так думаешь?», Зара сказала: «Да», и пододвинула поднос с сырами Исраэлю, снова предложив ему попробовать, Исраэль сказал: «Спасибо. Все в порядке», отрезал себе кусок сыра и вернулся к осмотру гостиной: потолок ее был покрыт деревом, а в дальнем углу, рядом с французским окном, открывавшем вид на сад, стоял черный рояль, на котором Филипп иногда играл. Исраэль посмотрел на рояль, на чудесные красно-коричневые бархатные занавеси, перевел свой взгляд на деревянный резной шкаф, на ковры на полу, задержал взгляд на старинном столике для игры в шахматы, фигуры на нем были расставлены, а рядом лежал старинный пистолет, у столика возвышалась лампа на ножке, освещавшая его, и роскошный секретер за спиной Филиппа, а за рядом литографий висел большой гобелен чудной красоты, на нем была изображена военная сцена, в центре – белый конь падает на землю, выбрасывая ноги кверху, рядом боевой конь, вставший на дыбы, а между ними синий конь, такой же могучий, как и два других, а вокруг них бьются воины, часть их лежит на земле, они закованы в броню и держат щиты и мечи, а другие, тоже одетые в броню и со щитами, держат в руках длинные копья, поднятые к небу, где летит ангел, дующий в трубу. Исраэль долго рассматривал гобелен, а Ада заметила Филиппу: «Тебе стоит послать свое предложение», и Филипп, его веселье уже испарилось, сказал: «Я, пожалуй, сохраняю это название для другого отеля. В конце концов, тут еще построят отели», он согнал с колен Эвридику, встал со своего места, попросил прощения и сказал, что устал и пой-

дет спать, Зара спросила: «Может, еще посидишь немного?», Филипп ответил: «Нет, нет», еще раз извинился, попрощался со всеми и вышел, тяжело шагая, Зара спросила Цезаря и Израэля, хотят ли они кофе, Цезарь сказал: «Я думаю, что не стоит. Мы уже уходим», Зара сказала: «Это займет несколько минут», Цезарь сказал: «Хорошо, выпьем кофе и тронемся», Зара вышла, поставила кипятить чайник с водой для кофе, а когда вернулась, они вновь заговорили о машинах, потом об Эвридике, задремавшей в кресле Филиппа, Зара хвалила ее, рассказывала о ее привычках, Цезарь заявил, что никогда бы не стал держать в доме кошку или собаку, Ада присоединилась: «С ними тяжело расставаться», Цезарь возразил: «Я бы расстался с ними очень быстро, но мне не до них», и после того как они выпили кофе и еще немного посидели, он встал, Израэль – за ним, он уже давно сидел как на иголках, они попрощались с Адой, Зара, проводив их до двери, спросила Цезаря, как самочувствие сына, Цезарь ответил: «Ничего нового. Но все устроится», и они вышли, воздух был чист и прохладен, и эта прохлада освежала, сели в машину, Цезарь сказал: «Вот блядь», потом прибавил: «Я бы ее трахнул, блядь эту», завел машину, подал назад, он припарковался слишком близко к машине Зары, и сказал: «Жалко Филиппа, он мужик конченный», потом объехал машину Зары и помчался по улицам, движение уже было редким, высадил Израэля возле студии и на минуту подумал подскочить к родителям, но присутствие Зины и болезнь отца утомили его, и час был уже поздним, после некоторых колебаний он поехал к Теиле, поднялся и позвонил, немного подождал, потом открыл дверь и зашел в квартиру, где никого не было, потому что Теила еще не вернулась. Цезарь зажег свет в прихожей и в комнате, подумал, подождать ли ее, решил подождать, снял рубашку, бросив ее на один из стульев, со времени аборта, когда он заходил сюда, его охватывало смешенное чувство принадлежности и чуждости, то же чувство он испытывал, заходя к Тирце, потом заглянул на кухню, достал из холодильника банку пива и вернулся в комнату, сел в кресло, включил транзистор, взял со стола газету,

при этом посмотрел на часы, была уже почти полночь, отложил газету и взял книгу, полистал, посмотрел в окно, выходящее во двор, к ветвям высокой каузарины, сейчас ее едва было видно в темноте, снова взглянул на часы, выключил транзистор и растянулся на кровати, неожиданная тишина пробудила в нем беспокойство, он снова включил транзистор, зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркале, если бы ему было куда идти, он, может быть, и ушел бы, но кроме всего прочего его вдруг охватило желание видеть Теилу, ее опоздание постепенно загнало его в состояние нервного нетерпения, соединившееся с чувством покинутости, он вернулся в комнату, сделал потише транзистор, он купил его Теиле, когда ехали в клинику, где она сделала аборт. Теила не хотела чтобы он заезжал за ней, но не слишком решительно, сказала, что вернется на такси, но Цезарь настоял на том, что сам привезет ее домой, так он и сделал, но когда уже собрался выехать за ней, у него мелькнула мысль, а не зря ли он так упорствовал, и по дороге в клинику, спонтанно, остановил машину возле магазина электротоваров и купил ей транзистор, а потом заехал за ней. Она была бледна и напряжена, но не печальна, наоборот, улыбалась и смеялась, это заставило Цезаря подумать, что она рада, это во многом разрядило в нем напряжение и неловкость, по дороге домой Цезарь вел машину осторожно, будто вез хрупкую посуду, и Теила вдруг попросила остановиться возле кафе, ей захотелось поесть что-нибудь вкусное, Цезарь сделал это с радостью, он был просто счастлив сделать ей приятное, они вошли в кафе, Теила еще испытывала боли и Цезарь поддерживал ее, заказала большую порцию мороженого с фруктами и орехами, а когда доела мороженое, заказала кремовый пирог с клубникой и еще капучино, Цезарь тоже заказал себе такой же пирог и капучино, и они ели, пили и смеялись, а потом, еще веселые, в основном Теила, вернулись домой и Теила легла, у нее еще было хорошее настроение, но вечером она впала в депрессию, а на утро расплакалась и весь день плакала без остановки, Цезарь, не знал как ее успокоить, и не мог просто ее оставить, несмотря на ее просьбы уйти и оставить одну, он выхо-

дил и заходил, крутился по дому, ухаживал за ней как мог, едва сдерживая злость и нетерпение. Он не мог больше видеть ее лицо, выносить ее голос, ее слабость, не говоря уже о слезах, они вызывали в нем враждебность, и если б мог, то удрал бы куда глаза глядят, и действительно, через несколько дней, после того как она поправилась, пришла в себя и вернулась на работу, при этом повторяя свои просьбы оставить ее в покое, Цезарь снялся с якоря и исчез, без лишних задержек, оставил у нее почти всю одежду, и вещи, и даже принадлежности для бритья, никогда больше о них не спрашивал, как будто их и не было, но ключ от квартиры оставил у себя, он не предложил ей забрать ключ и она не просила вернуть, переехал жить к родителям, но долго не смог там находиться и, невзирая на просьбы Зины, через месяц перебрался жить к приятелю. Этот счастливый разрыв с Теилой продолжался несколько недель, и за это время он иногда звонил ей справиться о здоровье, вначале из вежливости, но затем, постепенно, когда ему стало казаться, что Теила забывает о нем и возвращается к своей прежней самостоятельной жизни, стал звонить из чувства все нарастающего беспокойства и ревности, и, в конце концов, предложил увидеться; Теила, всегда отвечавшая на его звонки спокойно, но с некоторой холодностью, как будто она теперь сама по себе и прежняя любовь остыла, заколебалась, но при этом, хоть и неуверенно, согласилась. Она приняла его осторожно, немного отчужденно, но с ясным лицом и хотя в первые минуты была взволнована, но быстро, гораздо быстрее, чем он представлял себе, преодолела опасения и отчужденность, и после того как они выпили кофе и поговорили, не касаясь того, что произошло, он переспал с ней, хотя и чувствовал себя неловко, потом встал, помылся, Теила, обнаженная и расслабленная, дремала на кровати, наполовину прикрытая легким одеялом, оделся, а когда она открыла глаза и увидела его одетого, собравшегося уходить, то с изумлением спросила, уходит ли он, Цезарь сказал «Да», Теила сказала: «Уже? Так долго не виделись», а Цезарь сказал: «Уже поздно», потом добавил: «Я подумал, что ты спишь», Теила с минуту посмотрела на

него, потом встала и попросила его больше не уходить, Цезарь заколебался, на самом деле он хотел быть уже по ту сторону двери, Теила снова попросила его, он что-то пробормотал и остался стоять на месте, и тут она расплакалась, плачем, полным обиды и поражения, тогда Цезарь, смутившись, обнял ее, погладил по голове с сочувствием и с радостью, потом лег с ней рядом на кровать в одежде и продолжал гладить ее, еще с сочувствием, но уже с хорошо сдержанным нетерпением, и только к полуночи встал и вышел, а через несколько дней снова пришел, и с тех пор заходил к ней время от времени, иногда даже не предупредив, и Теила приняла его без условий или требований, ни разу не спросив о будущем их отношений, и никогда не напомнила, даже не намекнула на то, что произошло между ними, это радовало Цезаря, который возвращался время от времени и обещал жениться, потому что с беспокойством почувствовал ее самостоятельность, проявившуюся во всех ее шагах, как и сейчас, когда он снова разлегся на кровати и рассеянно слушал мелодии, что передавали по радио, и решил, что не уйдет, пока Теила не вернется, хотя несколько минут назад решил уйти, оставив на кровати платок в знак посещения, и через некоторое время услышал ее шаги по ступеням, потом звук ключа, повернувшегося в замке, открывшуюся дверь, и Теила, слегка запыхавшись, вошла в комнату с улыбкой радости и сказала: «Ты долго меня ждешь?», Цезарь с замкнутым лицом сказал: «Так. Не страшно», Теила сказала: «Жалко. Если бы я знала, пришла бы чуть раньше», Цезарь спросил: «Где ты была?», Теила (ее свежее лицо, будто очищенное от плохих мыслей, разозлило его) сказала: «Я ходила в кино, в «Студию»», Цезарь выронил: «Окей», потом поинтересовался: «С кем?», Теила сказала: «С одной подружкой. Фильм был довольно скучный. Ты хочешь поесть что-нибудь?», и сняла сандалии, Цезарь буркнул: «Нет. Я не голоден», зажег себе сигарету, спросил: «Что за подруга?», Теила ответила: «Стюардесса, работает со мной. Ты ее не знаешь», зашла в ванную, и после того, как вымыла руки и лицо вернулась в комнату и сказала: «Может, все-таки поешь что-нибудь. Я ужасно го-

лодна», Цезарь сказал: «Ладно. Хорошо. Я тоже», Теила зашла на кухню, приготовила овощной салат, подогрела суп, оставшийся со вчерашнего дня, нарезала сосиску, достала банку сардин, и они сели перекусить, а потом Цезарь, он был мрачен, остался у нее ночевать. Теила вышла из дома рано, у нее было утреннее дежурство, вышла тихо, чтобы не разбудить Цезаря, а когда он проснулся – квартира была пуста и залита солнцем – , у него снова испортилось настроение, он обругал Теилу, что не разбудила его, и себя, что вообще пришел к ней, и прежде всего за то, что ждал ее так долго и не смылся, хотя она явно не спешила возвращаться, встал, помылся, выпил кофе и поехал в студию, где нашел в почтовом ящике еще одну открытку от Гольдмана, а через две недели тот освободился из армии (после того как Шмуэль вернулся домой из больницы, куда он попал после инфаркта, случившегося в результате ссоры с клиентом, вернувшим взятую напрокат машину побитой и поцарапанной, упрямо утверждая, что такую и взял) и вернулся домой запыленный, потный и разбитый от усталости, но в приподнятом настроении и полный энергии, потому что почему-то почувствовал себя новым человеком, с новой судьбой, не знающим что его ждет, Гольдман рад был вернуться в город, и неожиданно для себя обрадовался, увидев Стефану, она его совсем не ждала, потому что он не сообщил, что возвращается, но встретила без удивления и без всякой взволнованности, хотя лицо ее осветилось, отвечая на его радость. Она дала ему чистое полотенце и одежду, приготовила еду из того, что было в доме, и даже открыла в его честь банку с ананасами, и он, помывшись, уселся за столик на кухне, поел, а пока ел, все время испытующе всматривался в ее сморщенное лицо с аккуратным макияжем. Ее странности, обычно вызывавшие в нем раздражение, на этот раз не испортили ему настроение, а когда она подала еду, спросил, как она поживает, чем занята, Стефана ответила кратко, но доброжелательно, и даже улыбнулась, потом он спросил ее, как поживает дядя Лазарь, и Стефана сообщила: «Он заходил», Гольдман спросил о Юдит Майзлер и Стефана ответила: «Она в порядке», потом доба-

вила: «Неделю назад она ездила на экскурсию, была пару дней в Иерусалиме», положила ему на тарелку мясо и сказала: «Люди готовы жить любой ценой», потом добавила: «Вдова Цеймера тоже заходила. Она одевает красные маечки». Она никогда не любила ее и Цеймера, и отец Гольдмана не любил их, ее – без всякой видимой причины, может, потому что была женой Цеймера, а вот Цеймер был в его глазах паразитом, жившим за общественный счет, и он говорил об этом открыто, неустанно повторяя, что работа Цеймера это отвратительное безделье за зарплату, даже хуже, что это просто воровство, не считая настоящего, обычного воровства, что тот уже год за годом обкрадывает Гистадрут³⁹ и партию, и у него есть доказательства, у Цеймера, например, есть ящики, полные канцелярских товаров: бумаги, ручек и прочего, и все это взято в Гистадруте, и после каждой предвыборной компании этот большой партийный активист делает ремонт в квартире, не говоря уже о покупках новой мебели, смене холодильника и о поездке в Америку, на зарплату не поедешь в Америку, а ко всему еще протекции для него и для членов его семьи, и для знакомых, и всякие мелкие услуги типа бесплатных билетов на концерты, отпуск без очереди, поездки, ужины. Все это возмущало отца Гольдмана и портило ему кровь, будто его личная честность была запятнана, как будто лично его обманули, тем более, что все это делалось в сопровождении высоких слов о Гистадруте, о Стране и рабочем движении, и с выражением лицемерной преданности социалистическим идеалам, а в последнее время к этому еще прибавилась фальшивая религиозность: Цеймер вдруг начал по субботам и праздникам посещать синагогу, стоял там, завернувшись в талит⁴⁰ и молился, стал соблюдать всякие иудейские обряды, что особенно злило отца Гольдмана, и еще он ненавидел жадность собственности и хозяйственность Цеймера, чья забота о себе и о своем удобстве была неустанна, он

³⁹ Профсоюзное объединение, кузница партийных и государственных кадров.

⁴⁰ Большой платок, которым накрываются во время молитвы.

презирал его скаредность, говорил, что тот скуп, как ворона, и за копейку прыгнет с балкона. Его ненависть и презрение были неукротимы, они не угасли и когда Цеймер сразу и буквально у него на глазах стал сдавать: хуже слышать, тише и медленнее говорить, а потом и вовсе все путать, такими же стали его движения, он будто тащил за собой ноги и руки, взгляд его потерял цель, стал потухшим, рассеянным, лицо выглядело усталым и безжизненным, и при этом он стремительно уменьшался, будто опустел изнутри, щеки покраснели и обвалились, весь он стал худ и костляв, часами не вставал с постели, засыпая под газетами, беспомощный и жалкий, но не вызывающий сочувствия, продолжающий по-прежнему, несмотря ни на что и почти без усилий, тем более, что и сил никаких уже не было, копить добро, ходить на заседания всяких комитетов, в которых числился членом, в этом он оставался неизменно дисциплинированным, хотя мозг его усох и уже не ухватывал того, о чем говорили, по словам отца Гольдмана он ходил только чтобы выпить еще соку и съесть сэндвич на халяву, а то и получить сумму на транспортные расходы, а когда вернулся с одного из заседаний, умер. Это случилось летом, в середине жаркого дня, Цеймер медленно поднимался по ступенькам, а когда поднялся и позвонил в дверь, он забыл взять с собой ключи, вдова Цеймера открыла ему дверь, и он, сделав шаг или два, рухнул на пол, как сброшенная одежда, он умер так решительно и естественно, что это не вызвало никакой паники, даже легкого удивления – он просто дошел до конца и перестал быть. Никто о нем не скорбел, ни вдова Цеймера, ни тем более отец Гольдмана или Стефана, она тут же добавила: «Человек должен быть из очень маленького местечка, чтобы выходить на улицу в таких красных маечках», и убрала со стола тарелку супа, потом они поговорили о некоторых делах, денежных и организационных, возникших, пока его не было, но за весь разговор, который шел легко, скользя от темы к теме, Стефана ни разу не вспомнила про инфаркт Шмуэля, и что Ципора снова попала в больницу, потому что состояние ее ноги ухудшилось, она просто от всего отключи-

лась, и Гольдман узнал об этом только через два дня от дяди Лазаря, продолжавшего, и в то время что Гольдман был в армии, заходить раз или два в неделю, помолчать часок в обществе Стефаны, она открыла на десерт банку с ананасами, и когда стояла около умывальника, спиной к нему, Гольдман увидел насколько она, похудевшая, но крепкая и стоящая прямо, похожа на Наоми, после смерти дочери она перестала есть и почти два года жила только на чае, молоке, добавляя немного фруктов, и ужасно похудела, что спасло ей жизнь, или, можно сказать, не позволило ей умереть, потому что она и раньше страдала от высокого давления и сердечных припадков, иногда довольно серьезных, и однажды все были уверены, что она уже не встанет и вызвали Наоми, Гольдмана и отца Гольдмана, но, похудев, она выздоровела, а сейчас ему показалось, что она еще похудела, может, потому, что годы сморщили и иссушили ее кожу, она была словно натянута на скелет. После еды Гольдман растянулся на кровати в своей комнате, она сейчас показалась ему такой уютной, и попросил Стефану разбудить его вечером, но Стефана его не разбудила, и он проспал тяжелым сном до середины следующего дня. Проснулся злой, и еще провалялся почти до вечера мрачный и опустошенный, в конце концов встал, умылся, оделся и после того, как выпил стакан кофе с печеньем, приготовленным Стефаной, вышел из дома и направился к Дите с твердой решимостью, которую накопил за дни службы, положить конец их отношениям.

Солнце уже склонилось к горизонту и улицы были в тени, а в воздухе, еще душном и влажном, уже можно было почувствовать тонкие намеки на прохладу грядущей осени, это успокоило его, как и ходьба по знакомым улицам, почти развеяло мрачность после тяжелого сна, и он снова почувствовал свободу и воодушевление, но с приближением к дому Диты настроение упало, вернулась напряженность, он вошел в парадное и поднялся по ступенькам, уже чувствуя тошноту и надеясь, что она встретит его холодно, в любом случае, надо было закончить это дело быстро, без лишних разговоров и выяснений, но Дита, одетая в белую летнюю рубашку и тем-

но-синюю юбку, посвежевшая, встретила его с радостью, они вошли в такую знакомую ему комнату, и после того как обменялись несколькими фразами, Дита принесла холодный кофе и пирог с орехами, купленный специально к его возвращению, а он стал рассказывать об армейских буднях, о сослуживцах, о пустыне, он все еще был отчужден, враждебен и подстерегал момент, когда скажет то, что собрался сказать, но при этом вдруг обнаружил в ней, в первый раз за долгое время, мягкость и даже проблеск красоты, отброшенной за ненужностью, и незаметно, по ходу разговора, на него снизошел покой, он вдруг оттаял и почувствовал близость к ней, большую чем к кому бы то ни было, что-то привычное, и задумался, а нужно ли делать то, ради чего он пришел, а почему бы не предложить ей выйти за него, он продолжал мучиться сомнениями, и после того как они поужинали, Дита специально приготовила к его возвращению из армии любимые им блюда, и после того как посмотрели телевизор, новости и фильм после новостей, и в конце фильма, неожиданно, и, по сути, сам того не желая, Гольдман сказал ей зачем он пришел, Дита восприняла его слова с серьезным лицом, но не выразила протеста или огорчения, как будто ждала этого, и это было само собой разумеющимся, они еще немного поговорили, вежливо, затем Гольдман встал, попрощался и вышел с чувством облегчения, но без радости, чувствуя обрыв и пустоту, жизнь, в самом простом, ежедневном смысле вдруг потеряла направление, и это чувство сопровождало его весь вечер и весь следующий день, когда он не находил себе места, полный сомнений, и еще немало дней после этого он оставался по утрам лежать на кровати в комнате, уже залитой солнечным светом, ушедший в себя, завернутый в летнее одеяло, глаза широко раскрыты, лицом к стене, не желающий никого видеть и ни с кем общаться, при этом у него появилось желание заболеть гриппом, как было в школе, вновь почувствовать это детское блаженство повалиться в постели, под толстым одеялом, между накрахмаленными простынями, свободным от учебы и от всего, в комнате, где окна закрыты наглухо, чтобы никакое дуновение ветра не смогло

проникнуть, чувствуя высокую температуру, как она клонит ко сну, и слабость, и гриппозную ломоту в ногах, руках и спине, и слышать за спиной Стефану, как она входит и выходит, приносит ему яблоко, или чай с лимоном и пирог, и ставит их осторожно на стул, накрытый белым полотенцем, он еще долго лежал так без движения, а потом с трудом встал, привел себя в порядок и занялся текущими делами, было несколько, требующих внимания, но прежнее ощущение потери направления вернулось и овладело им, и только под вечер, когда пришел дядя Лазарь, ужасно обрадованный встречей, оно чуть-чуть отпустило. В шахматы они не играли, только поговорили немного, когда сидели на кухне и пили кофе, Гольдман рассказал дяде Лазарю об армейской службе, потом сказал ему, что окончательно решил оставить работу и специальность и стать учителем в школе; дядя Лазарь, спокойно выслушав его, спросил, что его подвинуло к этому решению, Гольдман сказал, что он хочет сделать что-то полезное, и надеется, даже уверен, что преподавание подарит ему внутреннее равновесие, к которому он так стремится, и спасет от чувства напрасной траты времени, что не дает ему покоя всю жизнь. Дядя Лазарь промолчал, только через несколько недель вспомнил эту тему, и то косвенно, когда Гольдман рассказал ему о проблемах астрономии, занимавших его в это время, и поделился намерением перевести «Сомниум», и добавил, что эта цель будит в нем какие-то неясные надежды, тогда дядя Лазарь провел пальцами по виску и заметил, что надо быть осторожным с надеждами, и добавил, что существует нечто, что он называет «страстью к спасению», но его опыт жизни учит, что не существует такого деяния, в жизни общества и в жизни индивидуума, каким бы правильным и революционным оно не казалось, что может привести к спасению, в том смысле, что вот с этого момента и дальше начнется новая эра, и все будет в принципе хорошо и организовано так, как мы хотим, но все-таки, несмотря на убежденность в том, что это иллюзия, надо жить как будто спасение возможно и стремится к нему, Гольдман сказал: «Да. Я понимаю», и дядя Лазарь, продолжая мысль, сказал,

что ему самому трудно привыкнуть к такому пониманию, сделать его естественной частью мыслей и чувств, он и сам слишком много лет был под властью уверенности в том, что существует какой-то один решительный поворот, который ведет к спасению, в его случае это был коммунизм и анархизм, он с любовью посмотрел на Гольдмана и слегка покачал головой, затем, допив кофе, они вместе вышли и отправились навестить Шмуэля, он сидел в легкой летней одежде, улыбаясь, хотя был еще бледен, в кресле-качалке в гостиной, где было смертельно душно, потому что Браха закрыла все окна в страхе, что его продует, а сама, измученная и пожелтевшая от тревоги и озабоченности, не спускала с него глаз и спешила исполнить все что он просил или только хотел попросить, лишь бы был доволен, а главное, не волновался и не двигался. Гольдман пожал руки Шмуэлю и Брахе, потом поприветствовал Моше Целермеира, его сын должен был через месяц улететь в Америку, и Хаима-Лейба, и госпожу Хаю, и Иону Качинского, который пришел без жены, она уже тяжело болела, собрался сесть и тут увидел молодого человека, по одежде явного чужестранца, он стал с беспокойством следить за ним с первого момента как тот вошел в комнату и вдруг узнал в нем Амоса, прилетевшего из Америки из-за болезни отца, Гольдман поспешил к нему, они пожали друг другу руки, обменялись улыбками и несколькими фразами, Амос представил ему свою жену, она тоже прилетела с ним и с двумя их детьми, сказал ей по-английски, мол, познакомься с моим кузеном, он адвокат, Гольдман пожал ей руку, немного поговорил с ними и с их детьми, спросил, как они поживают, как себя чувствуют в стране, старший сын сказал: «Хорошо, очень хорошо», Гольдман улыбнулся, а потом присел на краю дивана, рядом с кем-то, с кем не был знаком, еще раз посмотрел на Амоса и увидел, как сильно тот изменился, он выглядел старше своих лет, как и Илана, его сестра, она помогала Брахе обслуживать гостей, разносила чай, кофе, пироги, была одета со вкусом, но тоже сильно изменилась: поправилась, и от былой привлекательности осталось только свежее, гладкое лицо и шатеновые с блеском волосы, и еще

едва заметная тень былого озорства, так Гольдману, во всяком случае, показалось, она принесла ему стакан чаю и спросила, как его дела, он ответил: «Спасибо. Нормально», и спросил в ответ как ее дела, как муж, чем она занимается, она улыбнулась и сказала: «Ничего особенного. Растим детей», позвала мужа и сказала: «Познакомься, это сын Эфраима и Регины. Он адвокат», и муж Иланы протянул ему руку и сказал: «Я думаю, что нас уже знакомили», Гольдман пожал ему руку и сказал: «Да, да. Давно», Илана пригласила его заходить к ним при случае, и Гольдман обещал, что непременно, а муж Иланы сказал: «Будем очень рады. Мы почти всегда дома», Гольдман слегка кивнул головой, а Илана сказала: «Заходи, правда. Ждем тебя», и повернулась в сторону Амоса, обменялась с ним несколькими словами, одновременно глядя по голове старшего сына, а Гольдман, он снова присел на диван, подметил, что у нее короткие и толстые пальцы. Это были его двоюродные братья и сестры, но близость между ними, как и между другими членами семьи, утратила с годами живое значение и даже стала смущать, а то и тяготить, потому что, если исключить факт родственной связи, которая воспринималось как система неумолимых обязанностей, и уйти от нее можно было только разорвав все связи и отвернувшись от всех, между ними царила отчужденность, поскольку каждый пошел своей дорогой, нашел свое место в другой стороне, в другом мире, с большинством он виделся крайне редко, и то случайно, а некоторых, особенно детей своих кузин и кузенов и членов их семей, он вообще никогда не видел, или видел так давно и мимолетно, что встретив на улице, не узнал бы, не так было в дни его детства, когда члены семьи, близкие и друзья жили рядом, теми же впечатлениями, и кроме свадеб, рождений и похорон встречались по субботам, по праздникам, на партийных или профсоюзных собраниях, или просто по вечерам выпить чаю, поболтать и поспорить. Обычно Гольдман не чувствовал в этом расставании с родом особой потери, но иногда, на час-другой, на него налетала тоска о том золотом веке, полном сердечности, или того, что в этом качестве запечатлелось

в его памяти, и тогда его охватывало чувство вины, и он начинал планировать визиты к родне, к Йоэлю и Ципоре, Шмуэлю и Брахе, и к двоюродным братьям, и к другим родственникам, чтобы восстановить утраченные связи, снова встретиться с ними и с их детьми, но он этого не делал, вот и сейчас все эти встречи не выходили за рамки случайности и даже вынужденности, и, естественно, были полны неловкости; он сидел в своем углу недалеко от Шмуэля, пил чай и смотрел на Хаима-Лейба, на лице которого уже была печать смерти, и на госпожу Хаю, и на Моше Целермеира, и на Браху, каждый из них сильно изменился, разрушился, вновь посмотрел на Амоса, а потом на цветную фотографию Шмуэля, стоявшую на буфете, она была сделана во время поездки в Америку, Шмуэль там молодой, довольный собой, с копной курчавых белокурых волос, от них осталась только редкая поросль, госпожа Хая, выглядевшая очень озабоченной, вновь спросила Шмуэля как он себя чувствует, Шмуэль улыбнулся и повторил, что чувствует себя отлично, а Гольдман, он еще держал в руках чашку чая, уже пустую, ощутил вдруг, вместе с печалью и беспомощностью, как все стирается: тела, жизни и связи людей, и он тоже часть этого процесса исчезновения, и стал слушать, уже в который раз, рассказ Шмуэля про клиента, вернувшего ему почти новую машину «Пежо» совершенно разбитой, нагло утверждая, что в таком виде и получил ее, и как эта наглость взбесила его больше всего, и вдруг, когда они кричали друг на друга, он упал и потерял сознание, очнулся уже в больнице, а когда пришел в себя, врач сказал, что у него был сердечный удар, но это известие не вызвало у него ничего кроме удивления и странного ощущения неловкой, но не страшной, на мгновение, встречи со смертью, будто она оказалась напротив, и он увидев ее в своем воображении как большое черное пятно, и ничто уже не стояло между ними, ничто их не разделяло, не так как при гриппе или желтухе, а когда человек стоит против человека и оба направляли друг на друга пистолеты, только ему показалось, что он не стрелял, и Браха, которую не отпускало беспокойство, попросила его перестать рассказывать и отдох-

нуть, Гольдман думал встать и уйти, колебался, не зайти ли перед этим к бабе Хаве, которая лежала в своей комнате на кровати, но продолжал сидеть и глядеть на людей, в сущности их не видя, размышляя о космических теориях, увлекавших его в последнее время, он видел перед собой ночное небо полное звезд и гигантских галактик, на тысячу порядков больше, чем те, что он видел на фотографиях в книгах, они кружились, сияя, и разбегались друг от друга в темные и безмолвные просторы вселенной, где их не было, пока они не возникли из уплотнения межзвездной материи, которая творит без перерыва, снова и снова, галактики рождаются из ее уплотнения, и умирают, улетаая в ее бездонные пространства, и пока он так размышлял с пустой чашкой чая в руках, Амос задержался около него и сказал: «Тут жарко. Ужасно жарко», Гольдман сказал: «Да. Но скоро будет полегче», Амос сказал: «Надо было открыть окно», а потом спросил его об условиях работы и о карьере, Гольдман сказал: «Нормально. Зарплата неплохая», Амос спросил, почему он не открывает собственное дело, Гольдман сказал: «Это не так просто. Нужны деньги, и надо вложить немало усилий», Амос сказал: «Но это окупается, разве не так?», Гольдман сказал: «Да. Но не всегда», и спросил Амоса, его лицо показалось ему сейчас приятным, как там Нью-Йорк, и Амос сказал: «О, гигантский город. Если ты еще не был, обязан хоть раз приехать», Гольдман сказал, что может быть, Амос стал рассказывать: «Мы хотели перебраться в Калифорнию, но это сложно», Гольдман бросил: «Да?», Амос продолжил: «Но, в конце концов, переберемся, это стоит того», Гольдман сказал: «Да, надо дерзать», и в этот момент увидел как вошел Йоэль, и почувствовал неловкость, и пожалел что пришел, и что не ушел вовремя, и если бы мог, то исчез бы в этот момент, но Йоэль, выглядевший уставшим и удрученным, он никогда таким не был, уже стоял в комнате и кивал головой, приветствуя Хаима-Лейба и госпожу Хаю, и Гольдмана, который встал ему навстречу, пожал руку и спросил о самочувствии и самочувствии Ципоры, Йоэль сказал «Она в порядке», Гольдман спросил: «Как ее нога?», Йоэль ответил: «Еще неясно, в

любом случае пытаемся сделать все возможное», и подошел к дяде Лазарю и к Брахе и Шмуэлю, а Гольдман вновь уселся на край дивана и решил что завтра после полудня, во что бы то ни стало, навестит Ципору в больнице и сбросит с себя этот груз вины, давящий на него уже много месяцев, и не только из-за нарушения семейных обязательств, но прежде всего из-за глубокого уважения, которое он испытывал к Ципоре, так же как и его отец, и оно требовало своей дани, это глубокое чувство благодарности за ту помощь, которую она оказала ему и родителям, и все что она для них сделала, не ожидая награды, и не получая награды, Стефана тогда страдала почками и какое-то время не могла заниматься детьми, и Ципора, отношения между ней и Стефаной были с самого начала натянутые и они почти не встречались и не разговаривали, пришла, и без лишних разговоров взяла его к ним в барак, где в ту пору жили Ципора и Йозель, их пятеро детей и бабушка Рахель, мать Ципоры. Теснота была такой, что Рут пришлось спать в сундуке для старья, а Меир спал на раскладушке под навесом у входа, вроде как на балконе, это летом, а Гольдман спал в одной кровати с Авиэзером, который был старше его на несколько месяцев, и по ночам они запускали руки под пижамы друг друга и онанировали, не издавая ни звука, под легким одеялом, но, несмотря на ужасную тесноту, барак сверкал чистотой, Ципора, она и детей своих приучила к порядку, терла доски пола, снимала пыль и паутину, и время от времени штукатурила стены. Она вставала каждое утро с Йозелем, и пока он медленно брился, одевался и обувался, готовила ему стакан чаю, клала в рабочую сумку несколько нарезанных кусков хлеба с маслом и немного соли и зелени, завернутых в газетную бумагу, банку с селедкой и вареным яйцом, иногда котлету или кусок пирога, он брал сумку с собой на работу вместе с мешком инструментов и квадратной пилой, а после того как уходил, она начинала заниматься домом: стирала, гладила, штопала старые носки и чинила одежду, переходившую от ребенка к ребенку, отрезала края сандалий у детей, когда они вырастали из размеров своей обуви, переделывала старые платья на рубашки, брю-

ки перешивала в шорты, а столовые скатерти на новые юбки, варила какую-то смесь помидоров, шпината, молотых зерен и баклажан (в ее руках она выходила похожей на мясо), и рис, и макароны, для которых сама месила тесто, готовила ножки, крылышки и горлышки куриц, они почти ничего ей не стоили, и не раз – еду из вчерашних остатков, а то и из оставшихся два или три дня назад, потому что не любила, когда выбрасывают еду, это был принцип, которым она руководствовалась, и так воспитывала детей, а еще пекла пироги из тыквы, и готовила потрясающий фруктовый суп, и суп из кабачков со вкусом яблок, и варила варенье из кожуры апельсинов и грейпфрутов, делала вино из фиников, что росли вокруг, и клубники, заботилась, чтобы дети шли в школу и готовили уроки, и чтобы сами чистили себе обувь и приносили для растопки пни и обломки деревьев, чтобы помогали по дому, кто как может, и даже иногда зарабатывали, в основном в каникулы, на любой работе, поскольку считала, что человек должен учиться жить самостоятельно и должен помогать ближнему, и потому что верила, что любая работа почетна, а лень и безделье – корень зла, из-за них человек опускается, разлагается, доходит до попрошайничества и преступлений, как и из-за мотовства и страсти к показухе, и кроме работ по дому помогала по мере надобности матери, что до старости старалась сама о себе заботиться, помогала сестре Саре, женщине очень красивой и очень способной, но потерянной и беспомощной почти мазохистски, весь день она бродила с растрепанными волосами, неопрятная, будто только что встала с постели, и все время ругала всех и вся, доставалось даже Ципоре, хотя и поменьше, или жаловалась на всякие боли или на погоду, или на мужа, Йону Качинского, человека очень доброго, мастера свиста, обычно он свистел для своего удовольствия, но часто и с целью развеселить ее, он мог насвистывать целые оперы и симфонии, Гайдна или Моцарта, а кроме того пел, у него был приятный тенор, пел на вечеринках или по субботам, когда и не просили, сентиментальные песни на идиш и по-польски, и арии, и неаполитанские песни на ломанном итальянском. Он был конди-

тером и любил ее всей душой, пытаясь всячески угодить, порадовать ее, исполнять все желания, так почти каждый вечер они красиво одевались и выходили танцевать, или играть в карты, или посидеть в кафе, или шли в кино, и дома у них всегда, кроме разной другой вкуснятины, были десятки сортов пирогов и пирожных, которые Йона покупал и приносил ей, они валялись по всей квартире, засыхая и собирая муравьев и плесень, потому что никто их не касался, Йона – потому что страдал от диабета, а Сара – потому что не любила пироги, а детей у них не было, но все усилия Йоны ублажить, развеселить ее, были напрасны, она крутилась целыми днями, когда кровать в беспорядке, умывальник полон грязной посуды и в каждом углу крошки и куски засохшего хлеба, кожура и одежда, и жаловалась на свою горькую участь, вот если бы она осталась в Польше; во время войны и после нее Польшу сменила Америка, там бы она стала тем, кем мечтала стать, танцовщицей или дизайнером модной одежды, или инженером по тканям, и не растратила бы свою жизнь, и она жаловалась на Йону, что он не уделяет ей достаточно внимания, и не любит ее, изменяет ей в своем воображении с одной девушкой (дело было много лет назад, и он расстался с той подругой еще до того как познакомился с Сарой), и с разными другими женщинами, и не только в своем воображении, хотя с некоторыми он даже не был знаком, но все это, как и его протесты-опровержения, не действовало, и не проходило недели, чтобы она не заявляла решительно, что разводится с ним. Ципора, хоть и терпеть не могла безделье, избалованность и интриганство, как и не терпела, когда в ее присутствии плохо говорят о Стране Израиля, или когда морочат ей голову пустыми жалобами о депрессиях, болезнях и смерти, старалась, как могла, помочь ей, иногда утешала, иногда спорила с ней, порой решительно и даже грубо на нее покрикивала, и всегда пыталась побудить ее найти хоть какую-нибудь работу, чтобы заполнить дни и избавиться от мелочных жалоб и уныния, и даже пыталась по ходу дела воспитать ее в том духе, что человек в Стране Израиля должен следовать некой философии жизни, чтобы суметь

жить в этой стране и с ней, но Ципора ни разу не объясняла в чем состоит эта философия, по правде говоря, и ей самой она была не вполне ясна, просто постепенно сформировалась из деталей воспитания и опыта, и состояла в том, что жизнь требует постоянного усилия, потому что путаница и трудности это не какие-то случайные поломки и неувязки, а суть жизни, и надо жить исходя из ответственности и принятия бремени долга, и таких ценностей как прямота, усердие, верность, скромность, простота нравов и другие, в законной силе которых она никогда не сомневалась и никогда не требовала доказательств их верности, потому что они были частью ее ощущений и соответствовали ее здравому смыслу, она в них верила, и, пользуясь ими, иногда осторожно, иногда хитро, но в основном прямо и решительно, сумела отважно вести свою жизнь и жизнь семьи между препятствиями, разломами и противоречиями; в соответствии с этими ценностями и готовностью прийти на помощь она взяла к себе Гольдмана, который только через два месяца, после того как Стефана понемногу пришла в себя, вернулся домой, а потом, уже через несколько лет, когда Йоэль и Ципора поселились в мошаве, вновь стал гостить у них, в основном в летние каникулы, и немного помогал им по хозяйству, основная тяжесть которого была на Ципоре, и ей помогали Ермияху и Рут, и, сколько могли, Эстер и Авиэзер, он был самый младший, потому что Йоэль большую часть времени в тот период продолжал работать на английской военной базе и возвращался домой только к субботе, а Меир пошел в английскую армию через год после того как они перебрались в мошав, и через несколько месяцев службы в стране был послан в Египет, и время от времени присылал оттуда свои фотографии в военной форме на фоне садов Каира или Александрии, рядом с Нилом или пирамидами. Гольдман вставал утром вместе со всеми, еще до рассвета, на завтрак Ципора кормила всех стаканом горячего молока и тарелочкой меда, и выходил с Ермияху в покой утра, когда серо-голубой воздух еще полон прохладой, струящейся от влажной травы, фруктовых деревьев и кипарисов, когда глубокую тишину подчеркивали неожиданные

голоса и кряхтение проезжающей телеги, и шел к складу, что не остывал все лето, в нем пахло мылом, красноземом и мешками, готовил еду для куриц и гусей, собирал яйца, еще теплые, потом, если нужно, убирал вонючие птичьи клетки, чинил забор, окапывал фруктовые деревья, поливал их и грядки овощей, собирал перец, помидоры и огурцы, воздух был уже прогретый и кружили в нем тучи мух, а после обеда и отдыха, если было желание, ездил с Ермияху на маленькой деревянной телеге, запряженной гнедой рабочей лошадкой по кличке «Рассвет», на большой склад инструментов или к коровнику в центре мошава, или на дальний участок, который случайно отдали им для обработки, с него видна была водонапорная башня, и там они работали неспеша, пока солнце не садилось за тремя старыми пыльными фикусами и низкими холмами, а по дороге домой, в наступившем вокруг умиротворяющем покое, под усыпляющее мычание коров и лай собак, Ермияху иногда давал ему вожжи вести лошадь по широкой дороге, ведущей между участками овощей и бахчи и пустырями, покрытыми сорняком, травой и колючками, она тянулась дальше между хозяйствами мошава, и тогда, в умиротворении этого часа, Гольдман чувствовал себя гордым и бесконечно счастливым. Ципора, красная от солнца и работы, вспотевшая от жары и влажности, ее жирная и белая кожа была вся в веснушках, вела дом и хозяйство, и была занята от раннего утра и до того часа, когда все ложились спать, и кроме обычных работ еще по вечерам отвечала на письма Меира, заботилась о матери, когда та была у них, и еще был Авиэзер, закрытый в себе, как будто укутанный облаком, он перестал учиться и кроме работы по хозяйству, что делал с удовольствием и усердием, увлекся животными, выращивал насекомых, подбирал бродячих собак, потом стал растить жеребенка-скакуна, купив его у араба, а единственным человеком из всей семьи, с кем он сблизился, была Рут, и с каждым годом он становился все красивее и все более замкнутым, на нем сосредоточилось ее основное внимание и озабоченность: она пыталась понять, что с ним происходит, почему он так закрылся и отдалился от всех, но в один пре-

красный день очаг тревоги переместился: она обнаружила, что у Эстер роман с одним мужчиной из мошава, женатым и отцом троих детей, и целые недели, днем и ночью, не находила покоя, мучалась, не зная что делать, в конце концов, ничего не говоря Йозлю, тогда начались дожди, поговорила с Эстер и послала ее к Ермияху, тот бросил учебу еще раньше Авиэзара и вступил в Пальмах⁴¹, он находился с друзьями в киббуце, и там, в киббуце, Эстер провела несколько тяжелейших месяцев: почти ничего не ела, ее все время рвало, даже волновались за ее жизнь, и только постепенно, медленно, путем мучений, она как-то пережила этот разрыв. Эти дни в деревне, жаркие и полные свободы и приключений, навсегда слились в сознании Гольдмана с поездкой к Авиноаму и запечатлелись в его душе как лучшие дни его жизни, и так было несколько лет, пока Йозлю и Ципоре не пришлось продать хозяйство, Ципора уже несколько лет страдала от экземы и острых вспышек аллергии весной и в начале лета, и эти вспышки становились с годами все острее, к ним прибавилась накопившаяся в теле усталость, все становилось тяжелее, но, несмотря на это, они изо всех сил старались вести хозяйство, и только когда уже сил не стало, вернулись в город, но без Меира, который служил в Западной Пустыне, потом в Италии, и оставался там еще некоторое время после войны, участвуя в операции «Алия»⁴², и без Ермияху, который был в Пальмахе, а Авиэзер стал членом киббуца, но довольно быстро ушел из него и работал в порту, потом – наемным трактористом в сельском хозяйстве, выполняя разные земляные работы по всей стране, и только раз в неделю или реже навещал Йозля и Ципору, купивших маленький дом на окраине города, где и жили вместе с Эстер, Рут и Муссолини,

⁴¹ Пальмах (ивр.) сокращенное название «ударных рот», военизированных отрядов, созданных левыми социалистами еще до начала государства. После войны за Независимость Бен Гурион распустил эти отряды.

⁴² Смотри известный роман Юриса «Исход» (или любое описание истории г-ва Израиль).

арабским беспородным псом, который привязался к ним еще в мошаве, и с бабушкой Рахель, она, несмотря на возраст, была с ясной головой, ухаживала за собой, читала газеты на идиш и немного на иврите, навещала друзей и подруг, и си-нагогу, там к ней относились с большим уважением, она почти не нуждалась в помощи Ципоры, посвящавшей большую часть своего времени Нехаме, жене Меира из того же мошава, отец ее держал коровник и несколько дунамов под орошение, Меир женился на ней во время отпуска, когда служил в Италии, и пока он служил, родила ему сына. Это был брак после короткого знакомства, вначале случайного, все совершилось в спешке, не задумываясь, из желания ухватиться за что-то и не дать времени поглотить зерно близости, только начавшей складываться, но все вышло к лучшему, потому что Меир был нетребователен и практичен, а Нехама – женщиной прямой и работающей, не избалованной, и кроме первых месяцев после родов не нуждалась в помощи Ципоры, а та не старалась лезть с помощью, когда не просят, она всегда была в этом отношении осторожна и никому себя не навязывала, тем более что ее главной заботой и тревогой в то время была Тамима, жена Ермияху, которая тоже родила сына на несколько месяцев раньше, чем Нехама, но в отличие от Нехамы была женщиной рассеянной и нерешительной, что иногда граничило с наивностью, и не привыкшей к работе, так что, несмотря на все старания, была беспомощна и почти в панике во всем что касалось заботы о ребенке и ухода за домом, а в нем – хоть шаром покати, поскольку заработок Ермияху, что демобилизовался из Пальмаха и стал работать землемером, был скуден, но дети рождались исправно: через год родился еще один сын, а когда ему исполнилось два года, родилась дочь. Ципора была против этого брака, полагая, что он несет одни проблемы, но она ничего не сказала об этом Йоэлю, и, конечно, – Ермияху, потому что в дела такого рода не вмешивалась, знала, что даже если вмешается, пользы от этого не будет, и Ермияху, работающий и прямодушный, как его отец, очень любил Тамиму, в ней была особенная прелесть, немного детская, и даже в ее нерешительности было

что-то милое, не говоря о душевной простоте и щедрости, что только со временем открылось Ципоре, а в первые годы их брака она покупала им продукты, готовила, гладила, раскладывала все по полочкам и приглядывала за детьми, между тем Меир вернулся из Италии с лицом изборожденным морщинами и лысеющий, начал работать механиком, а по вечерам после работы еще чинил электроприборы, ставил замки и жалюзи чтобы немного подзаработать, и за два года у него родились еще двое сыновей, в это время прибыл среди беженцев из Европы молодой парень по имени Альтер, дальний родственник Ципоры, хотя ни она, ни мать ее не знали даже его родителей, только слышали о них, и Йоэль с Ципорой ввели его в дом, дали одежду и обувь, и поселили временно на балконе. Молодой Альтер был парень очень простой, без образования, непоседливый, Йоэль взял его к себе на работу, стал обучать бетонным работам, но он не успел научиться резать бетон – начались волнения арабов перед самой Войной за Независимость, и молодого Альтера взяли в армию вместе с Меиром, Ермияху и Авиэзером, при этом, несмотря на волнения, продолжали готовиться к свадьбе Рут с Яковом Тайхом, Йоэль и Ципора посетили его родителей, а в одну из суббот пригласили их к себе на обед и уже договорились о дне свадьбы, и Ципора, вся в тревоге за детей и Альтера, занятая выше головы детьми Меира и Ермияху и сестрой Сарой, которая не давала покоя, сидела долгие ночи за швейной машинкой и шила для Рут наволочки и простыни из самой лучшей ткани, что могла достать, но за несколько дней до свадьбы, когда наволочки и простыни были уже накрахмалены, отглажены, сложены в стопки и обернуты голубыми шелковыми лентами, пришло известие что Яков Тайх погиб в одном из караванов, доставлявших продовольствие в осажденный Иерусалим, и Ципора спрятала эти наволочки и простыни в шкаф, и меньше чем через год отдала их со смешенными чувствами Эстер, а та все время твердила Ципоре и Рут, и другим, что выйдет замуж только по любви, пусть она продлится хоть месяц, а если нет, то предпочитает остаться старой девой, и вот однажды, перед тем как выйти из дома, она тог-

да работала связисткой в армии, Эстер подошла к Рут и сказала со смехом: «Ночью я была на крыше. Знаешь, весна началась», и через девять месяцев у нее родилась дочь от Михаэля Каплана, и она вышла за него после короткого периода знакомства, церемония была скромной, с небольшим числом участников, даже Меира, Авиэзера и Альтера не было, потому что из-за войны они не смогли явиться, а когда стояла с ним под свадебным балдахином в белом подвенечном платье Тамимы, которое Ципора подшила ей в пору, легко можно было заметить, что она беременна. Рут вышла замуж через год за Гершона Гутлафа, специалиста по точной механике, старше ее на десять лет и по уши влюбленного, и Ципора сшила ей, вся во власти неуверенности, новые наволочки и простыни, а между тем, пока все были в трауре по Якову Тайху, по всей стране разгорелась война, и Ципора, хотя старалась держаться обычных дел, была как оглушенная, не знала дней и ночей от страха за троих сыновей и молодого Альтера, Йоэль, как и она, тоже старался сохранять невозмутимость, и только каждый день, будто невзначай, спрашивал, не было ли письма, никто не знал где они, на юге, или на севере, или в Иерусалиме, и это было ужасней всего, а полученные известия только увеличивали страх и тревогу, потому что были отрывочны и неясны, и приходили с большим опозданием, и так, в суতোлке дней, пришло косвенным путем известие о том, что молодой Альтер погиб, и Йоэль с Ципорой целый месяц носились между учреждениями, чиновниками и знакомыми, пытаясь выяснить, что же случилось, чтобы помянуть его и освободиться от навалившейся на них тяжести этой смерти, пока однажды вечером Рут открыла дверь на звонок, и молодой Альтер, который ничего не знал о своей смерти, вошел усталый, потный и грязный, но живой и невредимый, и Ципора не могла себя сдерживать, она спряталась в ванной и долго плакала, и вернулась, только хорошенько вымыв лицо. Через некоторое время после этого пришло известие о ранении Ермияху, он был ранен в грудь и руку и полдня пролежал под кустом в тяжелейший хамсин пока его не отыскивали и не отвезли в больни-

цу, там он лежал среди множества раненых, и Ципора, когда пришла навестить его в первый раз (Тамима навестила его днем раньше), несколько минут стояла в дверях большой залы и искала его глазами, пока не нашла, навещала почти каждый день, чаще всего с Тамимой, иногда с Йоэлем или Рут, и всегда приносила ему пирог, или фрукты, или луковую запеканку, которую пекла для него, зная, что это его любимое лакомство, а лук тогда был очень дорогой, и все это время между заботами дома и общими страхами тех дней была вынуждена вмешиваться и улаживать бесконечные, уже надоевшие ссоры между Сарой и Йоной Качинским, которые только углублялись и обострялись, заполняя все их время ненавистью и смятением, и привели их на грань разрыва, теперь уже и с его согласия, и даже по его требованию, и однажды, когда Сары не было дома, он собрал свои невеликие пожитки, одежду и личные вещи, в два чемодана и ушел, закрыв дверь на ключ, а когда стоял у двери, вышла соседка, посмотрела на него с любопытством, а он схватил чемоданы за ручки и сказал: «Госпожа Ривенфельд, я больше не могу», и ушел, но через пару дней вернулся и помирился с Сарой, которая чуть с ума не сошла от огорчения и одиночества, но это примирение долго не продержалось, и все вернулось на круги своя, и гнев, и ссоры, и Йона снова потребовал развода, даже Ципора была согласна, но Сара, которая вела к этому все годы, не спешила разводиться. Ципора также посылала посылки через друзей, приходивших иногда передать привет, и Меиру, и Авиэзеру, и молодому Альтеру, аккуратно завертывая пироги и печенье, а иногда баночку селедки или консервов, а к ним еще добавляла чистые носки, а иногда шнурки, или шарф, а для Авиэзера еще и сигареты, из самых лучших, какие удавалось достать. С годами он стал еще красивее, и более замкнут и молчалив, когда приходил домой на побывку падал на кровать и тут же засыпал мертвым сном, так что, если не разбудить, спал бы неделю, а когда пробуждался за час до ухода, возился с Муссолини, который большую часть времени дремал в углу и уже начал худеть и дурно пахнуть от старости, или сидел на кухне и

слушал Рут, она вязала и делала украшения, полные фантазии, из обрывков бумаги, обрезков тканей, осколков стекла и деревянных обломков, или вышивала на салфетках разных птиц, или рыб, он часто ее навещал и потом, после того как она вышла за Гершона Гутлафа, и только ему, единственному в мире, после многих лет молчания и скрытности, она поведала, не жалуясь, и даже без сожаления, о том, что Яков Тайх является ей во сне, а иногда, хотя и редко, даже когда она с Гершоном. Через несколько недель, когда война уже шла к концу, Ермияху вышел из больницы, до конца не вылечившись, раны еще беспокоили, особенно рана в руку, мешавшая руке двигаться, и вернулся к прежней работе землемером, он разъезжал по стране в пыльном тендере и возвращался домой поздно вечером, а после рождения четвертого ребенка стало совсем тесно, купить же дом попросторней не было денег, брать ссуды он ни в коем случае не хотел, пришлось дожидаться конца войны, когда жизнь постепенно вошла в свою колею, тогда братья и зятя, и молодой Альтер и Йозель, общими усилиями, работая поздно вечером и по субботам, пристроили к его жилищу, оно было недалеко от дома Ципоры и Йозеля, большую комнату, расширили кухню, две старые комнаты и веранду. Все вернулись к прежней работе, кроме молодого Альтера, выглядевшего гораздо старше своих лет и открывшего продуктовый магазин, и кроме Авиэзера, тот так и не женился, а к концу службы в армии вдруг захотел стать летчиком, его и в самом деле взяли на курсы летчиков, но на одном из промежуточных экзаменов он провалился, и его определили в отряд легких самолетов, выполнявших задания разведки, аэрофото съемки и связи, он занимался этим три года, а потом вдруг оставил армию и уехал в Америку, но, побыв там года два, вернулся и стал летать на распылителях удобрений. Работа ему нравилась, в ней, конечно, не было высот и скоростей, но было достаточно риска и вызова, опьянявших Авиэзера каждый раз, когда он летал на своем «Пайпере» над полями хлопка, или сургума, или сахарной свеклы, с резкими разворотами, низко-низко над землей, почти касаясь верхушек

невысоких деревьев или крыш бараков, иногда пролетая под проводами электропередач и взмывая вверх, а в свободное время он пристрастился к чтению, что раньше за ним не замечали, и по-прежнему любил собак, а после того как его боксер умер от отравления опылителем завел замечательную овчарку. Он жил один, и каждую субботу и на праздники приходил, как все его братья и сестры с их семьями, в дом к Йоэлю и Ципоре, которые, несмотря на следы возраста, что были уже заметны, продолжали свою обычную жизнь: Йоэль работал на стройках, а Ципора занималась домом и семейными делами, не знавшими успокоения, всегда случалось что-то, что требовало ее вмешательства: необходимость помочь кому-то из сыновей или дочерей, дать совет или разрешить какие-то напряжения и споры, помирить ссорящихся, как во время кризиса, что разразился между Тамимой и Ермияху после малозначащей любовной истории, случившейся у Тамимы, как бы последний всплеск молодости перед тем как жизнь окончательно погружается в обыденность, эта история ранила Ермияху, и он хотел развестись с ней, но Ципора остановила его и предложила ему подождать, поскольку ситуация, какой бы не была болезненной, на самом деле несерьезна, как пришла, так и уйдет, и только когда все кончилось, в момент, когда она и Тамима остались одни, она спросила Тамиму, ее открытое лицо все еще было гладким и свежим, было ли все это необходимо, и Тамима сказала: «Да», и Ципора, медленно проведя рукой по краю стола, посмотрела на нее, она все еще симпатизировала ей, как прежде, и сказала, что мужу об этом знать не обязательно, Тамима сказала: «Он от кого-то услышал», и Ципора сказала: «Так ты должна была отрицать это самым решительным образом», увидев, что Тамима внимательно слушает, добавила, что надо остерегаться, чтобы без необходимости не причинить боль другому, а потом сказала, что жизнь хрупка и зажата со всех сторон, и другой быть не может, с этим надо примириться без горечи, и повторила: «Надо остерегаться», и Тамима сказала: «Да, но не всегда получается», Ципоре захотелось провести рукой по щеке Тамимы, но она только по-

смотрела на нее с сочувствием и сказала: «Это верно. Я знаю», и продолжила гладить рукой скатерть, потом, помолчав, добавила, что есть привлекательность и в буднях, и добавила, что есть обязательства и ответственность, и они, в конце концов, возможно, не противоречат свободе, в любом случае, не каждый человек может отвернуться от них, и нужно это признать, она помолчала и продолжила: «Всю жизнь я молилась, чтобы не стать брюзгой», и легкая улыбка обозначилась на ее лице, и снова повторила: «Нужно остерегаться», она произнесла это очень спокойно, как и все другие слова, в них не было тона злости на Тамиму или обвинения ее, а вот Эстер ее ненавидела, может, из-за свежести лица, а может, из-за ее естественности и искренности во всем, и несколько раз пыталась снова вызвать подозрения у Ермияху, что Тамима опять ему изменяет, или, по крайней мере, способна на это, толкала его разойтись с ней, Эстер, ставшая злобной завистницей, ненавидела и Нехаму, и Рут, и ее мужа, лезла в их жизнь, как могла, и без перерыва искала возможности поинтриговать и разжечь ссоры, и они не раз вспыхивали громкими скандалами с взаимными оскорблениями. Она умело направляла эти ссоры в русло имущественных споров, в основном о наследстве и доли каждого, что было особенно отвратительно, утверждала, что ее право на наследство больше, чем у Нехамы, потому что отец Нехамы и так оставил ей коровник и землю, и даже больше, чем у Рут, хоть та и старшая дочь, а Тамиме вообще не должно было достаться ни гроша из-за ее измены, уж не говоря о том, что она растяпа, Эстер изливала свою желчь и на семейных встречах по субботам и праздникам. Эти встречи стали традицией, и члены семьи приходили чередой: Меир и Нехама с шестью детьми, Ермияху и Тамима с четырьмя детьми, Михаэль и Эстер с тремя детьми, Гершон и Рут, тоже с тремя детьми и с матерью Гершона, красивой женщиной с русским лицом, она много лет работала лаборанткой в больнице, а с тех пор как вышла на пенсию жила с ними; все собирались в большой комнате, и она с каждым годом становилась все «меньше», и уже не могла всех вместить, садились за стол, который от-

крывали на полную длину, и Ципора ставила на него сладости и фрукты, орехи и бутылки сока, все ели и пили, и разговаривали о делах семьи, работы, житейских трудностях, иногда вспыхивали политические споры, в основном из-за Михаэля Каплана, он был инженер-строитель с крайне левыми взглядами и не мог выносить, как «они там», то есть руководство, действуя несправедливо, необдуманно и недальновидно, разбазаривают готовность и возможности рабочего класса и разрушают страну, впрочем, несмотря на его импульсивность, которая со временем поутихла, он был симпатичный парень, с чувством юмора, и благодаря этому споры заканчивались, как правило, без обид, а затем, к концу вечера, Йоэль раздавал внукам еженедельные подарки; со временем семья все расширялась, внуки стали обзаводиться семьями и рожать детей, и полностью вместе она уже не собиралась, только изредка, некоторые переехали и были далеко, другие служили в армии, или были связаны семейными делами и работой, но большинство, если только могли, приезжали, как и прежде, с детьми, и Йоэль качал их на своих коленках и носил на плечах, что-то напевая, а когда Ципоре исполнилось семьдесят, собрались все, даже отец Гольдмана и Стефана, Шмуэль и Браха, и дядя Лазарь с Юдит Тенфус, и Йона Качинский с Сарой, они всегда уходили раньше всех, и молодой Альтер с женой и двумя детьми, старший уже заканчивал службу в армии, и мать Нехамы, и родители Тамимы, и даже родители Михаэля Каплана, оба были врачами и никогда не сближались с семьей, а Ципора со своей стороны не старалась их привлечь, но сейчас, когда они пришли, их приветливо встретили, и они сидели со всеми во дворе дома и праздновали это событие, хотя, по правде говоря, Ципора просила не отмечать свой юбилей, и посреди празднования, когда веселье было в разгаре, Йоэль достал из кармана маленькую коробочку, красиво завернутую и перевязанную ленточкой, и протянул ее Ципоре, она открыла коробочку и достала из нее золотые часы, он их купил по секрету, и в самом деле, с тех пор как она приехала в Страну у нее не было часов, и Ципора, улыбка разлилась у нее по лицу,

посмотрела на него сияющими глазами, счастливыми от благодарности, и они поцеловались, что заставило их покраснеть, а Меир и Ермияху, вместе с Авиэзером, Эстер и Рут тоже решили преподнести сюрприз и тоже – золотые часы, и так, в один миг ей досталась пара золотых часов под приветственные возгласы и смех присутствующих; праздник продлился за полночь, но постепенно гости стали прощаться и расходились по домам, так что, в конце концов, только Йозель и Ципора и Авиэзер остались почти до утра, как и всегда по субботам и праздникам. Ципора очень хотела, чтобы он женился, построил семью, потому что верила, что это может пойти ему на пользу, вытащить его из одиночества, но она ничего не говорила ему, даже не намекала, только смотрела с любовью и ожиданием на его красивое, загорелое лицо, уже изрезанное морщинами и все более печальное и замкнутое, на его кудрявые волосы, совершенно поседевшие, и пыталась догадаться, что происходит в его душе, что делается в его голове, и, не говоря ни слова, пыталась передать ему свои пожелания, в осуществление которых уже и сама не верила; большую часть сил и внимания она теперь посвящала Саре, заболевшей раком, болезнь распространялась и убивала ее, и Йона Качинский, чье лицо стало сморщенным и костлявым, как у птицы, и голос высох, плакал от горя и бессилия, она уходила у него на глазах, и он не мог ее спасти, или даже выполнить ее просьбы или требования по уходу, потому что ничего в этом не понимал и был сломан, он не мог видеть ее иссушенное лицо и тело, они отталкивали его, и он ничего не мог с этим поделать, потому что боялся, и у него не было средств нанять сиделку: все их деньги ушли на одежду и ковры, и развлечения, и в результате за ней ухаживала Ципора, но она уже была не в полной силе, годы сделали свое дело, болезни – свое: сосуды, диабет, гангрена правой ноги, причинявшая ей невыносимые боли и отнимавшая последние силы, энергию и возможность передвигаться, болезнь быстро развивалась, так что вскоре после смерти Сары Ципора уже не могла сдвинуться с места, только с чьей-то помощью, и проводила почти весь день в кровати или в кресле, или пере-

двигалась на коляске, помогал Йозель, или кто-то из сыновей или невесток, которые не оставляли ее без внимания, перевозили с места на место и помогали во всем остальном, в основном Нехама, которая готовила ей и Йозелю, убирала дом, стирала и гладила, и следила, чтобы Ципора всегда была в чистоте. Йозель, он еще больше чем Ципора старался дома держаться спокойно и доброжелательно, и даже иногда шутил, но тоже угасал с каждым днем, видя как тает его жена, и с каждым днем ему все труднее было это скрывать, как и другим членам семьи, они надеялись на лучшее и опасались худшего, зная, что от него не спрятаться, и только Ципора, несмотря на боли, не отпускавшие ее ни днем, ни ночью, несмотря на то, что всю жизнь привыкла обслуживать себя сама и больше всего боялась оказаться в зависимости от помощи ближнего, а теперь оказалась полностью зависима от других, старалась ободрить их и продемонстрировать волю к жизни и оптимизм, и не потому что предавалась иллюзиям, а потому что верила, ощущала всеми чувствами, что нельзя терять волю к жизни и положительный настрой, и что у нее нет никаких причин отчаиваться и оплакивать себя, ведь, в конце-то концов, ее руки и голова были в порядке, как и все ее чувства, и она верила, что человек должен бороться со своими трудностями и проблемами, а не перекладывать их, не дай Бог, на других, и когда семья по-прежнему собиралась, она еще нарезала пирог, который ставили перед ней, наливали сок и спрашивала каждого о его делах, давала советы или кому-то выговаривала с твердостью, рожденной знанием и прямоотой, и только один раз она ужасно разозлилась, так что не смогла себя сдержать, когда молодой Альтер пришел проститься с ней и с Йозелем, перед тем как уехать с семьей к брату в Австралию, и Ципора, выслушав вместе с Йозелем его слова, произнесенные неуверенно и робко, спросила: «Что тебе здесь не хватало, в Стране?», и молодой Альтер, остатки его волос растрепало ветром от вентилятора, чувствуя неловкость, потер руки, толстые и некрасивые, и промямлил что-то про налоги и про то, что человек живет один раз, а Ципора прервала его: «Это я знаю. Не велика мудрость», а Йозель

спросил его, не хочет ли он пить, день выдался жаркий, и было влажно, с его лба капал пот, и вентилятор не помогал, молодой Альтер, язык его с трудом шевелился, отрицательно покачал головой и пробормотал, что брат – единственный кто остался из всей семьи, и Ципора сказала: «Ладно. Езжай с Богом. Только смотри, не пришлось бы раскаться», и после некоторого молчания прибавила: «Никого тут силой не держат. Можешь ехать», молодой Альтер сказал: «Да», продолжая сидеть на краю стула, лицо его было мрачно, голова втянута в плечи, взгляд бегал по дивану и стульям, он ни разу не посмотрел Ципоре в глаза, время от времени пытался привести в порядок волосы, а Йоэль снова предложил ему стакан холодной воды, но молодой Альтер пробормотал: «Нет. Спасибо», вытер лицо локтем, снова что-то пробормотал про брата, потом встал, пожал руки Ципоре и Йоэлю, а Йоэль, проводив его до двери, сказал: «В любом случае, если надумаешь вернуться, дверь нашего дома всегда открыта», молодой Альтер поблагодарил его кивком головы, вышел из дома и зашагал под солнцем, а Йоэль смотрел ему вслед, пока он не исчез за оградой кустов, а когда вернулся и уселся в кресло молодого Альтера, сказал: «Люди носятся как мыши. Он еще вернется», а Ципора сказала: «Мне он тут не нужен», а через минуту добавила: «Нет, я не верю»; Шмуэль и Браха спросили его о Ципоре, как ее нога, Йоэль сказал: «Надо надеяться. Во всяком случае, врачи ничего не обещают», Браха сказала: «Никогда нельзя знать», Йоэль сказал: «Да. Может быть», потом сказал: «Целик скоро женится», Шмуэль сказал: «В добрый час. На ком?», Йоэль сказал: «Одна девушка из Хедеры. Учительница. Они в армии познакомились», и уселся рядом с дядей Лазарем, а Гольдман, он все еще держал пустую чашку и делал вид, что ничего не видит и не слышит, мгновенно подметил, как они похожи, Йоэль и дядя Лазарь, а после ухода Йоэля сразу встал, попрощался со всеми и тоже вышел, а на следующее утро поехал с Исраэлем в «Сан Антонио», сидел на одной из скамеек и слушал его игру на органе, после этого они пообедали в рыбной таверне, Гольдман много рассказывал во время обеда о служ-

бе, о своих планах, и вдруг сказал: «Я тебе завидую, что ты играешь», Израэль сказал: «Да», в это время он уже твердо знал, что из него и из его игры ничего не выйдет, а Гольдман сказал: «Это чудесно», и после короткого перерыва вновь вернулся к своим планам, а когда закончили обедать, взяли на десерт кофе по-турецки и турецкие сладости, возвращались пешком, вдоль моря, в воздухе ощущалось что-то осеннее и стоял резкий запах рыбы и водорослей, а вечером они пошли вдвоем в кино, визит к Ципоре в больницу Гольдман сдвинул на потом. Тень разрыва с Дитой витала над ним и тяготила сильнее, чем он мог предполагать, даже несколько раз он думал подняться к ней или, по крайней мере, позвонить, но сдержался, и так, купаясь в море, читая и занимаясь разными текущими делами, провел первые дни после окончания службы, на работу он не возвращался и даже не позвонил сообщить, что закончил службу, а с Цезарем встретился только на бегу. Цезарь был подавлен и взвинчен, почти не слушал, что ему говорил Гольдман, а через три дня, когда Элиэзра пошла с Гидеоном в раввинат, завершить развод, взял камеру и уехал из города, эти нескольких недель неопределенности, полных вспышек заоблачных надежд, гаснущих на следующее утро, обещаний, превращавшихся в обман, иногда прямо по ходу разговора, и окончательных решений, рассыпавшихся через час, оставили его напуганным, растерявшимся и очень злым, поскольку он не хотел этого развода и вот, все это внезапно осуществилось, хотя он делал все возможное, чтобы предотвратить развод, уговорами, обманом и угрозами, а иногда вообще исчезал, и до последнего вечера верил, что его не будет, хотя Гидеон и Элиэзра уже были в раввинате и основная часть бракоразводного процесса была позади, он надеялся что Элиэзра в последний момент испугается, но она не испугалась, да и сомнительно, что это могло бы остановить процесс, поскольку теперь уже Гидеон решил завершить начатое, и это после того как месяцами пытался повлиять на нее всеми средствами, и заставить отказалась от своего намерения, а когда отчаялся в этом, объявил войну: перешел жить во вторую комнату, перестал с ней об-

щаться, разве что проклинал, иногда в крик, и сообщил, что отомстит всеми возможными способами, лишит ее возможности видеть детей, не говоря уже о том, что не даст ни гроша, а однажды даже поколотил ее, но, в конце концов, под влиянием своих родителей, он смирился с ситуацией и согласился на развод, и даже потребовал его, и потребовал, чтобы все было сделано быстро и без скандалов. Церемония развода происходила в полдень, и сразу после ее окончания Элиэзра позвонила в студию, встретиться с Цезарем, Израэль, не осмелившись сказать правду, что Цезарь удрал из города, сообщил, что его нет и, наверное, вернется под вечер, а к вечеру, когда Элиэзра снова позвонила, Израэль снова соврал, мол, Цезарь звонил из Хайфы и просил передать ей, что он вынужден задержаться там до завтра, Элиэзра бросила: «Он обещал мне, что будет меня ждать сегодня в студии, или позвонит», Израэль сказал: «Я, правда, не знаю», Элиэзра сказала: «Окей. Когда вернется, передай ему, пожалуйста, что я у родителей и жду его звонка», Израэль сказал: «Хорошо», а Элиэзра добавила: «Я развелась», Израэль задумался и ничего не сказал, Элиэзра повторила: «Не забудь ему передать»; Цезарь вернулся через два дня, тайком, потный и помятый, выглядел так подавленно и беспомощно, что в первый момент Израэль чуть не рассмеялся, но сдержался, только вытаращил на него глаза, тот снял с себя тяжелую камеру, зашел на время в рабочую комнату, а выйдя, вытер лицо и спросил, звонил ли кто, и что вообще произошло пока его не было, Израэль, сидевший на кровати, сказал: «Элиэзра развелась», Цезарь спросил: «Что еще?», Израэль сказал: «Она звонила и просила передать, что она у родителей и ждет твоего звонка», Цезарь сказал: «Грязная проблядушка. Пусть идет к черту, и самым коротким путем», снял рубашку, воющую от пота, бросил ее на стол и зашел в ванну, а после того как помылся и сменил одежду налил себе полстакана виски, зажег сигарету и, облокотившись на рояль, сказал, что никогда не требовал от Элиэзры чтобы она развелась, и не предлагал ничего такого, наоборот, он был против, и не уговаривал ее этого не делать, во всяком случае, не спешить,

а посему этот развод его не касается, это ее сугубо личное дело. Израэль ничего не сказал, и Цезарь, весь расстроенный и подавленный, сорвался с места и заметался по комнате из стороны в сторону, при этом проклиная Элиэзру и Гидеона, и вдруг остановился и спросил Израэля, стоит ли позвонить ей, Израэль сказал: «Без вариантов», Цезарь посмотрел на него и спросил раздраженно, почему это у него «нет вариантов», и зачем ему вообще звонить ей, Израэль сказал: «Чтобы встретиться и завершить это дело», Цезарь на минуту задумался, потом нерешительно подошел к телефону, поднял трубку и тут же со злостью бросил ее, а через минуту снова поднял и стал набирать номер, но, не закончив, снова положил трубку и сказал, что все это не срочно и ничего страшного не произойдет, если позвонить ей завтра, она и так уже развелась, и, в общем-то, не знает, что он вернулся в город, наступила гнетущая тишина, Цезарь бросил долгий взгляд в окно, на улицу, солнце уже село, в небе висели маленькие серые облака, потом уселся на кровать рядом с Израэлем и сказал, что, в общем-то, было бы правильно жениться на Элиэзре, ведь он любит ее, но Израэль продолжал молчать, и Цезарь зажег себе еще сигарету и сказал, что, в сущности, эта жизнь ему надоела, надо отрастить бороду и уехать в Испанию, или в Америку, или поселиться на одном из греческих островов, потому что у него уже нет сил разгрести все эти завалы, выполнять все эти дурацкие обязательства и бессмысленные требования, у него нет желания снова жениться и строить новую семью, ему хватило одной, и никакая сила в мире не заставит его вновь это сделать, и уж точно не Элиэзра, она вообще не приспособлена для семейной жизни, и снова стал разворачивать перед Израэлем свои теории об идиотизме брака и крушении самого «института семьи» в современном мире, который становится все более текучим и стремится к аморфным ситуациям и отношениям, эти теории Израэль уже слышал от него не раз, но сейчас Цезарь расширил и модернизировал рассуждения, утверждая, что именно тем, кто любит друг друга, нельзя жениться, брак предназначен только для тех, кто не любит, потому что осу-

ществование любви в браке это ее смерть, ведь все, что есть жизнь, а любовь это жизнь, может существовать только в движении, а брак это остановка, замораживание, и любовь в нем существовать не может. Цезарь проповедовал эти убеждения с вдохновением, как будто хотел убедить в этом Израэля, он испытывал, почти отчаявшись, потребность в какой-то чудотворной формуле, следуя которой можно уйти от неизбежного выбора, и все выиграть, ничего не потеряв, а если выхода нет, хотя бы не делать того, что не хочешь делать. Израэль терпеливо слушал его, и Цезарь спросил: «Ты так не думаешь?», Израэль ответил: «Не знаю. Никогда об этом не думал», Цезарь взглянул на него, потом вновь подошел к телефону, но продолжал сомневаться и даже не поднял трубку, и после некоторых колебаний окончательно решил позвонить завтра, и, действительно, на следующий день позвонил Элизре, а вечером встретился с ней в студии. Элизра, она была усталой и напряженной, пыталась как могла, это скрыть и выглядеть счастливой, и действительно, она ощущала некий подъем духа, и, естественно, напряженность, и, после того как они обнялись и поцеловались, сообщила Цезарю, что развелась с Гидеоном и теперь ничего не мешает им пожениться, Цезарь, он готовил им кафе, сказал: «Да. Конечно. Слава Богу», и спросил, как Гидеон воспринял все это, Элизра сказала: «Нормально. Для него это не было неожиданностью», а потом добавила: «Я счастлива, что это уже позади», села на кровать рядом с Цезарем, и повторила, что теперь они могут пожениться, Цезарь погладил ее колено и сказал: «Да. Но, может, стоит немного подождать, пока все не уляжется», и при этом подметил, что ее красота уже не та, прежде всего лицо, в нем было что-то горькое, на грани увядания, и он вдруг почувствовал, что не любит ее, она даже не притягивает его, а только давит, и ему хочется, чтобы она выпила кофе и ушла, и чтобы они больше не увиделись, но Элизра продолжала сидеть, они беседовали о планах и всяких организационных мероприятиях: квартира, деньги, поездка за границу развлечься, Цезарь расточал ей любовные признания и между тем напомнил о трудностях и

проблемах, в которые сейчас погружен, прежде всего, из-за болезни сына, улаживал ее как только мог, но когда Элизэра захотела лечь с ним, вначале она думала, что он проявит инициативу, а потом проявила ее сама, она так нуждалась в близости и поддержке, но он улизнул под предлогом усталости, и Элизэра, выразив понимание, попыталась при этом еще раз, но он и на этот раз ускользнул, и она примирилась с его отказом, отвечала без радости на его обнимания и поглаживания, пустые и нетерпеливые, Цезарь проводил ее до дома родителей, там, наконец, расстался с ней, решив разорвать отношения безотлагательно, это показалось ему необходимым и не таким уж трудным, и пошел к Теиле, разбудил ее, час был уже поздний, и переспал с ней с радостью, вдруг она стала близка ему и необходима, больше чем кто-либо на свете, и так заснул, но на завтра, почти с утра, снова помрачнел и стал суетлив, и это мрачное и беспокойное состояние духа продолжалось с короткими перерывами несколько недель, пока длилось выяснение отношений с Элизэрой, когда он то обещал, то отступал от своих обещаний с помощью сомнительных объяснений, извинений и попыток вызывать к себе жалость, в основном за счет болезни сына, потом, через день-два, на него напал страх и чувство, что он теряет самое дорогое в жизни, и он возвращался к ней, взволнованный и влюбленный, и спал с ней, и обещал жениться, и даже назначал день, и снова отступал и избегал ее с чувством раздражения, а иногда и отвращения. Элизэра постепенно перестала давить на него, а потом и вовсе прекратила звонить и встречаться с ним, Цезарь поначалу вздохнул с облегчением, пока ему не стало известно, что она встречается с одним инженером, тогда, потрясенный этим, он пробудился, начал суетиться, поедаемый чувством невосполнимой потери, отчаянно попытался вернуть ее, но безрезультатно: впервые до Элизэры дошло, что он водит ее за нос, и, несмотря на его просьбы, она отказывалась встретиться с ним и потребовала, чтобы он прекратил ей звонить, но Цезарь, хотя ясно понял, что все потеряно, не прекращал, пока Элизэра не вышла за своего инженера, и тогда его страсть к ней превратилась в

ядовитую ненависть. Он поносил ее где только мог, с каждым встречным и поперечным, проклинал ее и ее родителей, и инженера, расспрашивал о нем и разными способами пытался разузнать подробности, или хотя бы увидеть его, и вот, за несколько дней до свадьбы, под вечер, Цезарь, наконец, и совершенно случайно, когда его машина остановилась у светофора, увидел его с Элиэзрой, они переходили улицу, и он смотрел им вслед, пока не исчезли из виду, все это длилось с минуту, а вечером он сказал Исраэлю: «Видел ее с этим стариком. Да на здоровье. Он выглядит, как ее отец. Убей меня, если я понимаю, как она может с ним спать, с этим куском импотента. Я уверен, что его член как зерно фасоли», потом добавил: «Да пусть выходит за него, если хочет. Наплевать мне», и еще добавил: «Ничего из этого не выйдет. Все это ерунда», и посмотрел на Исраэля, тот сидел у рояля, он был посреди репетиции, когда вошел Цезарь, и ничего не сказал. А Цезарь вдруг осознал, что все это не дурные предчувствия, или такой прием, чтобы вызвать его ревность, и не мимолетный каприз, и ему ничего не осталось как предаваться диким фантазиям: вдруг время побежит назад, или случится несчастье, он и в самом деле воображал себе, что Элиэзра умрет после дорожной катастрофы, или в результате болезни, или утонет в море, или ее инженер получит тяжелые раны, потеряет ногу, или дар речи, но никакого несчастья не произошло, и время не потекло вспять, и настал день свадьбы Элиэзры и инженера. Это был приятный солнечный день, из тех, что приходят после первых дождей, Цезарь зашел рано утром в студию, лицо было серым, чем-то занимался в «темной комнате», потом выпил кофе, рассеянно посмотрел на рабочие снимки и бросил их, он не воспринимал то что видел, терпения не было, поговорил немного с Исраэлем, рассеянно и ни о чем, потом подъехал на машине в гараж, после этого пошел на утренний сеанс в «Париж», но вышел в середине фильма и занялся всякими мелкими и необязательными делами в городе в надежде кого-нибудь встретить, а на самом деле ждал Теилу, когда она вернется с работы, он так нуждался в ней, но она задерживалась, а пока он зашел к родите-

лям, посидел там несколько минут и ушел, на большее не было сил, вернулся в студию, потом пошел навестить Тирцу и детей, но там были родители Тирцы, и он с трудом обменялся с ней несколькими словами, а когда Теила пришла, наконец, с работы (в это время церемония под свадебным балдахином, скорее всего уже закончилась, гости расселись за столами и уминали угощение), Цезарь был ей благодарен за это, взял ее в ресторан, он старался удержать ее любым способом, предложил пойти в кино, или потанцевать, но Теила, усталая и измученная, не понимала что происходит, и он отвез ее домой, когда было еще не очень поздно, разочарованный, потому что не хотел оставаться один, выйдя от нее, спустился к машине и поехал по дороге на Иерусалим и вернулся к ней под утро угрюмый и разбитый, и так прильнул к ней, что она, сонная, не сопротивлялась, а через месяц, в субботу днем, была их свадебная вечеринка, после того как сама церемония произошла несколько дней раньше в закрытом кругу родни, и без фанфар. Цезарь никому не сказал об этой вечеринке, только мимоходом, избегая подробностей, о свадебной церемонии не говорил вообще, ни до нее, ни после, но в субботу, где-то в четыре, позвонил Израэлю и умоляющим тоном попросил одеться и прийти на вечеринку, просто умолял, и Израэль сказал: «Хорошо. Я приду. Все нормально», Цезарь сказал: «Ты обязан. И приходи как можно скорее. Если сможешь, приведи и Гольдмана», и Израэль повторил: «Все нормально. Не волнуйся», и без особого желания, но и немедленно, позвонил Гольдману, тот был удивлен, потому что ничего не слышал о свадьбе и в это время был занят другими делами, но согласился прийти; Израэль принял душ, оделся, подобрал по дороге Гольдмана, и оба пошли на свадебную вечеринку, которая происходила в квартире родителей Теилы. Это была большая, но сумрачная квартира, будто толстые стены, обои и тяжелая деревянная мебель источали этот сумрак, окутывая серебро и хрусталь посуды, мужчин и женщин в торжественных костюмах и вечерних платьях, они стояли группами в больших комнатах и беседовали, в большинстве своем по-польски, или переходили с места на

место с бокалами вина и маленькими бутербродами в руках. Израэль и Гольдман сразу же почувствовали себя не в своей тарелке, немного постояли у двери, потом, постепенно пробираясь между людьми, стали искать Цезаря, и, высматривая его, наткнулись на Теилу, она была очень красива в голубом батистовом платье, и ее лицо осветилось радостью, когда она их увидела, они пожали ей руку, Гольдман даже поцеловал ее в щеку, пожелали «мазаль тов⁴³», и то же – ее родителям, которых Теила представила, потом она подвела их к Цезарю, он одиноко сидел на краю дивана в углу большой комнаты, и будто хотел отгородиться от всех, скрыться, исчезнуть, но когда увидел друзей, приободрился, быстро встать навстречу, ведь только их он ждал все это время, они обнялись, потом сели рядом на диван и не вставали с него весь вечер, потому что Цезарь всем своим поведением демонстрировал, что это мероприятие ему навязано, что обижало Теилу, она старалась изо всех сил сделать так, чтобы он был доволен, он же не давал друзьям сдвинуться с места, потому что был здесь чужим не меньше чем они и совершенно один, не было никого из его семьи, а из всей родни и друзей пришла только Яфа, побыла полчаса и ушла, и Беш, который никогда не ходил на свадьбы или подобные празднества, они вызывали в нем насмешку и злость, а тут неожиданно явился, раздавая улыбки, обнял Теилу, поцеловал ее, пожал руки родителям, пожелал им «мазаль тов», горячо похлопал по плечу Цезаря и сказал ему: «Не будь таким избалованным, Цезарь. Улыбнись. Никто не сделал тебе ничего плохого», и снова расцеловал Теилу, протянувшую ему стакан коньяка, улыбнулся ей с симпатией, приподнял стакан и сказал: «Живем!», выпил и добавил: «Не жалею о том, что было и о том, чего не было. Пустые сожаления, поверь мне», Цезарь сказал: «Да», и Беш продолжил: «Ты говоришь «да», но думаешь о другом», и, хотя врачи по-прежнему запрещали ему пить, а в последнее время даже очень настоятельно, налил

⁴³ Мазаль тов (ивр.) – привычная форма поздравления и пожелания удачи.

себе еще коньяку, опрокинул стаканчик и сказал: «Мне иногда кажется, что я тоже женился бы, но я уже потерял для этого. У меня слишком много вредных привычек, и я уже вижу ограду и ворота, не вставая на цыпочки. Так для чего?», и снова хлопнул Цезаря по плечу, погладил с нежностью голову Теилы, она стояла рядом и смотрела на него с обожанием, попрощался со всеми и пошел к Эрвину и Зине, даже они не пришли на вечеринку, оправдавшись болезнью Эрвина, она в самом деле обострялась с каждой неделей. Он сильно исхудал, кожа высохла и сморщилась, в последнее время ему было тяжело ходить, как будто его кости и мясо затвердели, он сидел большую часть дня в кресле в гостиной, или на балконе, перестал навещать офис, устремлял безжизненный взгляд на улицу, или в небо, или в стену, и бесчисленное число раз спрашивал Зину, или Беша, или того кто был рядом, который час, и все спешили ему ответить. Но через короткое время, иногда через минуту он опять спрашивал, не поворачивая головы, тем же испуганным тоном. Казалось, у него развился какой-то страх или недоверие к времени, или к часам, он долго, сосредоточенным взглядом смотрел на них, как бы пытался понять, что же на самом деле говорят ему стрелки и цифры, и уже не видел в них ничего кроме таинственных знаков, предназначенных для расшифровки только ему, но, несмотря на недоверие к ним и постоянные неудачи в разгадке, Эрвин не отступал от поставленной задачи и не переставал спрашивать сколько времени. Врачи не оставили ему много шансов, на самом деле не оставили никаких шансов, но именно это вдохнуло в Зину новую энергию, будто она почувствовала под тенью тревоги о приближающемся конце, тайный ток счастья, и все потому, что Эрвин, когда на него нападала раздражающая трясучка, или когда он справлял свои надобности в штаны, из равнодушия, или потому что уже не владел своим телом, с его жалким видом и видениями, которым он был подвластен время от времени, стал впервые, с тех пор как они поженились, зависим от нее, оказался полностью в ее власти, и ее жизнь, уже стертая и потерявшая всякий вкус и смысл, вдруг получила новое движение и на-

значение, будто ее мечтания осуществились, когда она уже потеряла надежду, и ей теперь нужно было куда больше сил и жертвенности, чем на собственные нужды, и, несмотря на уговоры Яфы, и Цви, и Макса Шпильмана нанять Эрвину сиделку, или поместить его в специальный санаторий, Зина неустанно ухаживала за ним сама: мыла его, брила, переодевала, меняла постель, обувала, отводила в туалет, иногда кормила, как ребенка, и все это она делала с готовностью и глубоким чувством удовлетворения, не ожидая награды, она надеялась что теперь, перед смертью, он оценит ее и полюбит вновь, а не только на короткий срок, как любил раньше, в начале их пути, когда они встретились в Вене, Эрвин был тогда на каникулах, а она – по дороге в Страну; так, день за днем, неисправимо романтическая, и бесконечно разочарованная, она следила за каждым его движением, за каждым словом, но, к сожалению, теперь уже трудно было определить, помнит ли он вообще ее имя, а, может быть, помнит и использует злонамеренно, он действительно время от времени, когда грезил или впадал в бесчувственность, называл ее другим именем, не раз даже мужским, и среди десятков имен, что он произносил: названий городов, женских имен, еды, гостиниц, лекарств, политиков, киноактеров, ее имя почти ни разу не произносилось, а если произносилось, она не была уверена, что он имеет в виду именно ее, и посреди этой путаницы, он еще взрывался иногда, совершенно неожиданно, обвинял ее в измене с Бешем, или с кем-то другим, и это радовало ее, и в тоже время пугало, в любом случае она отрицала все обвинения, но Эрвин не уступал, потому что верил в это, и тогда он вспоминал о Хемде, а один раз даже попросил пригласить ее прийти, все это было очень болезненно для Зины, но она продолжала ухаживать за ним как будто ничего не случилось, и следить за ним, за его словами, а он продолжал беседы, что вел много лет назад, с людьми, которых уже не было, или давал выход своим видениям, где вновь гулял по разным странам, по тем, что видел, и по тем, о которых только читал в книгах или видел в фильмах, и в своих грезах видел странные, ни на что не похожие здания, гигант-

ские стеклянные амбары, здания с меняющимися частями, верблюдов с пятью горбами, чудесные цветы и юных девушек с крепкими коленями и большими красивыми грудями, широкие дороги, мосты, или себя самого, как он плывет в кресле-качалке по большому озеру, но при всем при том были часы, когда сознание Эрвина прояснялось, он читал газету, слушал радио или смотрел телевизор, разговаривал с Зиной или гостями, даже встречался с директором своего офиса или с Максом Шпильманом, обсуждал с ними текущие сделки, и в этом состоянии прояснения был подвержен неожиданным вспышкам гнева на конкурентов и компаньонов, на работников офиса и на Цви, он обрушивался на него с обвинениями в расчетливости, в том что он ждет его смерти чтобы завладеть семейным имуществом, или вдруг впадал в воспоминания о далеких днях, с чувством удивления и непримиримости с тем, что ушедшее не вернется, ни следа от него не останется, и тень конца уже упала на него, он много говорил о своей смерти, приближающейся к нему таким отвратительным путем, о своей обиде на судьбу, он вдруг захотел жить вечно, и был в отчаянии от пустоты, расширяющейся вокруг, и не раз декламировал, в основном Бешу, но и Рухаме, она и Цезарь были, наверное, единственными, кого он сейчас любил без опасений и оговорок, такие слова, похожие на стихи: «Я видел в жизни удивительные страны, испробовал все яства дорогие, и денег много в жизни заработал, красотками в избытке наслаждался, а некоторых огненно любил и был уверен, что без них не проживу недели. А нынче и имен их я не помню. С трудом осознаю, что были некогда. И также всё вокруг. Каков же смысл во всем?», потом, без всякой видимой причины или знака о приближении, начинал безмолвно плакать, и, казалось, бесчувственно, слезы просто текли из глаз, плачь стариков, который потряс даже Беша, что-то сломалось в нем при виде того, что происходило с Эрвиным, а Зина, при всей ее любви и надеждах, иногда говорила в своем сердце, что было бы лучше, если бы он умер, и так освободился бы от своих страданий, не имеющих смысла, и прежде всего от унижения. Во время одного из таких просветлений, когда

смерть была уже близко, Эрвин сказал Цезарю, они сидели в комнате, у Эрвина было хорошее настроение, что у него осталось только одно желание в жизни – переспать с восемнадцатилетней девушкой, и он уверен, что кроме наслаждения это вернет ему, хоть на час, спрятавшийся от него мир, и он будет счастлив, даже если это принесет ему смерть. Цезарь, поначалу усмехнувшись, слушал его молча и ждал, когда отец закончит, чтобы уйти, но Эрвин по ходу слов помрачнел и стал умолять Цезаря, чтобы он сделал это ради него, так чтобы Зина не узнала, и он схватил руку Цезаря, который вдруг, в один миг почувствовал глубокое отвращение и враждебность к отцу, продолжающему просить его, упрямо и безжалостно, вызывая у Цезаря дикое желание оттолкнуть, сбросить его с себя, чтобы тот упал на пол, избить его в приступе отвращения, даже убить, он попытался отнять свою руку у Эрвина, прикосновение вызывало в нем брезгливость, желание закричать, но Эрвин не отпускал, и Цезарь обещал ему выполнить его просьбу, Эрвин сказал: «Но поспеши. Моя похоронная процессия уже вышла в путь», отпустил его и, обессилев, откинулся на спинку кресла. Это произошло через несколько дней после свадебной вечеринки Цезаря, а через неделю после этого Эрвин умер, в холодный ясный день, когда Зина вышла за покупками и оставила его одного на час, хотя обычно старалась этого не делать, а когда вернулась и открыла дверь уже знала, что он умер, и действительно, она нашла его на полу без признаков жизни, но тело было еще немного теплое, хотя теплота быстро испарялась, и без лишней суеты, все уже было готово заранее, позвонила врачу Эрвина, потом Яфе, потом Цезарю, Бешу и Цви, Рухама пришла сама, случайно, хотела навестить Эрвина, и когда первая паника и путаница прошли, и после того как врач окончательно установил факт смерти, Зина почувствовала, при всем волнении, облегчение, и глубокое чувство величия момента, еще не созревшее, она в какой-то мере ощущала его, когда представляла себе его смерть, и в тот короткий миг, когда открыла дверь и уже знала, что он умер, то ее беспокоило только то, что он умер, когда ее не было, но не чувством

вины, и не потому, что если бы она была на месте, то могла бы спасти его. Похороны были на следующий день, и Зина, празднуя свою окончательную победу, шагала за носилками, на которых лежало тело Эрвина в черной рубашке и черном пиджаке, парадно одетая и красивая, и вместе с печалью чувствовала себя значимой и полной жизни, как будто вышла за него снова, а по правде говоря, будто впервые, и на этот раз все будет хорошо и красиво, как они и мечтали, да и при всей ее печали об Эрвине, при всей ее любви к нему, он уже несколько месяцев как вышел из круга жизни и принадлежал смерти, и она была рада, что выиграла, и была рада поражению Хемды, хотя два-три раза у нее было побуждение сделать щедрый жест по отношению к ней, даже, быть может, предложить ей идти рядом с ней на похоронах, но, в конце концов, несмотря на соблазн, она этого не сделала и демонстративно проигнорировала ее, и Хемда, стараясь не выделяться, шла позади процессии. Яфа, Цви и Биатрис шли рядом с Зиной, а Цезарь и Теила за ними, дальше – Макс Шпильман и Рухама, ее беременность была уже заметна, и на ее лице, бледном и пожелтевшем в связи с ее положением, было выражение горя, и от этого оно было красивым и трогательным, Беш шагал позади, рядом с Хемдой, разговаривая с ней, это он сообщил ей о смерти Эрвина, и хотя не пытался ее утешить, он не был способен на такие вещи, уделил ей внимание и старался подчеркнуть разными способами, что она является частью этого события, и это и ее горе, не меньшее, чем горе самых близких, и время от времени, как бы в разговоре с самим собой, ругался и сплевывал. Он не приближался к могильной яме, стоял в отдалении, отстранившись от всех, а когда начались молитвы и Эрвина опустили вниз и засыпали землей, повернул голову и посмотрел равнодушным взглядом вдаль, а когда церемония закончилась, проводил Хемду до автобуса и расстался с ней пожатием руки, затем присоединился к Зине, Цезарю и всей семье, а когда вернулись в дом Эрвина, празднично убранный, Зина, еще погруженная в обстановку торжественности, в первый раз почувствовала страх его отсутствия и подступившую пустоту, Беш

открыл бутылку водки, и хотя уже несколько недель не брал алкоголя, налил себе стакан, и, не обращая внимание на увещевания Зины, Цезаря и Рухамы опрокинул его одним махом, а потом выпил и всю бутылку, и стал ругаться, проклинать врачей и смерть, и религию, и женщин, и весь мир, и вдруг проклял город, и сказал, что если бы мог, то разрушил бы его и оставил только одну стену, для собак, чтоб им было, где пописать на руины, и издевался над Цезарем, и над Максом Шпильманом, который сидел с каменным лицом рядом с Цви и не произносил ни слова, и себя самого обзывал жалким обманщиком, подонком, не сделавшим в жизни ничего хорошего, ни одного полезного дела, не женился и не родил ребенка, не построил дома, или чего-то такого, потому что всю жизнь был паразитом и жалким трусом, вруном, взявшим на себя роль шута, паяца, уничижительную роль презренного всеми типа, и стал стучать кулаком по столу и хототать театральным и пьяным, внушающим ужас смехом, пока Рухаме не удалось его успокоить. Несколько недель подряд Беш пил горькую, и, несмотря на это, а, может быть, благодаря этому, выглядел бодро как никогда в последние годы, даже помогал Зине, ее жизнь после недолгого, но благословенного периода, когда она ухаживала за Эрвиным, вернулась в свою пустоту и бессмысленность, и теперь уже без всякой надежды, и посреди этих пустых будней, протянувшихся перед ней в бесконечность, думала начать рисовать, или учиться скульптуре, или просто учить что-нибудь, как Яфа, которая по вечерам учила английский, а днем слушала лекции о Танахе и ивритской литературе, доставлявшие ей много удовольствия, в том смысле что давали ей ощущение, что она что-то делает для себя, и именно что-то в области духа, и не тратит жизнь попусту, но после того как дня три Беш не показывался и не звонил, она вдруг забеспокоилась и попросила Цезаря заскочить к нему и выяснить что случилось, Цезарь зашел к нему и нашел мертвым, сидящим в туалете с газетой. Смерть Беша расстроила его больше чем смерть отца, и с чувством беспомощности и оставленности – потери окружили его со всех сторон – , Цезарь сумел

вспомнить о нем, как что-то хорошее, только веселость и щедрость, и короткий визит на его свадебную вечеринку, а через некоторое время он и Теила, она делала все чтобы поддержать Цезаря после смерти Эрвина, и особенно после смерти Беша, пошли навестить Зину, Исраэль прошел с ними часть пути, а потом повернул в сторону моря, беспокойного, с набухшими над ним тучами, а Гольдман вернулся домой, где была только Стефана. Юдит Майзлер теперь приходила редко из-за холодов и дождей, предпочитала проводить время за чтением или смотрела телевизор, постепенно заменивший ей кинотеатр, кроме чтения она любила кино, особенно американские фильмы, а Стефана, большую часть времени она была дома одна, почти перестала разговаривать, и только иногда, по какой-то надобности, или если кто-то заходил навестить ее, обычно с коротким визитом вежливости, произносила несколько фраз, самых необходимых, в основном по-польски, а иногда, когда никого не было, напевала про себя польскую песню, одну из тех, что пела много лет назад Наоми и Гольдману, когда они были детьми. У нее было хорошее настроение, казалось, будто она вынырнула из течения времени и находится теперь там, куда стремилась, довольная и безмятежная, ничто ее не мучило, даже отсутствие Манфреда, которого столько лет, а сказать по правде, всю жизнь, любила, но не той любовью, которой любила своего брата Реувена, и не той, что вдруг проснулась в ней к Янеку, с его вышитыми рубашками и длинноносыми ботинками шевро, верящего всем сердцем в свою неотразимость и вечную молодость, она не могла и не хотела забыть то счастливое лето на даче, которое он подарил ей, с рекой и тенистыми лесами, а вскоре после этого началась мировая война, ее тучи уже висели над головой, и все смела за пять лет страха, тесноты и ненависти, а ненавидела она, ох, как ненавидела, тесноту дома и жильцов, Давида Костомольского, который никогда не чистил зубы, потом Моше Целермеира, а Манфред был в Лондоне, и она уже думала, что никогда его не увидит, как никогда больше не увидит Янека, и вот, сразу после войны, они вновь встретились, снова в ее доме, в присутствии

отца Гольдмана, Манфред, как обычно, говорил мало, а она боялась посмотреть на его лицо, и даже на его руки и пальцы, самые чувственные на свете, и так они сидели втроем, Манфред, она и отец Гольдмана, которого она уже не любила, даже из чувства долга, но еще уважала его, и держалась за это, и преклонялась перед его силой и прямоотой, и боялась его, прежде всего боялась, и это еще до того как он жестоко избил Гольдмана ремнем за то, что тот сломал одну из фарфоровых чашек чешского сервиза, того сервиза, который она ненавидела с той минуты как увидала, вместе с тем она чувствовала себя обязанной восхищаться им и не переставала им восхищаться, это было до того как он убил Нои Сомбре, она видела его, схватившего молоток, а потом слышала крики, и в это время, или сразу после этого, Манфред перестал приходить к ним в дом, потому что не мог вынести эту ложь, бьющую по лицу, и все что было связано с этой ложью, а ей стало легче, потому что и она не могла больше этого вынести, как и отношения к Манфреду отца Гольдмана, полное ненависти и обиды, без тени вежливости, он так и не простил Манфреду его коммунистическое мировоззрение, и прежде всего то, что тот уехал из Страны, а она продолжала держать с Манфредом связь, хотя ни разу не спала с ним, страстно мечтая об этом, страстно, и два или три раза они были близки к этому, однажды на квартире у Юдит Майзлер, но им мешали слишком густые путы условностей, слишком много обязательств и страхов, и она не спала ни с кем, кроме отца Гольдмана, и не потому что была удовлетворена, может быть несколько раз, в какой-то период, а из верности долгу, не потому что видела в измене нечто низшее или непристойное, просто верность была ее долгом, как женщины, и она хотела мужу всего наилучшего, и боялась его, и у этого страха не было никакой связи с Нои Сомбре, или с любым другим эпизодом, и потом, еще перед смертью Наоми, они почти перестали спать вместе, отчуждение все нарастало, а со смертью Наоми все отношения прекратились, они даже не спали в одной комнате, якобы для удобства, но она еще боялась его, и, правды ради, боялась до дня его смерти, но ненависть была

уже сильнее страха, и ее уже невозможно было спрятать, да и зачем, ведь он обвинял ее не только в том, что Наоми пошла в английскую армию и влюбилась в того англичанина, он обвинял ее в смерти Наоми, и уже нельзя было остановить поток ненависти и отторжения, он просто не оставил ей выбора, и все плотины рухнули, и режим скромности и преданности, в котором он держал ее, в этом режиме все должно было происходить в соответствии с его вкусом и почти все могло считаться грехом: одежда, прическа, заколка, еда, в которой не хватало соли, или сахара, или фраза, сказанная по его мнению неуместно, или разбитый стакан или чашка, как та чашка из чешского сервиза, уже не говоря о разводе Гольдмана с красавицей Ямимой Чернов, вокруг него царил атмосфера гнетущего насилия, всегда на грани взрыва, о ней говорили все его действия: как он входил в дом, усталый после работы, как снимал обувь, как сидел за столом и ел курицу, с опущенной головой и каменным от гнева лицом, отрывая мясо от костей, потом он обглаживал их, грыз зубами, высасывал мозг и сплевывал остатки костей на тарелку, и даже как веселился, это обычно происходило по субботам, когда он шагал по комнате с подушкой на голове и делал страшные рожи, или пел страшным голосом и бил по крышкам кастрюль, это она ненавидела больше всего, даже больше той казарменной строгости, с которой он следил за тем, как Наоми учится музыке, но она улыбалась ему и часто делала вид, что ей смешно, и такой, не развеселившейся, а подавленной, она была после страшной ссоры с Реувеном на свадьбе Рахели и Акивы Вайнера, он ненавидел Рувена и ненавидел Янека, и не скрывал этого, а она молчала, иногда даже соглашалась с какими-то обвинениями в их адрес, хотя и выражала это мягче, и все это до того, как она увидела его, схватившего молоток, и знала куда и зачем он идет с ним, он и не скрывал свою цель, и так испугалась, что не сказала ни слова, только закрылась в комнате, но все равно, через окна и двери, и даже через стены слышала вой Нои Сомбре, и в дикой панике бросилась к окну, но это уже было после того, как все кончилось, и она стояла у окна и видела тело Каминской, лежащее во дворе

дома, рядом с большим фикусом, в ночнушке, она проснулась тогда от звука тяжелого удара, будто мешок с мукой или песком упал с высоты и ударил землю, она бросилась к окну и увидела что произошло, еще не понимая ничего после неожиданного пробуждения, но и не удивляясь, как будто знала, что это произойдет, или по крайней мере может произойти, потом она отвернулась, спокойно, даже равнодушно, смерть Каминской действительно не вызвала в ней никакого сочувствия, а других чувств она себе выражать не позволила, отец Гольдмана быстро спустился во двор и вернулся злой с Йосефом Левитаном, они сидели на кухне, и она подала им чай, час был уже не такой ранний, но ситуация спутала время дня, и Йосеф Левитан, он сидел нога за ногу, говорил о Каминской и кроме прочего бросил: «Она была необычная женщина», отец Гольдмана сказал: «Она была продажная женщина, и будет лучше вообще не говорить о ней», Йосеф Левитан сказал: «Все же такие вещи не делают», а она спросила: «Почему не делают?», хотя спорить не собиралась и вообще на эту тему не думала, но она не любила Йосефа Левитана, человека мутного и ограниченного, преданного одной идее, и она не любила эту связь с ним отца Гольдмана, у нее не было никакого желания уходить в народ и жить жизнью коллектива, и так все было слишком тесно и слишком прозрачно, но она принимала эти трудности, как и другие, поскольку выбора не было, а иногда и с готовностью, стирала и гладила, и убирала дом, и делала покупки, и готовила, отец Гольдмана любил ее стряпню, хотя она готовила простые и не особо разнообразные вещи, и она старалась быть в контакте с членами семьи, любить Страну Израиля и Гистадрут, и партию, и политические споры и столкновения, и простоту нравов, в конце концов, это была ее жизнь, ее мир, и много лет она успешно держалась, но, может быть, устала, а может, все это было только иллюзия, в которую она верила, а на самом деле она не любила ни Страну, ни ее людей, ни близкую родню: Шмуэля с Брахой, Хаим-Лейба с госпожой Хаей, и дядю Лазаря, хотя его отъезд в Испанию ей понравился, ни даже Йоэля, поскольку, в конце концов, она была им чужой,

и не хотела ни их простоты, ни их доброты, и особенно не любила Ципору, хотя уважала ее и была ей признательна, она и ее боялась, но считала себя выше, и выше других членов семьи, может, потому что была из богатой и интеллигентной семьи, была образованнее их, знала немецкий, и немного французский и латынь, но знания эти негодились, а когда она тяжело заболела почками, обвиняя в этом отца Гольдмана, ее болезнь и беспомощность вследствие болезни разозлили его, то почувствовала обиду и горечь, не любила и бабу Хаву, простую, темную женщину, и не жалела ее, хотя и ухаживала за ней, как могла, не говоря уже об отношении к Моше Целермеиру и Давиду Костомольскому; Каминская – это была отдельная история ненависти, когда враждебность перемешалась с презрением, она презирала и вдову Цеймера, женщину с большой колыхающейся грудью, хохочущую в кинотеатре как лошадь, одевавшую в театр желтую рубашку или брюки, сам Цеймер был в ее глазах просто червем, но и к своим детям, прежде всего к Гольдману, отношение было отчужденным, Наоми она еще баловала, но в ее преувеличенной и удушающей заботе, из лучших побуждений, было что-то прохладное, как бы из чувства долга, и она это знала, и она не сожалела, что Наоми пошла в английскую армию, побывала в Египте, и никогда не чувствовала, что та согрешила, связавшись с англичанином, она знала об этом куда раньше отца Гольдмана, но ни с кем не делилась тайной, по сути она никого не любила кроме Манфреда с его костлявым и некрасивым лицом, с его острым взглядом, чувственными пальцами и жилистыми руками, она тянулась к нему и была в нем уверена, и совершенно по-другому любила Реувена, его красоту и светлое открытое лицо, отец Гольдмана отказался даже участвовать в его похоронах, и она ничего не сказала, хотя сердце ее разрывалось, но особенно она любила Янека, ее глупого брата, подарившего ей то сказочное лето, перед тем как все взорвалось, а к Юдит Майзлер она была привязана солидарностью и уважением, потому что она так и осталась незамужней после того как парень, за которого она хотела выйти, женился на другой, и потому что всегда наставляла ее, будучи решитель-

ной и уверенной в себе, уйти от отца Гольдмана, или по крайней мере не давать ему поработить себя, охранять изо всех сил свою свободу, но у нее не было на это сил, и только после смерти Наоми, без того, чтобы она к тому стремилась, все рассыпалось, и она взбунтовалась, он просто не оставил ей выбора, и она так хотела чтобы он сдох, и никаких угрызений совести по этому поводу не испытывала, она и сама хотела умереть, и перед тем как он уехал в Америку они стали жить в разных комнатах, и каждый вынимал из почтового ящика только свои письма, хотя ее это правило не касалось, поскольку писем она не получала, а письма Манфреда приходили через Юдит Майзлер, они были длинные и путанные, она читала их и перечитывала, глядя время от времени в зеркало, рассматривала складки кожи под глазами, и все лицо, ставшее обмякшим и сморщенным, старость уже гуляла по нему, как и на ее руках и на всем теле, оно подсохло и побелело, она исследовала его, когда мылась, и перед сном, ведь когда-то была красива, но сейчас чувствовала, что все искажается с каждым днем и теряет жизненность, но и Манфред состарился, хотя и по-другому, как и отец Гольдмана, а когда тот вернулся из Америки, ненависть, превратившись в постоянную часть их жизни, была уже настолько откровенной и сильной, что они и не старались ее скрывать, и, по правде говоря, ей и не пришлось подымать мятеж, достаточно было заткнуть уши и отвести взгляд, или просто выйти из дома, как она часто и делала; а старость и на него налетела, и все угасало и рассыпалось, ничего не осталось кроме жестокости и злобности, горькой и бессильной, он бесцельно выходил и приходил, или кружил по дому, тащил свои постаревшие ноги в домашних тапках, издававших противное шарканье, которое сводило ее с ума, как раньше бесконечные и злые ссоры, и даже хуже того, тогда она была молода и убеждена, что должна быть верной своим обязательствам и привыкнуть к враждебности и унижениям, как должна привыкнуть к палящему солнцу, к тесноте и бедности, не говоря уже о том, что всегда чувствовала себя в чем-то виноватой, в те времена еще были иногда короткие часы, порой даже день или два,

несчастных, если вдуматься, когда усилием, полным раскаяния, а иногда и сердечной муки, он пытался остановиться, примириться с ней, вновь найти что-то общее, отбросить гнев и ненависть, чтобы жить с ней в близости и покое, однажды он даже пал головой на стол и плакал горькими слезами, сотрясаясь всем телом, и она сама хотела помириться и искала способ, и роковую точку разлома в их отношениях, если таковая вообще существовала, и эти отдельные усилия, хотя и повторяющиеся, продолжились и после смерти Рувена, и даже после убийства Нои Сомбре, когда он сам выстирал свою одежду, запачканную кровью, и в период ее сердечных приступов, когда он был встревожен, бледен и совершенно растерян, в панике и гневе, пока смерть Наоми не избавила ее от этих попыток, она так и не узнала, как умерла дочь, и не хотела знать, теперь у нее были эти безжизненные стариковские шарканья, и, конечно, жара, она к ней так и не привыкла, и усталость, но вот и эти шарканья прекратились после того как он заболел и умер, и ни на час она не сожалела о нем, ни одной капли сочувствия не просочилось из сердечных ран, она осталась с Гольдманом, а он, несмотря на ее заботу, не любил ее, как и своего отца, и Наоми их не любила, Стефана это знала, и это было ей больно, но она никогда не говорила об этом с сыном, как не говорила с ним о Нои Сомбре, или о Каминской, или о Наоми, или о его разводе с красавицей Ямимой Чернов, эта связь смущала ее, а отец Гольдмана видел в ней позор и катастрофу, и его гнев полыхал в эти проклятые дни до и после развода, он и в этом обвинял ее, хотя и не прямо, и, конечно, Гольдмана, и сейчас она осталась с Гольдманом, и была бы рада, если бы он покинул квартиру, оставил ее одну в этих стенах, в этих желтых комнатах, в первый раз она не чувствовала себя в них одинокой, наоборот, она хотела этого, чтобы жить своей жизнью, и пребывать беспрепятственно в родимом приюте: небольшом местечке у подножья гор, только несколько раз она выезжала из него в Варшаву и Люблин, и дважды в Краков, один раз с Манфредом, который шагал рядом и руки были заложены за спиной, и однажды, спустя много лет, с Янеком, он курил

трубку и носил зеленую шляпу, и она сказала ему, что шляпа такого цвета выглядит чересчур лихо, но Гольдман продолжал жить с ней, и когда прошел в гостиную, где она сидела и читала книгу, бросив на нее взгляд, вновь обнаружил, как и в первый раз, когда вернулся из армии и сидел за столом на кухне и обедал, насколько Стефана стала похожа на Наоми, на образ Наоми, запечатленный в его памяти, и не только внешне; он задержался на минуту, спросил ее, как дела, и ушел в свою комнату. На этот раз Стефана вызвала в нем что-то вроде сочувствия, это после того как он научился не думать о ее ошибках, а со временем и вообще не думать о ней, относиться к ней с полным равнодушием, она больше не мешала ему, и кроме «Бульворкера», купания по утрам в море и коротких бесед с дядей Лазарем во время игры в шахматы, и, естественно, работы в адвокатской конторе, Гольдман был весь захвачен миром звезд и пространств Вселенной, только бессонница беспокоила, и он стал брать таблетки для сна, но они не всегда помогали, иногда ночи напролет он не мог заснуть, пребывая в каком-то призрачном состоянии, или в вихрях беспорядочных мыслей, вертелся, не зная покоя, из стороны в сторону, в конце концов, вставал, включал свет и с воодушевлением, но бессистемно, любительски, погружался в книги, которые описывали космос, серьезные астрономические и астрофизические проблемы, всякого рода звезды, Солнечную систему, галактики, происхождение вселенной, ее форму, величину и эволюцию. Бесконечные пространства, их невообразимые размеры и неисчислимое разнообразие звездных систем, огромное количество проблем и теорий, противоречивых и фантастических – все это воодушевляло его и наполняло радостью, порой он начинал смеяться от восхищения, так удивительны были эти миры, при этом он выучил названия звезд и созвездий, их место на небосклоне (хотя никогда не занимался наблюдениями, в этом он не находил интереса), читал про историю астрономии и биографии великих астрономов, наибольшую симпатию и любопытство из всех вызывал у него Иоганн Кеплер, он старался найти любую информацию о нем, о его жизни и, кроме прочего, о се-

мейном гороскопе, составленном Кеплером собственноручно, странный, увлекательный документ, Гольдман перечитал его несколько раз, и узнал из него, что Иоганн Кеплер родился в городе Вайль в Швабии, в семье, находящейся в тот момент в стадии распада, отца звали Генрихом, он родил семерых и Кеплер описывает его в своем гороскопе так: «Мой отец Генрих родился 19 января 1547 года. Продажный, упрямый, ищущий ссор, заранее обреченный на горький конец. Венера и Марс усилили его злобность. Юпитер, находящийся возле Солнца, сформировал его пустым человеком, но дал ему богатую жену. Юпитер 7-го привел его учиться на артиллериста. Итак: множество врагов, брак, полный ссор, мелочная гордость, пустые надежды на знаки отличия, бродяга. В 1577 был под угрозой виселицы. Потом продал дом и купил мясную лавку. В 1578 взорвалась пороховая бочка, и взрыв искорежил его лицо. В 1579 плохо обошелся с моей матерью, в конце концов, был изгнан из дома и умер». По слухам он нанялся на флот неаполитанского королевства. В любом случае с 1588 исчез навсегда из семейного круга. Его мать Катарина была дочерью торговца, как писал Кеплер в семейном гороскопе: «маленькая, худая, чернявая, сплетница, образованная, плохого характера». Она собирала травы и готовила из них лекарства, веря в силу их чудодействия, и так заработала на свою голову славу ведьмы, и ее чуть не сожгли как имеющую контакт с дьяволом, за это в свое время сожгли ее дядю, который ее вырастил. История с матерью началась в 1615 году, когда Леонберг, городок, где она жила, охватила лихорадка охоты на ведьм, в результате чего было сожжено шесть женщин. Катарина, она уже была стара, сморщена и уродлива, дружила с другой злобной старухой, женой стекольщика Якова Рейнгольда, и та обвинила ее в отравлении колдовским зельем, и с тех пор она болеет, хотя болезнь началась от осложнений после аборта. И тут же граждане вспомнили, что некоторые из жителей Леонберга заболели после того, как пили из жестяного бочонка, который Катарина всегда держала полным, чтобы напоить гостей. Одна женщина по имени Бастиан Маер умерла от глотка из этого бо-

чонка, а учителя Бойтальшпахера парализовало до конца жизни. Кроме того вспомнили, что Катарина однажды просила у могильщика череп ее отца чтобы сделать из него серебряный кубок для сына, того самого придворного звездочета, тоже занимавшегося, по их мнению, колдовством. От ее дурного глаза пострадали также дети портного Даниэля Шмидта, которые быстро умерли. Еще стало известно, что она проныкает в дома через закрытые двери, что ехала верхом на ягненке и пришпоривала его, пока он не сдох, а его мясо она приготовила другому сыну. Обвинения были серьезные, и только после долгого расследования, требований, унижений и долгих месяцев заключения, и благодаря усилиям Кеплера, ее освободили, и она спаслась от суда. И себя самого, свое детство и юность Кеплер разобрал в семейном гороскопе, он написал его в двадцать шесть лет, и в тот же год добавил к своим записям еще один документ, который заинтриговал Гольдмана больше всего, в нем Кеплер говорил о себе, в основном в третьем лице, кроме прочего, нарисовав такой автопортрет: «Этот человек похож на собаку со всех точек зрения. Внешне он похож на маленького домашнего пса. Тело гибкое, худой и сильный, ладно скроен. Даже его привычки в области еды собачьи: любит грызть кости, сухие корки хлеба, и всегда такой голодный, что старается поймать все, что попадает на глаза. Вместе с тем мало пьет, тоже как собака, и удовлетворяется самой простой пищей. Таково же и его поведение. Он нуждается в одобрении окружающих, абсолютно зависим от других и выполняет все их желания, никогда не обижается, если его наказывают, и всегда жаждет вернуть себе доброе отношение. Он не знает покоя, сомневаясь, что изучать: государственную экономику или частную, всегда следует за кем-то, подражая его мыслям и делам, простые разговоры ему скучны, и все-таки он принимает гостей с радостью, просто как маленький песик: но, если что-то у него забирают, даже самое малое, он рычит. Скотину в поле преследует неустанно и лает на нее. Он злой и кусает людей. Многих он сильно ненавидит, и они уступают ему дорогу, но хозяева его любят. Как собака, он боится купания, быстр как

вода, и это точно из-за квадратного Марса со стороны звезды и треугольной Луны: вместе с тем он очень верен себе. Учителя хвалили его за точность измерений, хотя с нравственной точки зрения он был худшим среди сверстников. Фанатично религиозен. Когда ему было десять, и он впервые читал святое писание, то пожалел, что у него отняли право быть пророком из-за несправедливого образа жизни. После каждого преступления проводил церемонию раскаяния в надежде избежать наказания: церемония состояла из провозглашения ошибок перед народом. У этого человека соединяются две противоречивые склонности: всегда жалеть о потерянном времени, и всегда бессмысленно его тратить ради любой прихоти, поскольку звезда клонит его к развлечениям, играм и другим мелким радостям. Но скупость мешает ему предаваться разгулу, и он в основном веселится в одиночестве. Надо отметить, что он экономит деньги не с целью разбогатеть, а из страха бедности, хотя, возможно, что скупость есть естественное проявление этого преувеличенного страха». Он умер в Регенсбурге, после того как тяжело заболел, и как рассказал свидетель, видевший его на смертном одре, он ничего не говорил, только показывал пальцем то на голову, то на небо. На могильной плите выбиты его собственные слова: «Я упорядочил небо, а теперь наведу порядок среди теней, Дух вознесся к небу, а тело укутают тени»⁴⁴, эту фразу Гольдман позднее записал в начале своей тетради, где записывал свой перевод «Сомниума», а тогда он только прочитал о книге несколько слов, но потом, когда достал текст и занялся переводом, на этой надписи сосредоточилось все его внимание, а пока он продолжал проявлять неустанный интерес к теориям звезд и космоса, к философским и теологическим проблемам, связанным с ними, и к борьбе вокруг этих теорий, иногда он заговаривал об этом с дядей Лазарем, сначала сжато,

⁴⁴ По свидетельствам (могила разрушена еще во время 30-летней войны) надпись была на латыни и гласила: "Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras // Mens coelestis erat, corporis umbra iacet".

потом все больше распространяясь на эти темы, дядя Лазарь слушал его, что-то спрашивал, иногда выдвигал собственные соображения или высказывал сомнение, а потом стал брать у него книги почитать, Гольдман давал ему, хотя и с трудом: как и его отец он не любил одалживать книги, даже те, которые не собирался больше читать, но в своем воодушевлении превратился в миссионера-любителя космологии и астрофизики, а кроме того не мог отказать дяде Лазарю, который был замечательным собеседником, и разговоры с ним доставляли Гольдману удовольствие, давали ему возможность проявить свое воодушевление, и к тому же обостряли его понимание, только визиты дяди Лазаря становились все реже из-за погоды, тем более что в последнее время он стал часто навещать Браху, с того момента как у Шмуэля случился сердечный приступ, она оставалась постоянно в его комнате и превратилась в источник нестерпимого беспокойства для всех окружающих, и прежде всего для Шмуэля, он хотел бы забыть о своей болезни и вернуться к обычному образу жизни, но Браха принуждала его к жесткой диете чтобы похудеть и снять опасность повышенного давления, готовила ему без соли, и еда была настолько безвкусная, и в таком малом количестве, что он стал почти каждый день, тайно, есть в ресторане, и она заставляла его отдыхать, следила чтобы не перетруждался, не уставал и не волновался, и ложился спать пораньше, вследствие чего отменила игру в карты по субботам, с болезнью Шмуэля эта традиция только временно прервалась, хотя, на самом деле, игра и так в последние годы потеряла для нее всякую прелесть и превратилась в повинность, и потому что с каждым годом группа постоянных игроков все уменьшалась из-за всяких болезней и смертей, а еще из-за ссор, в большинстве случаев малозначащих, но с возрастом становилось все труднее мириться, люди стали очень чувствительны, упрямы и злопамятны, да и сами игры с возрастом надоели: вместо веселья и смеха, ранее сопровождавших игру, расплодилось сверх всякой меры однообразные легенды о внуках и правнуках, совершенно неинтересные Брахе, большую часть потомства она даже не знала, и

повторяющиеся до тошноты рассказы, передаваемые подробно и настойчиво, с тупым упрямством, о болезнях и самочувствии, о лекарствах и врачах, о смертях и потерях, эти были особенно ненавистны Брахе, и несмотря на то, что игра в карты давно превратилась в привычную традицию, вроде субботы, праздников и дней рождения, в нечто обязательное, она положила ей конец, заботясь о Шмуэле, а с тревогой за него возросла и тревога за детей и внуков, она все меньше полагалась на них, все время боялась несчастий и все чаще звонила им и бомбардировала указаниями и предупреждениями, так что всем надоела, особенно раздраженно, на грани грубости, реагировала Илана, но Браха не могла себя сдерживать, тревога завладела ею, и вместе с указаниями и предупреждениями она приносила им, Илане и Ури, соленую и маринованную рыбу, и мясо, иногда целые кастрюли чолнта или вареной морковки с изюмом, и, конечно, пироги, что пекла сама специально для них, и в тот же период стала уделять, даже не обратив на это внимания, все больше времени мертвым: часто навещала могилу отца, деда Баруха-Хаима, и могилу отца Гольдмана, все годы их связывали узы теплой дружбы, и могилы родителей Шмуэля, заботилась, чтобы могилы были ухожены, хлопотала о распределении одежды и предметов домашнего обихода Хаима-Лейба, который утасал и умер через несколько недель после смерти жены, госпожи Хаи, заболев воспалением легких, часто участвовала в похоронах и визитах соболезнования, и в церемониях поминовения, и это несмотря на старания Шмуэля и Ури, и Иланы, и Ципоры, и дяди Лазаря, как-то отвлечь ее от этого, в конце концов мертвые окружили ее жизнь плотной паутиной, пока в один из дней, в час отдыха, Браха сказала в шутку дяде Лазарю, что за толпой мертвых и чередой похоронных мероприятий ей иногда кажется, что она уже умерла, и дядя Лазарь сказал: «Так, может, и в самом деле немного поутихни с этим делом. Никто из мертвых не предъявит претензий», и это произошло незадолго до того как и сам дядя Лазарь умер однажды ночью вместе с Юдит Тенфус в результате глупой оплошности: хозяева соседней квартиры прода-

ли ее, а новые жильцы заказали дезинфекцию, ее проделали основательно, заткнули после обработки все щели, чтобы распыленные химикаты подействовали, но пары яда из этих щелей просочились в квартиру дяди Лазаря и Юдит Тенфус, а их окна и двери из-за холода были плотно закрыты, и оба умерли во сне. Это обнаружилось на следующий день днем, одним из товарищей по работе дяди Лазаря, и через два дня прошли похороны, после того как полиция закончила расследование о причинах смерти. Шмуэль сообщил об этом Гольдману, и тот немедленно поспешил к ним домой, там уже были Браха и Шмуэль, Йоэль и Меир, и брат Юдит Тенфус с женой, двое полицейских и несколько незнакомых людей, соседей, или товарищей по работе, некоторые сидели на кухне, маленькой и чистой, другие были в комнате с видом на улицу, потому что в спальне, на широкой кровати еще лежали рядом друг с другом тела дяди Лазаря и Юдит Тенфус, покрытые простынями. Гольдман вошел в эту комнату и с минуту постоял молча, потом вышел во вторую комнату, обменялся несколькими словами со Шмуэлем и Брахой, ее глаза были красные и опухшие от слез, они советовались с Йоэлем и Меиром, что делать с бабой Хавой, и решили, что Браха сообщит ей о несчастье, и в день похорон Браха сообщила бабе Хаве о смерти дяди Лазаря, но она была уже глуха и ничего не понимала; эта смерть потрясла Гольдмана, но не так как он ожидал, еще перед тем как он вошел в спальню, первоначальная взволнованность ушла, и ему показалось, что он не чувствует никакого сожаления или потрясения, что удивило его, и даже вызвало какую-то неловкость, чувство вины, он постоял в углу комнаты, ушедший в себя и безмолвный, чужой всему происходящему, слушал без интереса разговоры, и только когда вынесли тела, чтобы перевезти их в Институт судебной экспертизы, пришел в себя, а потом, когда люди стали выходить, незаметно, преодолев нерешительность, взял «Природу космоса» Фреда Ойла, в свое время он дал почитать эту книгу дяде Лазарю, а когда вошел, сразу заметил ее среди других книг, лежащих на столе, и теперь, быстро спрятав ее во внутренний карман плаща, вышел

вслед за всеми. Во время похорон Гольдман чувствовал пустоту и бесчувствие, но постепенно это равнодушие ко всему сменилось любопытством, хотя и отчужденным, оно возникло еще в комнате, и вот, когда он стоял и рассматривал, вначале от скуки, бездумно, столпившихся вокруг могилы людей, то стал отмечать про себя тех, кто не пришел, потому что уже умер, их было немало, и вдруг ухватил картину страшных изменений, произведенных временем в толпе родных и близких, старых и молодых (только некоторые смогли убежать от преследования временем: Тамима и Давид Костомольский, Авиэзер и Рут, ставшая даже изящней), оно высушило их кожу и мясо, исказило их и изуродовало, и тела и лица, не говоря уже о признаках усталости и разочарования, горечи и замкнутости, эти изменения вызвали у него отвращение, а главное страх, он надеялся, что не похож на других, и его участь будет не такой как их участь, но вместе с тем знал, что это пустые надежды, он смотрел на Браху и Шмуэля, на Меира, который сильно постарел и облысел, на Йоэля и на Ермияху, и на Йону Качинского, и на Эстер, она очень растолстела, живот так вырос, что грудь стала незаметной, на Моше Целермеира, он стоял рядом с женой и плакал, и на Илану и ее мужа, и на Ури и Авраама Шехтера, он пришел на похороны один, без Рахель, которая с момента короткой встречи с дядей Лазарем, когда он вернулся из ссылки в Якутии, больше с ним не виделась, как и его сын и дочь, они тоже не пришли на похороны, так же как и не пригласили его на свои свадьбы, они отвергли его полностью, но, несмотря на это, дядя Лазарь посылал на каждую свадьбу подарок, но письма благодарности, или какого-то знака, что подарки приняты, не получил. После того как ямы засыпали, и церемония завершилась, собравшиеся разбрелись, шагая к выходу в сером холодном воздухе зимних вечерних сумерек, и Гольдман, его лицо остыло от долго стояния на холоде, шагал вместе со всеми, держа руки в карманах плаща, подумал было навестить заодно могилу отца, но не сделал этого, а пока шел, в нем постепенно, почти благостно, стало расти осознание смерти дяди Лазаря, как окончания пьесы, и его

– зрителя – одиночества, но постепенно оно превратилось в давящее сознание пустоты, которую нечем заполнить, и тоски, а потом – в мысль о том, что его жизнь уже позади, вот, его вытолкнуло к смерти, и он со всеми простился, а когда сел в автобус, забитый людьми так что нечем дышать, ему захотелось свернуться калачиком и неудержимо заплакать, он чувствовал, что плач поможет ему, освободит, но освобождение не пришло, он не плакал с юности, а когда пришел домой и улегся с «Космологией», в нем еще оставалось желание выплакаться, давящее и не находящее себе выхода, будто что-то тяжелое закрыло выход слезам, и это замурованное желание, стиснувшее его грудь и мозг, не оставило его и на завтра, оно возвращалось к нему время от времени все последующие дни, до самой смерти, и в эти дни чувство потери, чувство расставания по отношению к дяде Лазарю становилось еще глубже, и оно каждый раз отзывалось ощущением потери кого-то другого: Наоми, отца, Хаима-Лейба, или Диты, Сони, в его воображении она была еще молода и красива, как тогда, и крутилась где-то там с разными мужчинами, и это ощущение возвращалось и напоминало о себе разными мелкими деталями: каким-то запахом, чьим-то отражением, разными вещами, полной опустошенностью квартиры, где воцарилось безумие Стефаны, погруженной в зимнее безмолвие, в чувство замурованного счастья, хранящей тщательно и с гордостью некоторые из величавых манер, всегда роскошно одетая, с изящным макияжем, с польской аристократичностью, немного выцветшей и запыленной, Стефана отвернулась от сорока пяти лет жизни в Стране Израиля и вернулась в навечно возобновленную жизнь в своей Польше, как она ее видела в воображении, и при этом разорвала все прежние личные связи, семейные и дружеские, кроме отношений с Юдит Майзлер, и даже на письмо Манфреда, что пришло в начале зимы и Стефана прочитала его, рассеянно листая, она не удосужилась отвечать, и с ходом зимы ее отчуждение и молчаливость нарастали, все шло без усилий, само собой, так что она уже с трудом отвечала на «шалом» Моше Целермеира, что продолжал навещать ее по крайней

мере раз в месяц, и Израэля, он всегда говорил ей «шalom», когда заходил к Гольдману, а тот, из-за бессонницы и таблеток, а часто без видимой причины, переходил от депрессии и бессилия к воодушевлению, даже восторженности, что не раз пугало Израэля, в день свадьбы Цезаря ему стало известно, что Элла покинула Тель-Авив и живет в Иерусалиме, в тот вечер он возвращался после прогулки вдоль моря и встретил одного парня что работал в университете лаборантом в отделении естествознания, Элла именно для него рисовала те рисунки растений и животных, и парень сообщил Израэлю, среди прочего, и эту новость, и она вновь пробудила в нем тоску по Элле, тихую, но не проходящую, он несколько раз думал в эти зимние дни, заполнившие сумрачные комнаты студии холодом и скукой, поехать и найти ее, но удержал себя гордостью и гневом, и отдался игре на органе, а Гольдману, который иногда спрашивал как Элла, и где она, отвечал отрывочно и скрытно, как и Цезарю, тот тоже спрашивал иногда про Эллу, но в его вопросах не было и доли реального интереса, потому что Цезаря всегда и прежде всего интересовал сам Цезарь, и его проблемы, в последнее время сосредоточились вокруг болезни сына и на отношениях с Теилой и Элизрой, последняя проблема была, на первый взгляд, решена, но Цезарь только постепенно, путем сумасшедшей беготни за юбками и самоотдачи в работе, с помощью развлечений и разных других вещей, отвлекающих внимание, и прежде всего из-за болезни сына, сумел в какой-то мере примирился с новой ситуацией и утихомирить свою враждебность к Теиле и ненависть к Элизре, два-три раза он еще пытался встретиться с ней и после своей женитьбы, но она отказалась, и враждебность и ненависть к ней застыли на какой-то промежуточной ступени, превратившись в глубоко спрятанную, ноющую боль, что с одной стороны не дает покоя, но с другой – не разрывает сердце, и только еще один раз эта ненависть взорвалась и силой зависти вырвала его из кокона привычной муки: когда ему стало известно, что Элизра ждет ребенка, да, он все еще тосковал по ней и верил, что только она может дать ему счастье, и ненависть, силой избалованности

и эгоизма, не знающего границ, продолжала клокотать в нем под скорлупой примиренности, как и вера в то, что ее брак — это проходящий каприз, или ошибка, и не может долго продлиться, что все это скоро закончится, должно закончиться, и вернется к исходной точке, такой для него желанной, и теперь, когда действительность опрокинула его надежды, да так жестоко и бесповоротно, он проклял Элизру, и ее мужа, и ребенка в ее чреве, и молился, чтобы у нее случился выкидыш, и проклинал Теилу, не понимавшую его состояния и озабоченную своими трудностями, ожидающую хоть какого-то ободрения с его стороны, или хотя бы приветливости, вместе с тем она была осторожна, старалась не выдать то, что таилось в душе, и не потому что стеснялась, или видела в этом знак слабости, а потому что не хотела создавать ему трудности. Весь день лава ненависти Цезаря фонтанировала вовсю, и он, как обычно, не мог найти себе места, без толку носился по городу в своем покореженном и помятом «Плимуте», поднялся к одной женщине, с которой спал время от времени, но не застал ее дома, а Вика спала со своим мужем в Лондоне, она послала ему оттуда книгу фотографий, купил себе зачем-то две пары брюк, потом поднялся в студию, но там никого не было, и отправился в кино, а потом зашел в «Портофино», заказал пиво и сыры, сидел в углу, ел и пил, перебросился парой слов с хозяином, и все время надеялся, что зайдет кто-нибудь из знакомых, в конце концов, когда уже было почти четыре, встал, расплатился, снова завернул в студию, уселся напротив Исраэля, который только что вернулся из «Сан Антонио» и лежал на кровати, посмотрел на него в ожидании: он нуждался в ком-то, кто вернет ему уверенность и надежду, и даже просто в обычных, малозначащих словах, или просто в успокоении, но Исраэль молчал, и в его светло-голубых глазах не было и проблеска сочувствия, потому что, по его мнению, все это было глупо и скучно, а собственное упрямое отчуждение и бегство от тоски ожесточили его сердце, у него не было желания утешать кого-то, с трудом был готов слушать, он смотрел застывшим взглядом на Цезаря, а тот встал и заметался по комнате, в гневе загово-

рил о Гольдмане, который за два дня до этого, в ответ на намек о положении сына, сказал ему в порядке ободрения, что не стоит впадать в панику, даже лучшие из врачей ошибаются, и он уверен, что, в конце концов, все кончится хорошо, а по ходу своих слов вдруг сменил тон и ход мысли и вдруг говорил о том, что жизнь это поход к смерти, это знали и древние, а смерть – единственная достоверность, существующая в людях, и даже больше того – смерть это квинтэссенция жизни, и она зреет в ней с каждым часом до своего конечного воплощения, подобно тому, как гусеница неизбежно превращается в куколку, из которой вылетит бабочка, а раз так, то человек должен приучать себя принять смерть, которая никогда не приходит раньше времени, и даже когда кажется, что приходит раньше, нет смысла протестовать, и Цезарь, с раздражением слушавший эти ободряющие слова Гольдмана, просто рассвирепел, он знал только то, что его сын безнадежно болен, и все остальное было в его глазах – «громким стоном мудозвона», он несколько раз повторил эту фразу в разных вариациях пока не замолчал и застыл у окна, глядя на улицу, в небе плыли облака, довольно сильный ветер дул с моря и качал верхушки деревьев, потом обернулся и сказал: «Если бы я женился на ней, все было бы по-другому. Сейчас все потеряно», а через минуту добавил: «Убей меня, если я знаю, почему не женился на ней. Ведь легко мог», и снова замолчал, но не в ожидании ответа, потом подхватил камеру и, мимоходом попрощавшись с Израэлем, вышел и направился навестить больного сына, но тот пошел к одному из школьных друзей, а второй сын, младший, пошел в кино с родителями Тирцы, которая приветливо встретила Цезаря, но была, как всегда в последнее время, замкнута и неразговорчива, будто отстранилась, но на самом деле она была глубоко встревожена, почти отчаялась, и очень устала, иногда чувствовала упадок сил на грани обморока, и вся была сосредоточена на болезни сына, это освободило ее от ненужных обязательств и от необходимости притворяться, напоминая о конечности суетной жизни, об одиночестве, но в то же время и пробудило в ней силы, о которых она не знала, вселило

волю к борьбе и готовность ни от кого не ждать помощи, она не ждала ее и от Цезаря, разве что в начале болезни, хоть немного понимания, и Цезарь, обычно занятый лишь собой, удивил ее стремлением помочь и вниманием, и она была ему благодарна, куда больше чем можно было обнаружить, в общем, она отнеслась к нему как к товарищу по несчастью. Тирца пригласила его на кухню выпить кофе, Цезарь снял плащ и сел за стол, спросил ее о самочувствии и о сыне, Тирца ответила, что никаких изменений в его положении нет, и спросила Цезаря, очень уставшего, более того, подавленно-го, не хочет ли он перекусить, Цезарь сказал: «Нет, нет. Я не голоден», и тут же сказал: «Да, может, бутерброд», и Тирца поставила перед ним вместе с чашкой кофе три куска хлеба с сыром, нарезанные маринованные огурцы и помидоры, и блюдо с маслинами, и спросила как его дела, она никогда не спрашивала, почему он такой обеспокоенный, или огорченный, и никогда не спрашивала его о Теиле или об Элиззере, и не потому что ей не было любопытно, а Цезарь ответил: «Нормально. Живем как-то», настала тишина, и никто из них не чувствовал необходимости ее нарушать, Тирца вышла в ванную, там работала стиральная машина, что-то сделала там и вернулась, а когда он закончил есть и пить, сложила посуду в раковину, собираясь помыть, а Цезарь зажег себе сигарету, встал рядом, и посмотрел на ее лицо, страдания и тревога сделали его твердым и замкнутым, и Тирца немного смущенная его взглядом, не вызывающим, но неотступным, спросила: «Что-то случилось?», Цезарь откликнулся: «Я устал», и положил руку на ее голову и погладил медленно и нежно, она продолжала мыть посуду, не двигая головой, чтобы продлить эту минуту, и Цезарь продолжал гладить ее, увидев при этом тонкие морщинки на ее лбу и у глаз, провел рукой по затылку, а потом просунул ее в разрез свитера и погладил грудь, а когда она закончила мыть посуду, руки были еще мокрые, обнял ее и поцеловал в шею и в губы и попытался повести ее в спальню, но Тирца спокойно сказала: «Я не могу сегодня, Цезарь. Не сегодня. Еще пару дней», но Цезарь не послушался, и она пошла за ним как бы против воли, все время повто-

рая: «Я не могу сегодня. Через два дня, Цезарь», они разделись и легли на широкую холодную кровать, медленно обнялись движениями примирения и сочувствия двух людей, вновь связанных горем и безысходностью, и разрядили свое горе и тревогу в объятиях друг друга, хоть на время почувствовав покой и близость, и Тирца во время всего этого беззвучно плакала, и когда все кончилось, Цезарь остался лежать на кровати без движения, с открытыми глазами, отдавая себе исцеляющей усталости; Тирца вышла и вернулась с влажным полотенцем и обтерла кровь на нем, он продолжал лежать умиротворенный, не думая о том, что с ним произошло, как будто это произошло с кем-то другим, он бы лежал так до бесконечности, спокойно, отключившись от мира, но уже через некоторое время встал, оделся и, не дожидаясь сына, который должен был вернуться с минуты на минуту, ушел, поцеловав Тирцу и пообещав ей, что завтра вернется. Небо было пасмурным и свет дня помрачнел, но ветер перестал, вместе с тем было ощущение что вот-вот что-то сорвется и в один миг начнется буря и польет дождь, ветер в самом деле вдруг ожил, стал сильнее чем прежде, деревья тревожно закачались и зашумели, и тут же пошел холодный дождь, его струи с силой понесло ветром и они, будто плетью, стали хлестать стены домов, машины и дороги, Цезарь, поспешил скрыться в машине, на минуту задумался, потом, как бы нехотя, завел ее и поехал навестить мать, она из последних сил держалась за смерть Эрвина и продолжала переживать ее как нечто праздничное, или, хотя бы, волнующее и многозначительное, но кроме Яфы никто не разделял подобный взгляд на событие, Беш умер, Цезарь был «на нервах», а Цви и Биатрис – загружены работой и почти не навещали, связь с ними всегда была слабой, Макс Шпильман и Рухама, она скоро должна была родить, со смертью Эрвина оборвали всякую связь с ней, в конце концов, они были связаны с ней только через него, и этот разрыв был особенно тяжел Зине, может быть тяжелее, чем любой другой, он не давал ей покоя, потому что именно Рухаму она хотела приблизить к себе и полностью присвоить, так было при жизни Эрвина и долж-

но было остаться после его смерти, но к глубокому ее разочарованию только Яфа старалась поддержать ее, но была погружена в путаницу своих проблем, высасывающих из нее последние силы, прежде всего – в ее безнадежно испорченные отношения с Тиквой, которые с каждым годом, стараниями Тиквы, становились все хуже, так что в конце концов враждебность дошла до того, что дочь уже не могла больше видеть мать, и от любого ее слова вставала на задние лапы и отвечала с грубостью и презрением, с жестоким желанием не только унижить, но и вообще, отменить ее существование, все это превратило Яфу в женщину запуганную и растерянную, она не понимала как ей вести себя и что говорить, потому что все что она делала, даже очевидно полезное, каждое ее слово могло вызвать дикую ярость, и она так отчаялась, что хотела умереть, даже несколько раз сказала об этом Зине, а однажды взорвалась и бросила это Тикве, но та посмотрела на нее равнодушно и сказала: «Сделай это как можно скорее. Напугала», и действительно смерть была единственным избавлением из круга обид и ненависти, причину которых Яфа так и не смогла понять, ведь даже если она где-то ошиблась, она никогда и ни в чем не мешала Тикве, та с момента развода жила в своей просторной квартире с красивой мебелью, у нее был хороший вкус, и время от времени она что-то добавляла, или из каприза меняла старое на новое, жила в свое удовольствие, не задумывалась о расходах, на похороны Эрвина она пришла в новых сапогах, они так ей понравились, что на следующий день она пошла и купила себе еще пару, жизнь ее была свободна от всякой ответственности и от всякой необходимости приложить усилия: служанка занималась детьми, готовила, мыла посуду и заботилась о доме, а она только целовала детей перед сном, и то не всегда, или делала им замечания, или иногда с ними гуляла, а иногда готовила кофе для гостей или мыла стакан, а кроме этого ничего не делала, не работала, и не собиралась, занималась только собой и своими удовольствиями, дело, в конце концов, скучное и разочаровывающее, и все это было заметно на ее лице, где кроме увядания и пустоты наложили свою печать горечь и злорадия, и

Беш, встретив Тикву на похоронах Эрвина и кивнув ей головой в знак приветствия, обратился к Хемде и сказал: «В сорок лет каждый получает рожу, которую он заслуживает», и посмотрел еще раз на Тикву, она развлекалась в основном тем, что спала с множеством мужчин, которые приходили и уходили, обычно после мимолетного и случайного знакомства, встречи на одну ночь, но и этого было иной раз достаточно, чтобы пробудить в ней надежды на любовь и брак, ведь она жаждала постоянной связи, но эти отношения, полные ложной взволнованности, кончались ничем, как отношения с этим Эли (Цезарь невзлюбил его с первого взгляда, а ее он никогда не любил), в его обществе она пришла на похороны Эрвина, он жил в ее квартире несколько недель, в это же время у нее был короткий роман еще с одним мужчиной, женатым, о чем Эли, он был лет на десять ее младше, ничего не знал, хотя, если бы и узнал, вряд ли бы ушел от нее, потому что был глуп и ленив, а если бы и ушел, она вряд ли бы пожалела об этом, потому что не любила его, может быть, в первые три-четыре дня, но как-то к нему привыкла, в тот период времени он, видимо, отвечал на ее запросы, прежде всего самим своим присутствием посреди ее одиночества, и полным соответствием скуке ее жизни: вместе с ней просыпался в полдень, они спаривались, потом он шел в ванную и лежал там сколько хотел, когда они познакомились, он работал экскурсоводом, но потом перестал и вообще не работал, после ванной он пил кофе и занимался гимнастикой на ковре в гостиной, а если день был солнечный, то стоял полуголый перед французским окном – у него была красивая фигура – и с удовольствием загорал, дожидаясь пока Тиква приведет себя в порядок, потом, иногда в четыре часа, иногда в пять, они шли в ресторан пообедать, ели что хотели и сколько хотели, обед длился часа два, а после еды шли в кино, а потом, если не были приглашены к кому-нибудь, отправлялись в клуб в Яффо, или в другое место за городом, покушать, потанцевать, немного поболтать и посмеяться в компании знакомых, тоже не знавших другого образа жизни, а потом, уже под утро, возвращались домой, снова спаривались, они почти не

разговаривали друг с другом, ни о любви, ни о чем вообще, засыпали, и спали до следующего полдня, иногда до возвращения детей со школы, а субботы, иногда и другие дни в неделю, они проводили у Яфы, которая очень хотела, чтобы Тиква вышла замуж, образ жизни дочери вызывал у нее сердечные спазмы, и стыд, но она не говорила ни слова, потому что знала, что толку от этого не будет, и боялась реакции Тиквы, утром, открыв глаза, она вновь с ужасом оглядывала все несчастья, выпавшие на ее долю, вновь и вновь перебирала их и анализировала ошибки, даже самые мелкие и неважные, что она сделала по отношению к умершему мужу, по отношению к Арье, покончившему с собой, по отношению к Тикве, и из чувства раскаяния пыталась вновь расшифровать причины, которые привели ее к этим ошибкам, найти себе оправдания в условиях того времени, в трудностях и недоразумениях, но ей так и не удалось простить себе ничего, она брала на себя всю вину за все удары и катастрофы, и при этом с мучительным упрямством продолжала продумывать в своем воображении пути и поступки, в большинстве своем незначительные, по которым могла пойти или что-то сделать иначе, и тогда ничего плохого не случилось бы, все было бы хорошо, но сейчас уже поздно, и так Яфа все дальше уходила в рабство к непоправимости, что ложилась на нее, как надгробный камень, и два или три раза она сказала Зине, что если бы могла освободиться от прошлого, то, может быть, смогла бы еще немного порадоваться настоящему, но все это оставалось мечтой, она впадала в депрессию из-за случайного слова, или вида, или запаха, что-то напомнивших ей, вдруг начинала плакать навзрыд и без остановки, что выводило Цезаря из себя, и Зину, только Зина пыталась не замечать, или успокоить ее, в основном, чтобы продолжить рассказывать ей об Эрвине и жизни с ним, хотя ей осталось от той жизни только пригоршня добрых воспоминаний и много-много обид и боли, но Зина не смирилась с этим, и в ее рассказах смешались желания, выдумки, грубая ложь и несколько фактов, а после того как она возвращалась к ним столько раз, уже и сама перестала различать эти составляю-

щие, в сознании все превратилось в один колтун, и хитроspлетения этого колтуна стали ее единственной действительностью, в которой она уже не сомневалась, так, вслед за своими рассказами, она верила, что Хемда держала Эрвина силой и хитростью еще много лет после того как он перестал с ней спать, а любить он ее никогда не любил, как и не любил свою первую жену Элишеву, та заставила его жениться на ней, утверждая, что беременна, а он не спал с ней, только несколько раз, и то без всякого желания, и если бы она могла, то вообще отменила бы все его физические отношения с ней, но Рухама, их дочь, была свидетелем, никуда не денешься, или верила, что Эрвин позвал ее, когда почувствовал, что умирает (тот факт, что ее не было дома, когда он умер, не давал ей покоя, и она была готова все сделать, чтобы отменить его), и она поспешила к нему, и к счастью успела домой за несколько минут до этого, и пыталась что-то сделать, чтобы помочь ему, но безуспешно, и он умер буквально у нее на руках. Сестры сидели в гостиной и пили кофе (с тех пор как Эрвин и Беш умерли, дом стал больше, наряднее), и когда Цезарь вошел, Зина, обеспокоенная тем, как он выглядит, встретила его возгласами неестественной радости, а Яфа — легким кивком головы, только увидев ее, он уже начал злиться, но ответил сердечным «добрый вечер» и переброевался несколькими фразами с ней и матерью, Зина не стала уговаривать его, чтобы все-таки выпил с ними кофе, потому что была в середине своего рассказа и поэтому нетерпелива, а он подошел к телефону, чтобы позвонить Теиле, ему вдруг захотелось поговорить с ней, сообщить, что он по дороге домой, но, едва начав набирать номер, он передумал и позвонил в студию, Израэль не ответил, тогда он позвонил Гольдману и предложил ему пойти в кино, Гольдман немного задумался, фильмы в последнее время его не интересовали, как и другие развлечения, однако, в конце концов, согласился и сказал: «Ладно. Пойдем», Цезарь сказал: «Через десять минут я у тебя», потом снова начал набирать номер Теилы и снова не закончил набор, положил трубку на место, попрощался с Яфой и матерью, она только успела спросить его как

дети, Цезарь бросил: «В полном порядке», вышел, сел в машину и поехал за Гольдманом, а тот отложил «Сомниум», товарищ привез ему из Англии английское издание, и он уже две недели занимался переводом книги, надел плащ и спустился навстречу Цезарю. Они пошли на фильм с Марчелло Мастоияни, но незадолго до начала фильма Цезарь вдруг встал, сказал, что он устал, быстро вышел из кинотеатра и поехал домой, там его ждала Теила с ужином, который уже час стоял на столе, но она не пожаловалась на его опоздание, не из опасений или неуверенности, а Цезарь вымыл руки, сел за стол, даже не посмотрев на нее и не сказав доброго слова, в котором она так нуждалась, особенно в последнее время, после того как обнаружилось, что из-за аборта ее шансы забеременеть и родить невелики, но она не стала рассказывать об этом Цезарю, потому что не хотела напрягать его без пользы для дела, а это дело она видела, как свое личное, и решила, что если она забеременеет, то родит, даже если это будет связано с концом брака, она знала, что Цезарь не хочет ребенка, во всяком случае, сейчас, но готова была взять на себя ответственность, и еще перед свадьбой сказала об этом Цезарю, который только постепенно смягчился, а когда принесла ему яичницу, произнес: «На улице довольно холодно», потом спросил ее, как дела, Теила сказала: «Нормально. Немного устала», Цезарь сказал: «Был в кино с Гольдманом, но вышел посередине. Не до этого», и в первый раз с того момента как вошел, посмотрел на нее, и во взгляде не было отчужденности, а Гольдман продолжал сидеть на своем месте и смотреть на экран, но почти ничего не улавливал из того, что видел, фильм не вызывал интереса, к тому же он задумался об Элиноре, она десять дней назад приехала с Манфредом и с братом Рафаэлем, доктором в области физики, на три недели, и после того как они были неделю в Хайфе у брата Манфреда, приехали на неделю в Тель-Авив, и на следующий день после их приезда в Тель-Авив Манфред зашел навестить Стефану, одетый как всегда очень тщательно, но признаки старения были заметны: похудевшее лицо стало еще более закрытым и ироничным, кожа – дряблой, мешки под глазами – еще тя-

желее, на висках обозначились вены, даже его ладони и чувственные пальцы постарели и на них выступили темные пятна. Он сидел на диване напротив Стефаны, она, по обыкновению – в большом кресле, пил чай и говорил, не повышая голоса, с долгими перерывами, время от времени вытирал платком вспотевший лоб, обогреватель посреди комнаты грел слишком сильно, или подносил характерным жестом руку к виску, Стефана смотрела на него, молча слушала, и только иногда легко кивала головой в знак того, что она еще здесь, иногда опускала взгляд. Все шло медленно, в атмосфере отгороженности, завершенности, и действительно, смерть отца Гольдмана положила в один миг конец далеко идущим надеждам и бесконечным ожиданиям, которые так много лет составляли смысл и содержание их жизни, только никто из них не нашел в себе смелости сказать об этом прямо, хотя оба знали, что ожидать уже нечего и история их любви пришла к концу. Манфред говорил об очень холодной и дождливой осени в этом году в Европе, и что-то о своей работе, потом сделал несколько замечаний о Советском Союзе и о коммунизме в Польше, потом немного задумался и стал вспоминать о случайной беседе, которая случилась у него, когда ехал в поезде, с одним священником, о возможностях распространения религии и той роли, которая она может выполнять сегодня, Манфред говорил тихо, его голос сливался с голосом дождя, который все время шел за окном, и как всегда в тоне его слов была ирония и скромность, без самоуничижения, а на этот раз в его словах появился некий тон уступчивости, как будто он зашел слишком далеко, потом рассказал о том, что прочитал в одном католическом журнале, где было сказано, что теперь, больше чем когда-либо, роль евреев заключается в том, чтобы быть рассеянными между народами с целью осуществить единство мира, и это предназначение соответствует сущности иудаизма, который живет не в пространстве, а во времени, то есть в истории, и, не собираясь связывать одно с другим, заговорил об опасности тоталитарных режимов, что они являются не только крайним выражением иррациональности, но и оппортуниз-

ма, и безответственности, потом вспомнил про Америку, в последнее время у него возникло желание посетить эту страну, и по ходу этих слов, почувствовав, что встреча перешла отведенные ей приличием границы времени, даже ощутив при этом веяние великого облегчения: через несколько минут он уйдет и все закончится, на него напала неловкость, даже стыд, он немного помолчал и предложил Стефани выйти за него замуж, Стефана посмотрела на него, на его знакомое костлявое лицо и без колебаний, без тени иронии сказала по-польски: «Спасибо, Манфред. Но не стоит спешить. Я предлагаю немного подумать», и так закрыла все, что еще связывало ее, пусть и самым слабым образом, с жизнью, с этим миром, с будущим, и с этого момента, без ожиданий и обязательств, она стала свободной птицей в вечных мирах, и Манфред сказал: «Я думаю, что ты ошибаешься», но он не сказал это решительно, и потом добавил: «Хорошо. Как скажешь», он сидел некоторое время в молчании, как будто думал о чем-то, а Стефана сказала: «Дождь этот будет всю ночь», и после короткой паузы спросила его о жене, она никогда раньше о ней спрашивала, и Манфред сказал: «Нормально. Она любит зиму, хотя это для нее трудное время», Стефана спросила, не хочет ли он еще стакан чаю, хотя по тону вопроса было ясно, что пора завершать визит, и Манфред, он тоже этого хотел, сказал: «Нет. Спасибо. Я думаю, что уже поздно», встал и попрощался с ней, также как всегда, будто завтра или послезавтра вернется, а перед тем как вышел из дома, с разрешения Стефаны осторожно постучал в дверь Гольдмана, тот был погружен в «Сомниум», и сказал, что зашел проститься, все происходило спокойно, как бы обычно, они обменялись несколькими фразами о «Сомниуме», об астрономии, Манфред заметил, что по его мнению есть необходимость признать наличие смысла в мировом порядке, чтобы была возможность существования мира и культуры и чтобы можно было понять счастье и стремиться к нему, и понять то, что ему противоположно, а попросту говоря, чтобы была возможность поддерживать жизнь не только как вегетативное состояние, но сам он не смог достигнуть

большого чем понимание этой необходимости, и это вывод разума, сознающего свою ограниченность, произнеся это – они стояли с Гольдманом друг против друга в дверях комнаты, – он улыбнулся почти игриво и покраснел, а через минуту посерьезнел и сказал, что он не верит в абсолютную автономию человека, в то что человек сам себя создает, а мир порождает сам себя, и отрицание Бога для него это утверждение свободы для мира безграничных страстей, без ценностей, и после короткого молчания добавил: «И мы уже видели, что из этого вышло», Гольдман сказал: «Да. Возможно, ты прав», и Манфред, признав нестыковку в своих взглядах, прибавил, что и эта вера – результат его опыта и логики, и никогда не выйдет за границу «рациональной веры», если так можно сказать, и, коснувшись рукой виска, прибавил, что в тоже время не может быть рационалистической морали, что успех разума выражается в основном в разрушении, как и в саморазрушении, естественно, путем распознавания своей ограниченности, и в этом его сила, в области строительства успехи разума малы, потому что жизнь, в конце концов, хаос и бессмыслица, а для строительства нужно что-то большее, чем чистый разум, ему трудно с этим согласиться, но это, скорее всего, правда, что, конечно, не отменяет ценности разума, наоборот, он понимает важность разрушения, как основной ценности, со всем нигилизмом в нем заложенном, потому что он содержит в себе утопическую надежду на понимание и исправление, и Гольдман, слушавший его с интересом, думая при этом, как бы спросить об Элинор, сказал, что это лишает почвы всякую возможность достоверности, Манфред чуть кивнул и спокойно, без всякого вызова, сказал, что достоверности не существует, и в ней нет никакой необходимости для жизни, а Гольдман, его прежнее смущение перед Манфредом прошло, сказал: «Это пугает. Я, во всяком случае, в ней очень нуждаюсь», проводил гостя до двери, и только когда они уже стояли в дверях, спросил Манфреда об Элинор, Манфред сказал: «Она почти не изменилась», они пожали руки и Манфред пригласил его навестить их в гостинице, сказал, что Элинор и Рафаэль будут рады его видеть,

Гольдман поблагодарил за приглашение и обещал зайти, он действительно собирался это сделать, но что-то помешало, а пока колебался и пытался безуспешно отвлечь себя от мыслей об Элинор, откладывая визит на завтра, или через день, время прошло, они уехали из страны и больше не приезжали, кроме Манфреда, который в последующие годы приезжал несколько раз на короткое время к брату, и Гольдман, уже предвидя с нарастающим беспокойством приближение конца, окаменел внутри, будто бесконечная нирвана опустилась на него, и его больше ничего не волнует, он собрался и продолжил перевод «Сомниума», хотя книга, ему было трудно в этом признаться, стала вызывать в нем неловкость, и с каждым днем он все больше терял к ней интерес, да и вся космология стала больше давить на него, чем облегчать существование, но он все равно посвящал переводу все свободное время, однако сейчас, когда сидел один и смотрел фильм, он думал об Элинор, он думал о ней все время, с момента когда узнал, что она в Стране, пытался вспомнить как она выглядит, представить себе их встречу, и как не пытался в воображении вести себя свободно и сердечно, она оставалась вымученной и прохладной, подумал, что, может, стоит подняться к ней прямо сейчас, еще до конца фильма, гостиница, где они остановились, была рядом, но все еще колебался, а по окончании фильма встал, одел свой плащ, вышел на улицу, дул сильный ветер, играя ветвями и листьями, бумагой и песком, и бесцельно зашагал под этим зимним ветром по улицам, и так вышел к дому Диты, не задерживаясь, поднял глаза и увидел свет в окне кухни, на миг подумал зайти к ней, он уже знал, что никогда не навестит Элинор, но не сделал этого и пошел дальше, потом зашел домой, посидел над «Сомниумом», но работа шла медленно, он устал и не мог сосредоточиться, в конце концов оставил книгу в покое и посмотрел в окно, а там, за окном, дул штормовой ветер, потом бросил взгляд на фотографию сестры и задумался над словами Манфреда. На следующий день ему в офис позвонил Цезарь, извинился за то, что убежал с фильма, Гольдман сказал: «Оставь, глупости. Все нормально», Цезарь снова извинился

и спросил его, можно ли прийти к нему вечером, ненадолго, и Гольдман сказал: «Конечно. В любое время, когда захочешь. Я дома», Цезарь сказал: «Окей, так увидимся», но он не пришел, потому что под вечер, когда по дороге к Гольдману заскочил навестить сына, нашел его лежащим на кровати с высокой температурой, и Тирца сообщила ему, что завтра нужно отвезти его в больницу, Цезарь остался сидеть с сыном допоздна, пытался развлечь его, почитать ему книжку, но больше молчал, и на следующий день отвез его в больницу, потом вернул Тирцу домой, позвонил в студию и попросил Исроэля пообедать с ним, Исроэль сказал: «Хорошо. Позови меня, когда будешь внизу», что-то в голосе Цезаря не позволило ему отказаться, Цезарь приехал через час и взял его в ресторан за городом. Был ясный и очень холодный зимний день, небо голубое и чистое, солнце сияло как летом, когда вышли из машины, ветер взъерошил поредевшие волосы Цезаря, он пригладил их, проклиная погоду и «Юхмас гормон», и все остальные мази и средства, которыми пользовался, не спасшие ему ни одного волоска, под гром этих проклятий они зашли в ресторан, сели, хозяин в белых ботинках, белых брюках и вязанной черной рубашке с красным шелковым платком вокруг шеи, загорелый, как запеченный хлеб, с усиками, сливающимися с улыбкой, подошел к ним, поприветствовал и спросил, что будут заказывать, они заказали салат из баклажан с орехами, фаршированные баклажаны с грибным соусом и бутылку вина, хозяин пошел на кухню, Цезарь между тем отломил и съел кусочек маленькой булки, из тех что лежали в корзине на столе, а через несколько минут хозяин вернулся и движениями иллюзиониста поставил перед ними заказанные блюда и вино, Цезарь приступил к трапезе, повествуя при этом о ком-то, кто приготовил для него неудачную серию снимков и проклиная его, потом заговорил о родителях, об отце, что всю жизнь заботился только о себе, и о матери, несчастной и раздражающей, он говорил о них с презрением, грязными словами, и о Максе Шпильмане и Рухаме, только Беша он вспомнил добрым словом, потом — о разных женщинах, замужних и незамужних, как он спал с

ними, рассмеялся и сказал, что все бляди, и хорошо что так, хозяин подошел узнать все ли в порядке, и Цезарь его успокоил: «Все в порядке, все в порядке», потом – об Элизре, что она скоро должна родить, прибавил, что, возможно, это вообще его ребенок, и снова рассмеялся, отломил кусок булочки и сказал: «В любом случае я ее столько раз трахал, сколько этот инженеришка не трахнет ее за всю свою жизнь», потом добавил: «Не волнуйся, я сделаю Теиле ребенка, я ей покажу, этой бляди», потом замолчал, еще немного выпил вина, и в задумчивом и невеселом настроении изрек, что нельзя отчаиваться, никогда, потому что ничего в этой жизни не окончательно, и, в конце концов, все уладится, хозяин подошел, собрал тарелки, Цезарь похвалил баклажаны, и они заказали главное блюдо, а Цезарь – еще бутылку вина для себя, а когда хозяин ушел, посмотрел ему вслед и сказал: «Гляди, как он загорел, и это зимой. Завидую. У него нет проблем», потом сказал, что всю жизнь хотел кушать в ресторанах, но не в одном и том же, а переходить из ресторана в ресторан, как переходить от женщины к женщине, и рассмеялся, Исраэль сказал: «Да. Правильно», и подвинул к себе тарелку с мясом, которую хозяин поставил перед ним, Цезарь наполнил свой бокал и вновь восхитился Бешем: «Жаль, что его нет. Я бы многое дал, чтобы он был здесь», и после короткого молчания добавил: «В сущности, мне надоели все эти глупости», но он не объяснил, какие глупости имеет в виду, а Исраэль не уточнял, Цезарь выпил еще немного, посмотрел на Исраэля и сказал: «Все – болтовня. Ничего нельзя знать», схватил руками ножку курицы, лежащую перед ним на тарелке, вонзил в нее зубы, оторвал кусок мяса и начал жевать, Исраэль видел, как меняется лицо Цезаря, как будто его накрыла тень, и ему захотелось что-то предпринять, как-то остановить эту истерику, но он ничего не сделал, только взглянул на Цезаря, тот продолжал гневно пожирать курицу, и вдруг обронил: «Отвез сына в больницу. У него лейкемия», и слезы полились у него из глаз, они текли медленно по его большому лицу, и он не пытался остановить их, затекали в рот, падали в тарелку и на его руку, и на ножку кури-

цы, которую он снова и снова рвал и жевал, и снова сказал: «Отвез его сегодня в больницу. У него лейкемия», Израэль, чувствуя, что надо что-то сделать, продолжал молчать, но протянул Цезарю стакан вина, Цезарь сделал большой глоток и продолжил есть и плакать, постепенно он успокоился, вытер лицо салфеткой, они закончили трапезу в молчании, Цезарь заплатил хозяину, тот пригласил их заходить, даже проводил до дверей ресторана, а когда шли к машине, навстречу вышла группа людей, выглядевших как туристы, Цезарь остановился и засмотрелся на одну женщину с большим телом, широким лицом и седыми волосами, когда она прошла, бросил: «Баба Клара, ну точно», потом они сели в машину и поехали, не произнося ни звука, но когда остановились у светофора, Цезарь, он сидел, погруженный в свои мысли, вдруг сказал, что никак не может понять как здоровое тело становится вдруг больным, и как это может быть, что никакая сила в мире не может остановить эту болезнь, вылечить ее, и с гневом ударил кулаком по рулю: «К ебеней матери. Это меня убивает», машина тронулась, он тут же обругал шофера встречной, а потом, когда проехали перекресток, вновь ударил руль и сказал: «Этого не может быть. Если это так, то все говно», и замолчал, больше он не произнес ни слова пока не высадил Израэля возле студии, и Израэль, сидевший всю дорогу с застывшим лицом, мечтавший остаться один и поиграть, или свернуться на кровати под одеялом, положил руку на плечо Цезаря и сказал: «Пока, Цезарь. Я позвоню тебе», поднялся в студию, но пустые холодные комнаты навели на него мировую тоску и чувство одиночества, он стоял в дверях комнаты и думал о Цезаре, пожалел, что оставил его, надо было продолжить путь вместе, посмотрел на рояль с зеленоватой почтовой открыткой на столе, и на коричневую кровать, на старую лампу для чтения возле кресла, и на деревянную доску и двух стариков сидящих в креслах-качалках перед магазином в покое предвечерних сумерек, сына Цезаря он видел, может быть, дважды и это было давно, в любом случае он его не запомнил, затем он вышел из дому и двинулся по улицам, а в конце концов

зашел к Гольдману, тот принял его с радостью, было уже почти пять, начинало смеркаться, и он был рад отложить «Сомниум», оказаться в чьем-то обществе и поговорить, не важно о чем, о проблемах и планах, о разных делах в области космологии, о переводе, о Цезаре, о женщинах, о сообщениях в газете, о Наоми, сестре, со смертью дяди Лазаря он вдруг затосковал о ней, и ощущение ее отсутствия не давало ему покоя, сердило его, и он больше чем когда-либо отказывался примириться с тем, что жизнь вещь одноразовая и смерть окончательна, и сколько не пожелай, больше ее не увидишь, даже на часок, кроме того, ее смерть показалась ему несправедливой, он стал исследовать ее жизнь, и любовь, и обстоятельства смерти, все, что было ему известно: что она выпала из машины, когда дверь открылась во время движения, но его расследование не выяснило никаких новых деталей кроме тех, что были уже известны, потому что шофер с которым она ехала, был уже три года в Бразилии в какой-то командировке, и Гольдман надеялся, что когда тот вернется в Страну, можно будет выяснить у него дополнительные и важные детали, и о ее службе в английской армии, и об истории ее романа с англичанином, отец Гольдмана считал этот роман причиной ее смерти, а пока в его расследовании не было никакого продвижения, потому что те, кто с ней служил, о ком Гольдману удалось узнать, рассеялись, а другие, кого он нашел, помнили только ее имя и, может, еще какие-то мало-важные детали, только один человек, Гольдман встретил его через две недели на свадьбе Целика, он служил в транспортной бригаде и встречал ее несколько раз в Александрии, и, видимо, пытался за ней ухаживать, рассказал, что она была влюблена в английского офицера, танкиста или артиллериста, по фамилии Эчисон, или Эткинсон, по слухам он был женат и отцом двоих детей, и у него была огромная собака, везде его сопровождавшая, страшный пес, однажды он видел их с этой страшной собакой в Каире, плывущих в лодке по Нилу, и это были единственные детали, которые Гольдману удалось обнаружить в том таинственном тумане, окружавшем жизнь его сестры, а пока было только немного старых фактов

и старых фотографий, и среди них тот снимок, кто-то, очевидно отец, разрезал и уничтожил его половину, а на оставшейся половине она стояла в форме на каком-то мосту, внизу часть ее головы в воде, и Гольдман догадался позднее, что на второй, уничтоженной половине был тот самый Эчисон, или Эткинсон, и можно было рассмотреть край его плеча на той половине, что осталась, он протянул эти снимки Израэлю, в том числе и эту половинку, но тот посмотрел на них без особого интереса и вернул Гольдману, а тот вернул их в ящик стола, а потом немного рассказал Израэлю про «Сомниум», о проблемах перевода, и про «Семейный гороскоп» Кеплера, сказал, что он сам, хотя и не верит в это, хочет сделать себе такой гороскоп, и решил навестить одну специалистку по астрологии, хотя и в этом он сомневается, чтобы помогла ему разъяснить его положение и посоветовать в выборе новой специальности, нынешняя специальность была тяжелой ошибкой с самого начала, и в своей работе в адвокатской конторе он уже дошел до ручки, может быть астролог скажет ему что-то о его будущем, и действительно, через несколько недель после того как Манфред и Элинор уже уехали, Гольдман позвонил той женщине-астрологу и назначил встречу, только за несколько дней до нее он покончил с собой и встреча не состоялась, но сейчас, несмотря на сомнения, он воодушевился возможностью такой встречи, и рассказывал о ней Израэлю, тот, удобно усевшись, слушал, и при этом всматривался в лицо собеседника, замечая, насколько оно разрушилось за последнее время, изборождено морщинами, будто они прорезались изнутри, через час он встал, расстался с Гольдманом и вернулся в студию, завернулся в шерстяное одеяло, нехотя сел за рояль и стал играть холодными пальцами, а Гольдман, разлегшись на кровати, погрузился в размышления, пока сумрак в комнате не сгустился, только немного света проникало из гостиной через щель под дверью и с трудом можно было различить книжный шкаф, кресло и абажур на ножке, тогда он встал, включил свет, вернулся к столу и продолжил перевод. На следующий день пришло приглашение от Ермияху и Тамимы: Стефана и Гольдман

приглашались на свадьбу Целика, свадьба должна была произойти немного раньше, но была отложена из-за болезни Ципоры, и сейчас, после того как Ципора вышла из больницы, ее наметили через две недели, Гольдман сообщил Стефани о приглашении, она вообще не среагировала, а Гольдман, хотя у него тоже не было желания идти на это празднество, положил приглашение в шкаф на кухне и забыл про него, но за день до свадьбы Браху позвонила и напомнила ему, и просила его прийти, хотя бы ради отца, и осторожно предложила ему привести и Стефану, и не только в честь Ципоры, Гольдман не мог отказать и обещал, что сам, во всяком случае, придет, и в назначенный вечер празднично оделся и отправился на свадьбу, зал сняли скромный, там уже было много гостей, хотя до церемонии оставалось больше часа, это смущало Гольдмана, который, по обыкновению, боясь опоздать, приехал раньше времени, он остановился у входа в зал, даже подумал уйти, но потом вернуться, оглядел присутствующих, большинство он не знал, заметил Моше Целермеира с женой и Давида Костомольского, и Йону Кочинского, одиночество и старость уже проделали с ним свою разрушительную работу, Шмуэля и Браху, разодетых и освещающих своей радостью всю семью, с ними были Ури с женой, Илана с мужем и детьми пришли позже, и Авраам Шехтер, который пришел с Рахель, и еще несколько знакомых и родственников, кузены с детьми, с многими он давно уже не виделся, потому что их не было даже на похоронах дяди Лазаря и на похоронах отца, и пока он стоял так, заметил Йоэля, он очень постарел в последние месяцы, и Йоэль его заметил, отступить было поздно, и он, проложив себе путь среди собравшихся и все прибывающих людей, пожал ему руку, пожелал счастья, потом подошел к Ермияху и Тамиме, поздравил их, а также Меира и его жену, что стояли рядом и обменялся с ними несколькими фразами, потом поздравил невесту и жениха, которого видел может быть раз или два, да и то много лет назад, и если бы не знал заранее кто он, не узнал бы, потом пожал руки Авраама Шехтера и Рахель, которая несмотря на возраст была еще женственна и красива, в основном

лицом, с гладкой и загорелой кожей, с тех пор как умер Акива Вайнер, она жила с Авраамом Шехтером, столько времени ждавшим ее, спокойной жизнью пары на склоне лет: иногда ходили в кино, или в театр, или на лекции, иногда играли друг с другом в рамми, на деньги, которые хранились для этой цели в коробке, Рахель спросила Гольдмана о его самочувствии, и о самочувствии Стефаны, Гольдман сказал: «Нормально», Рахель сказала: «Никто из нас уже не молод», и прежде чем Гольдман успел что-то сказать в ответ, подошли Шмуэль и Браха, пожали ему руку и обменялись с ним несколькими словами, потом он жал руки разным знакомым и родственникам, приветливо улыбавшимся ему, и своим кузенам, и их детям, многие уже были женаты и имели детей, и тут он увидел Авиэзера, стоящего рядом с Йоэлем и Рут, в голубом свитере и темно-синих брюках, на удивление красивый, с седыми кудрями и печальным, закрытым лицом, Гольдман хотел подойти к нему, пожать руку и поболтать немного, но в этот момент началось движение: в дверях зала появилась Ципора. Она сидела в инвалидном кресле, и Эстер медленно толкала его, продвигая среди гостей, которые вереницей подходили к ней с уважением и восхищением, и с глубокой симпатией, жали ей руку, целовали ее и поздравляли, и Гольдман, он остался стоять на месте, увидел, как она приближается к нему в своем кресле, маленькая женщина с прямой спиной, в темном вязаном платье, из под которого была видна одна нога в белой матерчатой обуви, короткие, вьющиеся, поседевшие волосы были собраны и перехвачены черной лентой, ее лицо, сморщенное как яблоко, лежавшее на столе много времени, светилось и выражало мудрость и авторитет, результат прямоты и уверенного, неустанного подтверждения жизни, со всеми ее трудностями и страданиями. Гольдман не сводил с нее глаз, и по мере того, как она приближалась к нему все больше волновался, а затем, когда она была уже близко, двинулся навстречу, протянул ей руку, поцеловал ее, и она улыбнулась ему и спросила, как он поживает, и как Стефана, а потом сказала: «Надо продолжать и надо забывать. Вот, я уже забыла, что у меня была еще одна нога»,

снова улыбнулась и повернула лицо к другим, приближавшимся к ней для приветствий и поздравлений, а Гольдман, оставшись один, еще продолжал смотреть ей вслед, но с чувством успокоения, и вдруг почувствовал легкий хлопок по плечу, а когда обернулся, увидел перед собой улыбающегося мужчину, тот протянул ему руку и сказал: «Привет, Гольдман», и Гольдман в смущении пожал ему руку и сказал: «Привет», пытаясь при этом вспомнить, кто это, и вдруг, внимательно всматриваясь и напрягая память, воскликнул: «Аврам!», и снова пожал ему руку, на этот раз с уверенностью, они обнялись и похлопали друг друга по плечу, налили себе вина, чокнулись и выпили, между тем началась свадебная церемония, шум в зале стал подавляющим, они стояли рядом с толпой гостей, чуть отделившись, и Гольдман, он все еще держал в руке бокал, посматривал краем глаза на Аврама, подмечая насколько время оставило на нем свои следы и изменило его: он совершенно облысел и выглядел выше и более худым, чем был раньше, даже руки будто стали длиннее и лицо, казалось, оно сделано из бумаги, тоже вытянулось, и, может быть поэтому, уши и рот стали такими большими, будто не принадлежали этому лицу, и все-таки это был Аврам, сын Аарона, брата Шмуэля, и он учился с ним и с Авиноамом Левитаном в одном классе и несколько лет они даже дружили, у него всегда были деньги, и он приглашал их в кафе-мороженое, или в кино, чтобы завоевать их расположение, но Война за Независимость их разлучила, и сразу после нее Аврам уехал во Францию учить экономику, его отец хотел, чтобы он получил образование за границей, но по окончании учебы он занялся бизнесом, был экономическим советником в фирме по капиталовложениям в промышленность, потом вошел в бизнес, связанный с алмазами и открыл свой большой магазин украшений в Ницце, там он и жил один, в шикарной пятикомнатной квартире, а сейчас прилетел в Страну, в основном, чтобы увидеть заболевшую мать, и когда церемония закончилась, оркестр начал играть, а гости набросились на мясо, рыбу и салаты, организованные на больших подносах на длинном столе, установленном в центре

зала, Аврам и Гольдман сели в углу поболтать, их лица еще сияли радостью встречи, но у Гольдмана это сияние очень быстро потухло: после нескольких малозначащих общих воспоминаний обозначилась пропасть чуждости, и, по правде говоря, ему не было никакого дела до Аврама, его квартиры, собаки и бизнеса, рассказ о них, с ненужными и скучными подробностями, только подчеркнул неприятное чувство отчуждения, вызванное его видом, движениями и костюмом: во всем была тщательность, педантичная чистота, включая аккуратно обработанные ногти и сладковатый запах духов, и что-то скупое и бесчувственное, не было у Гольдмана и особого интереса к их общей юности, Аврам спросил между прочим про Авиноама и Соню, и вспомнил несколько мест в городе, где они вместе бывали, и Гольдман с удивлением обнаружил, как все это неважно ему, и Авиноам, и Соня, и обещал Авраму, что завтра возьмет его на прогулку, и они вместе навестят эти места, но кроме чистилища на мусульманском кладбище и школы, где они учились, и рабочих общежитий, и еще некоторых мест, которые выглядели сейчас лишенными всякой таинственности и даже жалкими, ни одного дома не осталось из тех, что вспомнил Аврам, и действительно, большинство было разрушено временем, или на их месте стояли другие строения, такова же была и судьба пустырей, некоторых садов и небольших перелесков, и диких зарослей, где когда-то, много лет назад, они проводили время в играх или походах, все исчезло, превратилось в улицы, застроенные жилыми домами, учреждениями, мастерскими и предприятиями, и когда они закончили прогулку, Аврам пригласил Гольдмана пообедать, но Гольдман сказал, что должен вернуться в офис и встретиться с клиентом по одному срочному делу, и предложил созвониться в конце недели, чтобы в субботу поехать в деревню, навестить Авиноама, но и этот план не осуществился, потому что Гольдман уже все оборвал и отдалился, не звонил и не отвечал на звонки, в том числе и на звонок Аврама, который оставался в Стране еще с месяц, и все это время его родители и сестра, и Моше Целермеир, и еще разные знакомые пытались сосватать ему жен-

щину, но безуспешно, он привык жить один, по-холостяцки, и не хотел разрушать сложившийся порядок, приспосабливаться к привычкам чужого человека, а для него все были чужими, также как он не хотел ни с кем делиться своими деньгами. И пока они сидели так и беседовали, к ним подошел Аарон, он был одет в темный костюм, тщательно выбритое лицо светилось счастьем, он пожал с подчеркнутой сердечностью руку Гольдману и сказал: «Все-таки встречаемся», и положил руку на плечо Аврама, который остался сидеть застывший, стараясь скрыть свою антипатию, Гольдман сказал: «Да. Прошло довольно много лет», Аарон дружески хлопнул по плечу Аврама, он гордился им и гордился его дружбой с Гольдманом, и спросил: «Ну, как вы проводите время?», Гольдман сказал: «Отлично», и Аврам, он ждал пока отец снимет с него свою руку, сказал: «Хорошо. Очень хорошо», а Аарон сказал: «Он никогда не женится. Он не даст нам порадоваться внукам», и рассмеялся, потом добавил: «Погуляйте, погуляйте», снова хлопнул Аврама по плечу и, присоединившись к одному из гостей, удалился с ним, а друзья детства после некоторого смущения вернулись к разговору, тем временем начались танцы, и Гольдман, он подстерегал минуту, когда можно будет встать и уйти, воспользовался возможностью и, назначив Авраму встречу на завтра, улизнул, ни с кем не попрощавшись, и уже направлялся к выходу, но у самой двери его поймал незнакомый мужчина, старше его на несколько лет, и после того как извинился, спросил, не брат ли он случайно Наоми Гольдман, и Гольдман сказал: «Да. Я ее брат», и человек, представившийся как Ицхак, сказал, что с той минуты как увидел его, был в этом уверен, и потому что знал, что у Наоми был брат, и его семья в родстве с семьей жениха, и потому что увидел, насколько Гольдман похож на нее, Гольдман спросил, откуда он знает Наоми, мужчина сказал: «Я познакомился с ней в английской армии, в Александрии», он внимательно рассматривал Гольдмана и продолжил: «Ты похож на нее, насколько я ее помню, но не могу сказать точно, в чем именно сходство. Что-то в лице. В любом случае, я был рад познако-

миться», и протянул Гольдману руку, чтобы попрощаться, но Гольдман задержал его и спросил о сестре, мужчина вначале хотел уйти от вопросов, хотя и не слишком решительно, но потом рассказал, что встречал Наоми несколько раз в Александрии, где служил в транспортной бригаде, и очень ей симпатизировал, может быть, и он ей нравился, однажды они даже пошли на танцы и танцевали весь вечер, но между ними ничего не было, потому что она была влюблена в английского офицера, танкиста, или артиллериста, которого звали Эчисон, или Эткинсон, который по слухам был женат и отцом двух детей, и у него была огромная собака, которую он везде брал с собой, очень страшная собака, и он однажды видел их вместе, с этой страшной собакой, в Каире, они плавали в лодке по Нилу, и это все что он мог о ней рассказать, и Гольдман, он надеялся на большее, поблагодарил и расстался с ним, пожав руку, после чего вышел. Был удивительно красивый зимний вечер: темные небеса в тучах звезд, воздух прохладен и свеж, Гольдман неожиданно почувствовал легкость, это чувство стало расти, чем дальше он удалялся от места свадьбы, и превратилось в ощущение свободы, оно наполнило его воодушевлением и радостью, охватившими все тело, так что ему захотелось побежать и раствориться в этом приятном воздухе, который своим прикосновением, и видом этого неба, и этих пустых улиц сделал его счастливым, ему вдруг стало неважно, знакомые это улицы, или нет, он почувствовал, что его уже ничего с ними не связывает, как и не связывает с людьми, которых он оставил в свадебном зале, с любым человеком, разве что с памятью его сестры, эта связь наполнила его теплом и счастьем, особенно он помнил прощальный ужин, организованный в ее честь, после того как она решила оставить дом и пойти в армию, он помнил это событие до мельчайших подробностей, как будто оно было вчера, в каком порядке сидели за столом, одежду каждого и посуду, и еду, и даже ее вкус, и выражения лиц, и оттенки света в комнате, он улыбнулся сам себе, или только почувствовал, что улыбается, и вдруг решил пойти в «Двадцать девять», немного выпить и развлечься, но он чувствовал себя слишком

счастливым, чтобы это сделать, и поэтому продолжил прогулку по улицам, а потом вернулся домой. Стефани сидела в большом кресле в гостиной и смотрела телевизор, спокойная и сосредоточенная, Гольдман, когда вошел в гостиную взять газету, а на самом деле – увидеть мать, бросил на нее взгляд, и она вдруг показалась ему красивой, несмотря на старость, и он остался стоять у нее за спиной, чуть со стороны, продолжая смотреть на нее, и при этом вновь открыл для себя, как она похожа на его сестру, и на миг у него возникло ощущение, что она и есть его сестра, и он почувствовал к ней глубокую близость, настолько радостную, что его охватило желание обнять ее, и в тоже время спрятаться в ней, но он не сдвинулся с места, только еще раз бросил взгляд, и при этом мелькнула мысль, что если он умрет, то все закончится, и жизнь превратится просто в движение, бесцельное и бессмысленное, и мир станет случайным набором домов, гор, океанов, улиц, людей, машин и еды, и вместе с тем ведь невозможно жить вечно; сдвинувшись с места, он вошел в свою комнату, бросил газету на кровать, открыл окно, чтобы холодный свежий ветер ночи вернулся и заполнил комнату, и сел переводить «Сомниум»; заглядывая в книгу и перелистывая словарь в поисках слова, снова подумал, мысли скользили беспорядочно, о словах Манфреда, о космологии, которая все больше и больше, уже много дней, вызывала в нем чувство пустоты и бессмысленности существования, в свете бесконечности и случайности пространства и времени, двух фактов, которые Гольдман принял вначале с согласием, как нечто неопровержимое, как часть научного подхода, но они шаг за шагом стали подрывать его дух, это было вне достоверности или недостоверности, и он был вынужден, в конце концов, признать, что жизнь – это Хаос, несмотря на существование Стефаны, такой спокойной и инфантильной, которая осталась для него, вместе с его сестрой, последним островком, и что сам он – отрезанный ломоть, человек конечный, и он должен это признать, чтобы получить возможность спастись, но спастись он не мог, однако сейчас, впервые, стал свободен от всего: и слова Манфреда, и проблемы космо-

гии, и хаос мира не тревожили его; он позанимался переводом до утра, а потом растянулся на кровати и закрыл глаза, но заснуть не смог, чувствуя бодрящую свежесть в теле, и через час встал, выпил кофе и продолжил переводить, и продолжал эту работу еще три дня и с тем же воодушевлением и счастливым ощущением свободы, которое граничило с ощущением исчезновения существования, он пережил его в ту ночь бодрствования, и теперь оно сопровождало его все время, даже в скучные часы, проведенные в обществе Аврама, вместе с чувством глубокой близости к Стефане, чье существование и его прекращение перестало его интересовать, как и всего мира, который он собрался покинуть. Кроме работы над «Сомниум» Гольдман много шатался по улицам, в основном по ночам, он не чувствовал никакой потребности во сне, наоборот, бессонница опьяняла его бодростью, в то же время он старался не встречаться ни с кем из знакомых, а еще до этого перестал ходить к морю и оставил в покое «Бульворкер», не отвечал на телефоны и никому не звонил, даже Цезарю или Израэлю, который в среду вечером зашел навестить и узнать что случилось, и нашел его мертвым на кровати в своей комнате. Как потом выяснилось, Гольдман проглотил много таблеток снотворного и еще выпил коньяку. Израэль вышел и позвал одного из соседей, а потом врача, те и сообщили обо всем Стефане, которая приняла весть, ничего не спросив и не сказав ничего, и только на минуту на ее лице обозначилось какое-то легкое искажение, которое можно было понять как, может быть, некое выражение боли, но и как выражение недовольства, и не самим деянием, потому что правды ради Стефана была мертвым деревом, которое вновь зацвело, но иллюзией цветения, где-то там, в другом мире, после жизни в этом, ставшей бесконечной цепью ошибок и уступок, излишних и бесполезных, выжавших из нее до капли всю жизненную силу и всякую возможность соучастия, так же и Гольдмана сломило не то, что он сделал, а то, что не сделал, и последним движением воли к жизни он выбрал смерть, так же как она выбрала Польшу, и, как Гольдман, уже никому не принадлежала и никто ей не принадле-

жал, но в эту ночь она часами лежала в кровати с открытыми глазами и Юдит Майзлер, оставшаяся у нее ночевать, предложила таблетку чтобы заснуть, но Стефана сказала: «Нет, не нужно», и продолжала так лежать до рассвета. Похороны прошли через два дня, и с той же примиренностью или равнодушием, с каким Стефана приняла известие о смерти Гольдмана, она шагала на его похоронах, в них участвовали родственники, знакомые и соседи, и несколько друзей Гольдмана, они толпились во дворе похоронной конторы, потом шли за носилками под приятным зимним солнцем, в хвосте процессии, последними – Израэль и Цезарь, он был взвинчен и испуган с того момента как узнал о случившемся, а когда они шли к выходу оглядел рассеянным взглядом присутствующих и сказал: «Может он поступил мудро. Покончил со всем этим и все», Израэль покачал головой, а Цезарь поднял взгляд и, наблюдая как заносят носилки в черную машину, сказал: «Все это ужасно. Тянет на рвоту», Израэль сказал: «Да», и Цезарь, он не поехал на кладбище, ударил ногой комок земли, засунул руки в карманы и остался стоять возле похоронной конторы, пока вереница машин не двинулась в свой путь, а потом поспешил в больницу, посидеть с сыном. После похорон Израэль зашел домой к Гольдману, посидел с часок, выпил чашку чая и съел кусок пирога, принесенного Брахой, слушал без интереса душеспасительный разговор за столом между Йехиэлем Левенкопфом, Моше Целермеиром, лицо его было погашено и измято, вдовой Цеймера и Шмуэлем, Браха пыталась уговорить его не принимать участия в похоронах, чтобы не переволноваться, и еще двое-трое, что сидели там, что-то упадническое было в воздухе этой комнаты, но не болезненное, а скорее уклончивое, чувство угасания и второстепенности, и Израэль, когда почувствовал, что исполнил свой долг, попрощался со Стефаной и с Матильдой Левитан, и ушел, а через несколько дней снова зашел, чтобы забрать порнографические альбомы, которые Цезарь дал Гольдману полистать, хотя никто о них не спрашивал и ни у кого теперь не было в этом надобности. Дом был пуст, только Стефана и Юдит Май-

злер сидели в гостиной и разговаривали, и Израэль, заставивший себя зайти, почувствовал свою неуместность, пожалел, что пришел, но присел на один из стульев и обменялся фразами со Стефаной и Юдит Майзлер, а через некоторое время поднялся и с разрешения Стефаны зашел в комнату Гольдмана, в которой не произошло никаких изменений, казалось, Гольдман вышел несколько минут назад и через час-другой должен вернуться: «Бульворкер» лежал на своем месте, все гантели и старое кресло, и лампа на ножке, наследие брака с красавицей Ямимой Чернов, и те книги и газеты, что как всегда были разбросаны повсюду, а на письменном столе лежали словари и книги по астрономии и астрофизике, и, конечно, «Сомниум», и стопка рукописных листов, исписанных особым почерком Гольдмана, и среди них те части книги, которые он успел перевести, Израэль не раз слышал от Гольдмана про эту книгу и таким образом познакомился с содержанием этого творения, рассказывающего о мальчике Дуракотосе, что жил с матерью Фиольхильдой в Исландии. Отец Доракотоса был рыбаком и умер в возрасте ста пятидесяти лет, когда мальчику было только три года. Сама Фиолаксылда продавала морякам разные травы в маленьких сосудах из кожи оленя, и она зналась с сатаной и демонами. В четырнадцать лет парень, оказавшийся любопытным, открыл один из таких сосудов, и за это разгневанная мать продала его одному капитану. Капитан высадил мальчика на острове Вуан, и там Дуракотос провел пять лет, изучая астрономию под руководством звездочета Тихо Браге. Когда Доракотос вернулся домой, мать раскаялась в том зле, что причинила ему, и чтобы помириться с ним пригласила в свою комнату гадалки одного из хороших демонов, с помощью которых человек может слетать на Луну. Демон объяснил, что путешествие возможно только во время лунного затмения, и поэтому нужно завершить его за четыре часа. Путешественник будет заброшен духовной сущностью, но этот факт не освобождает его от законов физики. Когда путешественник оказывается на Луне, он сталкивается с особыми условиями, которые там царят. День на Луне, от восхода солнца до зака-

та продолжается две недели, и такой же длительности и ночь на Луне, как результат того, что в своем движении Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Эту сторону, повернутую к Земле, жители Луны называют «Субвольва», а противоположную сторону – «Правольва», у обеих частей Луны есть общие свойства: год длиною в 12 суток, с ужасной разницей температуры – днем жара, а ночью ледяной холод, и общим для обеих частей является картина странных движений звезд: солнце и планеты колеблются туда-сюда без остановки, потому что Луна кружится вокруг Земли. Но жители Правольвы находятся в гораздо худшем положении, потому что никогда не видят Земли, и все их долгие ночи там бушуют бури снега и града. Дни тоже ужасны, потому что Солнце палит нещадно и жара невыносимая. Горы Луны куда выше и обширней, чем на Земле, а также растительность и животные, которые там находятся, большинство животных похожи на огромных змей и они скрываются в своих пещерах или скитаются в поисках отступающей воды, чтобы нырнуть в нее и так спрятаться от палящего солнца, поскольку если одно из них по неосторожности зазеваается на солнце, его кожа затвердеет и потрескается, а потом, вечером, будет шелушиться и спадет. Но, несмотря на это, у этих существ есть странная склонность греться на дневном солнце, но только рядом со своими пещерами, чтобы можно было быстро спрятаться и спасти свою жизнь. В конце книги, как рассказал Гольдман Израэлю, буря и гром разбудили Дуракотоса от его кошмарного сна об огромных змеях и страшном лунном мире, но в своем переводе Гольдман был еще далек от этого места, он знал все это, потому что прочитал книгу. Израэль полистал страницы перевода и прочитал: «У живущих в Правольве нет постоянных мест: они скитаются стаями, порой от горизонта до горизонта, за отступающей водой, на длинных ногах, длинней, чем ноги наших верблюдов, или же они летают-порхают или плавают на судах», а в другом месте прочитал: «Быстрый рост и короткая жизнь, потому что каждое тело вырастает до гигантских размеров. От роста до гниения – все длится только один день», в сгустившихся

сумерках комнаты написанное почти не было видно, но он все-таки выудил такую фразу: «Животные, которые остаются на поверхности воды, свариваются на дневном солнце и служат пищей для стай, кружащих неподалеку», и в конце, когда перевернул страницы чтобы вернуть их в то положение, в котором нашел, задержался на отрывке где описывался старт полета, Гольдман перевел его так: «Самое страшное – это первое потрясение ускорения, потому что тело сжимает-выталкивает кверху, будто силой взрыва бочки с порохом. Поэтому надо приготовить путешественника заранее, напив усыпляющим раствором. Надо тщательно защитить его руки и ноги, чтобы не оторвались от тела. Потом ему придется нести дополнительные трудности: страшный холод и перебои дыхания. С окончанием первой стадии полета ему станет легче, потому что в этом полете тело, без всякого сомнения, выйдет из-под воздействия магнетической силы Земли и войдет в поле действия Луны, и дальше уже эта сила будет господствовать. В этот момент мы покидаем наших путешественников и дадим им самим справиться с ситуацией: они растягиваются и сжимаются, как летающие пауки, и летят силой собственного отталкивания, а поскольку магнетические силы Луны и Земли растягивают тело одновременно, но каждый в свою сторону, то получается, что в результате эти силы уравниваются, и тела продолжают свое движение к Луне».

На улице резко стемнело, сверкнула молния и за ней слышались могучие раскаты грома, Израэль поднял глаза от рукописи, посмотрел в окно, на низкое зимнее небо, на большой фикус за окном, на облетевшую джакаранду, они стояли, не двигаясь, в затихшем дворе, потом положил страницы перевода туда, где они были, забрал порнографические альбомы, завернув их в газету, и вышел из комнаты Гольдмана, в которой стало уже темно, как и в гостиной и прихожей, и снова вспыхнула молния и слышался гром, он попрощался со Стефаной и Юдит Майзлер, они сидели в темноте и разговаривали, а когда вышел из квартиры, слышал шум дождя, он хлынул сразу, сильный, густой и бил в землю

большими каплями, ровно и неустанно, и Израэль остался стоять в парадном, смотрел на дождь, на улицу, вдруг потемневшую посреди дня и за несколько минут наполнившуюся водой, но довольно скоро, когда еще не было никаких признаков того, что дождь стихнет, его терпение лопнуло, он спрятал книги под плащ и вышел под проливной дождь, и когда поднимался в студию, молился, что найдет там Эллу, хотя и знал, что ее там нет, или Цезаря, или кого-то, кто будет двигаться и шуметь, и можно будет поговорить с ним, не важно о чем, но студия, в ней тоже было темно, влажно и холодно, была пуста, Израэль положил книги в рабочей комнате Цезаря, снял плащ и зашел в ванную, вытер лицо и голову, а потом включил свет в своей комнате, сел за рояль и начал играть (дождь продолжал идти и шел без перерыва три дня), хотя, по правде говоря, ему хотелось растянуться на кровати и лежать, завернувшись в одеяло, ничего не делать, даже читать не хотелось, чувство одиночества и бессмысленности, а оно становилось тем глубже, чем больше времени проходило со смерти Гольдмана, соединилось с чувством ущерба, что свило в нем гнездо с тех пор как исчезла Элла, и вместе они завладели им, но он продолжал играть, стиснув зубы, мобилизовав все свое упрямство и силу отчуждения, что были в нем, чтобы отвернуться от всего, и от Цезаря, который ждал сочувствия и внимания, хоть словом, хоть чем, он не просил много, полностью погруженный в болезнь сына, который умирал, и ему нельзя было помочь, и к этому прибавилась неожиданная беременность Теилы, которая уже несколько недель лежала в постели по указанию врачей, которые не давали этой беременности много шансов, но сама возможность, пусть и самая слабая, что Теила родит, вызвала у Цезаря панику и депрессию, уже не говоря о гневе, потому что таким образом она как бы закрывала перед ним всякую возможность отступления, хотя он и не знал такого места, куда мог бы отступить. И еще потому, что ни в коем случае не хотел детей, даже тех, кто уже родился, он все время с откровенностью повторял это Теиле и Израэлю, тот ни разу не пошел вместе с ним в больницу, когда тот навещал

сына, и всегда выслушивал эти слова молча, будто не слышал, а между тем дожди кончились, дни стали длиннее, светлей и теплее, и Израэль встал однажды утром и поехал в Иерусалим в попытке найти работу помощника органиста в одной из церквей и тем самым вырваться из Тель-Авива, из зависимости от Цезаря, и начать новую страницу жизни. День был на удивление красивый, прозрачный и солнечный, и что-то пьянящее, волнующее сердце было в голубом воздухе и далях, раскинувшихся за окном автобуса, он смотрел на эти картины с радостью, успокоенный, как будто перед ним было все время мира, и когда приехал в Иерусалим и бродил по улицам, во время прогулки вдруг увидел Эллу, она шла по другой стороне улицы, среди прохожих, с большой сумкой, он быстро пересек дорогу и некоторое время шел за ней, а потом догнал и легко прикоснулся к ее плечу, она остановилась и повернула в испуге голову, а когда увидела его, издала легкий крик неожиданности, ее голубые глаза наполнились застенчивой радостью, которая быстро погасла, и Израэль, увидевший в тот же миг, что он беременна, почувствовал, как что-то темное рвется из него и путает его мысли, он не знал, что ему делать; придя в себя, спросил ее как дела, Элла ответила: «Нормально», и спросила в свою очередь как его дела, и Израэль сказал: «Хорошо. Ты видишь», после этого наступило молчание, они стояли друг против друга под ласковым солнцем, смущенные, пока Израэль не встрепенулся и не пригласил ее выпить кофе, Элла согласилась, хотя и нехотя, и Израэль протянул руку, чтобы взять ее сумку, но она не отдала, и они продолжили идти по улице, зашли в кафе и сели за один из дальних столиков, ее светлые волосы чуть утратили свой блеск и стали жесткими, как нити, и Израэль хотел спросить ее, почему она вдруг убежала и почему ничего ему не сообщила, ни когда исчезла, ни долгие месяцы, что прошли с тех пор, но он не спросил, Элла пила кофе, а он время от времени смотрел на ее запечатанное, задраенное, как подлодка после погружения, лицо, и при этом боролся с дикой яростью, с чувством потери, и желанием отвернуться, в конце концов, после долгого молчания спросил, вышла ли

она замуж, Элла отрицательно покачала головой, и тут Израэль собрал все оставшиеся силы и спросил ее, кто отец ребенка, и Элла не сказала ни слова, Израэль спросил вновь, на это раз более решительно, и даже гневно, но Элла продолжала молчать, как будто не слышала вопроса, и Израэль больше не спрашивал, он продолжил пить кофе, не говоря ни слова, а когда собрались уйти, снова протянул руку и предложил взять сумку, но Элла вновь отказалась от помощи, они вышли на улицу и стояли как два чужих человека, Израэль смотрел на ее отчужденное лицо и знал, что все потеряно, хотел что-то сказать, но пока колебался, Элла сказала: «Пока», повернулась и пошла, а он еще стоял и смотрел ей вслед, отчаявшийся, озлобленный, а потом, перед тем как она исчезла с поля зрения, повернулся и пошел, и еще часами шатался по улицам, таким красивым, полным замечательных видов и запахов, внушающих покой, а к вечеру, так ничего и не выяснив насчет работы, вернулся в Тель-Авив, поднялся в студию, и после того как принял душ и переоделся, на него снизошел великий покой, даже радость, несмотря на одиночество, окружившее его со всех сторон, но через день его стала мучить, вместе с ревностью и злостью, тоска, тонкая, как паутина, проникающая и неизлечимая, ведь она уже была беременна, когда оставила его, от этого он стал мрачен и озлоблен, и беспокоен, часами напролет играл или бродил по улицам, или лежал на кровати и равнодушно глядел на свое отражение в зеркале, а через месяц вернулся в Иерусалим, и, еще не зная куда обратиться, стал искать ее, сначала в университете, потом у немногих знакомых, которые у него были в этом городе, а на следующий день прибыл к полудню, усталый, потный и небритый в квартиру, которую она снимала с подругой, но ни Эллы, ни ее подруги не было в это время дома, Израэль сел на ступени и упрямо стал дожидаться, не обращая внимания на время, на людей, проходивших мимо и смотревших на него с подозрением. Часам к трем пришла подруга, которая испугалась, когда его увидела, он встал и представился, спросил, где Элла и когда будет, подруга неуверенно его изучала, и Израэль снова себя пред-

ставил и убеждал ее сказать, где Элла и когда будет, и подруга, все еще недоверчиво сказала: «Она в больнице», Израэль спросил: «Что-то случилось?», подруга сказала: «Да. Она родила сына», и открыла дверь квартиры и пригласила его войти, выпить что-нибудь, Израэль сказал: «Нет. Спасибо», и спросил, в какой больнице она лежит и когда можно ее навестить, подруга объяснила, он снова поблагодарил ее, вышел, спустился по ступеням и медленно пошел в больницу; широкий двор был накрыт зелено-коричневым ковром сосновых иголок и листьев эвкалиптов, они стояли там вместе с кипарисами и издавали приятный запах. Израэль облокотился на забор и подождал до часа посещений, какое-то бесконечное спокойствие было в нем, когда пришло время, он немного подождал и только потом вошел в коридор и спросил одну из сестер об Элле, та посмотрела на него без особой симпатии, показала рукой и сказала: «Она там», Израэль поблагодарил и пошел вдоль коридора, где стоял запах лекарств и моющих средств попеременно с запахом масляной краски, пока не дошел до большой залы, полной кроватей, стоящих рядами, и на них лежали роженицы, окруженные мужьями, родителями и друзьями, Израэль остановился у входа в зал, оглядел снова и снова ряды белых кроватей, пока не увидел Эллу, которая лежала в дальнем углу возле стены, он сдвинулся с места, пошел между рядами белых кроватей, и, приблизившись, помахал ей рукой, но она не отреагировала, он подошел уже совсем близко, пытаясь успокоить свою взволнованность, и прежде всего раскаяние, и желание близости, остановился возле кровати, улыбнулся ей и сказал: «Привет», но она продолжала лежать без движения, очень бледная и спокойная, и смотрела перед собой, как будто никто там не стоял, так что у него возникло сомнение, а видит ли она его, и тогда он приблизился еще на шаг, снова помахал ей рукой и сказал: «Элла», но она и на этот раз не откликнулась, и продолжала лежать с открытыми глазами, будто спала, или грезила, даже когда он снова позвал ее по имени, а потом еще и еще раз, и коснулся ее, в это время раздались хлопки старшей сестры: время посещений закончилось, и посетители,

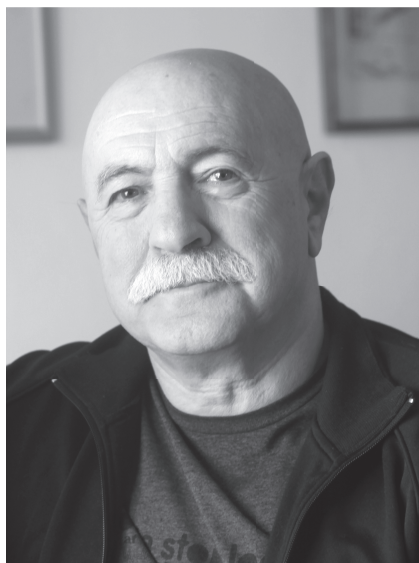
медленно прощаясь с роженицами, обнимая их и целуя, помахивая им руками, начали покидать помещение, при этом заходили сестры, они несли младенцев и раздавали их матерям для кормления, но Элла не обратила внимания на младенца, голова которого была покрыта пушком черных волос, и на мягкие просьбы сестры, которая растерянно держала младенца, и вновь просила, уже раздраженно, взять и покормить его, как все остальные матери, Элла продолжала не замечать младенца, как прежде не замечала Исраэля, который продолжал упрямо стоять на месте и не сводил с нее глаз, она рассыпалась, уходила в туман, медленно исчезала в белых простынях, и вновь прозвучали хлопки старшей сестры, а в конце, когда все последние посетители уже ушли, она даже обратилась к нему и попросила выйти, и тогда Исраэль отступил на два шага, развернулся и вышел.



Наум Вайман

ЭПОС ОБЫДЕННОСТИ

послесловие переводчика



Яков Шабтай (1934—1981) – классик современной израильской литературы. Прозаик, драматург, поэт, переводчик, автор текстов многих популярных песен.

Переводил на иврит песни Б. Окуджавы («Бумажный солдат», «Не верьте пехоте», «За что же Ваньку-то Морозова»), популярные русские народные и советские песни, вообще, был поклонником русской культуры, особенно ценил Чехова.

В 1960-е гг. вел на радио популярные музыкально-литературные программы о гонимых поэтах в Советском Союзе.

Родился и вырос в Тель-Авиве, поэт этого города. После армии лет десять жил в кибуце, был членом молодежной организации «Молодой страж» (Ашомер Ацаир).

Его первый роман «Зихрон дварим» (перевод выходит под названием «Меморандум Гольдмана»), сразу принес автору широкую известность: был переведен на 20 языков, в опросе 2007 года среди двадцати пяти ведущих израильских издателей, редакторов и критиков, был выбран лучшей книгой на иврите, написанной в Израиле с момента основания государства в 1948 году.

Писателя часто сравнивают с Джойсом и Прустом. В 1995 году режиссер Амос Гитай поставил фильм с тем же названием и Аси Даяном⁴⁵ в главной роли.

Его второй роман «Соф давар» (в буквальном переводе – «Конец дела») оказался последним, писатель умер в сорок семь лет, после третьего инфаркта, успев поставить последнюю точку. Я начал переводить «Соф давар» для себя, как тренировку в языке, но его меланхоличный герой затянул меня в глубокую тину своих прощальных блужданий по улицам старого Тель-Авива. В 2003-м этот перевод под названием «Эпилог» вышел в издательстве «Мосты культуры – Гешарим» М. Гринберга. В переводе на английский роман «Зихрон дварим» назван «Past Continuous», а «Эпилог» – Past Perfect, «Непрерывное прошлое» и «Завершенное прошлое». В названиях слышится переключка с «Поисками утраченного времени» Марселя Пруста. В переводе на английский роман «Меморандум Гольдмана» получил международное признание как уникальное произведение модернизма. Габриэль Йосипович из The Independent назвал его величайшим романом десятилетия. Я начал его переводить сразу после первого, но забуксовал и бросил, а вернулся к переводу через двадцать лет, соскучился по автору и его герою, по прогулкам с ним. Признаюсь, работа шла поначалу туго, текст казался монотонным водоворотом обыденности, я с трудом пробирался сквозь тягучую вязь этих сплетенных водорослей, но постепенно, как и в тине «Эпилога», увяз, почти нехотя сжился с его не слишком симпатичными персонажами, погрузился в эту сагу, ее тугое кружение, в этот омут дел и делишек, ссор и примирений, любви и вражды, рождений и смертей, и эта мало примечательная, порой жалкая обыденность как-то незаметно стала наливаясь тяжелой поступью времени, веять духом-запахом священной земли, превращаясь в эпос.

⁴⁵ Аси Даян, известный израильский актер, режиссер и писатель, сын знаменитого генерала Моше Даяна.

Это тоже роман об умирании, но здесь оно охватывает поколения, эпоху, идею. «Меморандум Гольдмана» созвучен «Эпилогу» по манере, темам, мелодиям, штрихам, по дотошному краеведению психологических лабиринтов. Это диптих. И если «Эпилог» уходит водоворотом в судьбу одного героя, это портрет в интерьере, то в «Меморандуме Гольдмана» множество фресок с массовыми сценами: свадьбы, похороны, застолья. Вместе – двухстворчатая элегия. Щемящие прогулки со смертью. «Меморандум Гольдмана» – прощание не только с собственной жизнью, но и со всем миром, тем ковром, уже тронутым разрушением, в который каждая жизнь, с ее пейзажами, запахами, улицами, людьми, идеями, вплетена одинокой нитью.

В начале романа, во время похорон, возникает фраза из Писания на стене похоронной конторы: «Дни смертного, как дни травы луговой, как полевой цветок отцветет он»⁴⁶. И вживаясь в музыку текста, начинаешь читать ее ноты как аранжировку к Экклезиасту, встает картина не только жизни поколений, или социальной группы, но жизни, как родового роя, его круговерти рождений, смертей, забот и страданий.

Эпикур учил: приучай себя к мысли, что смерть не имеет к тебе никакого отношения. У Шабтая другое учение: приучай себя к мысли, что смерть – это часть жизни. И если в сердцевине «Эпилога»: «смерть растворена в жизни, как соль в морской воде», то в «Меморандуме Гольдмана» смерть даже не часть жизни, а часть именно твоей жизни, она живет в тебе и зреет, как зерно, а когда прорастет – ты ее встретишь. «Смерть – квинтэссенция жизни, и она зреет в ней с каждым часом до своего конечного воплощения, подобно тому, как гусеница неизбежно превращается в куколку, из которой вылетит бабочка, и раз так, то человек должен приучать

⁴⁶ Псалтирь, псалом Давида 102, 15-16 «Дни смертного как дни травы луговой, как цветок полевой отцветет он. Пройдет ветер над ним и нет его, и место, где он был его уже не узнает».

себя принять смерть»⁴⁷. «Он хотел бы понять смерть и подружиться с ней, если можно так сказать, воспринимать ее как старую знакомую, собравшуюся тебя навестить, и не бояться ее». Смерть у Шабтая приравняется к единой субстанции мира, занятой вечным круговоротом.

Так что умирание – сквозной мотив обоих романов, только в «Эпилоге» уходит одинокий герой, чья жизнь истончается до тени на пустых улицах и окончательно рассеивается, как дым, а в «Меморандуме Гольдмана» – уходит эпоха и сотворившие ее поколения. Это повесть о вечном отчуждении от родового древа жизни его усыхающих во всей красе и облетающих листков-индивидов⁴⁸. Но если у Лермонтова «молодая чинара» у моря отталкивает листок, молящий о спасении, то у Шабтая в финале «Эпилога», когда герой уже остается один на один со смертью, происходит родовая метаморфоза: герой умирает и одновременно рождается: «Какой красивый мальчик!» Также и в «Меморандуме Гольдмана», когда главный персонаж романа, напоминающий героя «Эпилога», кончает с собой, история завершается рождением ребенка и сценой в огромной, как зал для королевских торжеств, палате с множеством рожениц, кормящих новорожденных. Жизнь побеждает возобновлением рода. Обреченный индивид попытается вообразить себя центром творения, а на самом деле

⁴⁷ О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся, —
Жизняночка и умиранка,
Такая большая — сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья — боюсь!

Мандельштам, ноябрь 1933 — январь 1934

⁴⁸ Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря.

М.Ю. Лермонтов, 1841

грезит вернуться в родимый омут бессмертной родовой общности, тоскуя по ней бессознательно и безнадежно⁴⁹.

В «Меморандуме Гольдмана» конфликт индивида и рода, трагический сам по себе, дан на первый взгляд в своей обыденности, как клиническое описание. Несмотря на драматизм судеб персонажей-индивидов, трагедии в крахе каждого из них нет. Даже, в каком-то смысле, они получают по заслугам. Потому что не герои, наоборот, – щепки на волнах судьбы. А герой это тот, кто жертвует собой во имя рода, приобщаясь к его бессмертию.

Но как так вышло, что персонажи романа, отпетые антигерои, оказались активными действующими лицами самой что ни на есть чудесной и героической эпохи народа, восстановившего государство после двух тысяч лет изгнания, построившего и отстоявшего свое детище самоотверженным трудом и воинской доблестью в нескончаемых войнах. И в романе есть пафосные страницы, посвященные этим воистину героическим дням и деяниям. А все дело в том, что род не героичен, он вообще не действующее лицо, он – жизненная сила, *elan vital*. И живет своей, пусть однообразной, повторяющейся, но монотонно упорной жизнью, заданной Замыслом.

Откуда же сквозь страницы, как сквозняком, веет смертью? Нет, дело не в смертельной болезни автора, Ярослав Гашек, умирая, писал «Похождения бравого солдата Швейка», а Томас Манн – «Признания авантюриста Феликса Круля», тексты полные жизненной силы. Смертью в романе веет из бездны, разверзшейся между детьми и отцами.

Действующие лица романа делятся на две группы: одна – старшее поколение – живет родовой жизнью, она – не-

⁴⁹ И царствовал, и никнул Он,
Как лилия в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.

разрывная часть рода, а другая – «жалкие потомки»⁵⁰ – те, что сами по себе, и в жизни, и в смерти. Характерно, что «родовая» (жизнетворная) часть – это те, кого называют «простыми» людьми, «народом», ам хаарец⁵¹: малообразованные, работаги, спаянные семейными узами, а та часть, будто пораженная смертельным недугом индивидуализма – интеллигенция, лица свободных или творческих профессий (три главных персонажа книги: фотограф, музыкант, адвокат). Отцы-основатели все делают вместе: вместе живут, вместе строят и воюют, а дети – неисправимые индивидуалисты, и если еще что-то делают для общей пользы (например, служат в армии), то по инерции или по привычке. Как думает о себе в третьем лице Гольдман: «сам он – отрезанный ломоть, человек конченный, и он должен это признать, чтобы получить возможность спастись, но спастись он не мог». Вот как автор рисует это неумолимое разделение эпох: если раньше (совсем недавно!) «родственная связь воспринималась как система неумолимых обязанностей, уйти от нее можно было, только разорвав все связи и отвернувшись от всех», то теперь «между ними царил отчужденность, поскольку каждый пошел своей дорогой, нашел свое место в другой стороне, в другом мире, с большинством он виделся крайне редко, и то случайно, а некоторых, особенно детей своих кузин и кузенов и членов их семей, он вообще никогда не видел, или видел так давно и мимолетно, что, встретив на улице, не узнал бы, не так было в дни его детства, когда члены семьи, близкие и друзья жили рядом, теми же впечатлениями, и кроме свадеб, рождений и похорон встречались по субботам, по праздникам, на партийных или профсоюзных собраниях, или просто по вечерам выпить чаю, поболтать и поспорить».

⁵⁰ «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастья...» (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»)

⁵¹ Ам хаарец (ивр.) – народ земли, простолюдины.

И настоящий герой романа – среди отцов, он так и назван: «отец Гольдмана». Человек отталкивающий, ненавидимый сыном, женой и окружающими, со всеми перессорившийся, невыносимый и отвратительный своей бескомпромиссной непримиримостью, диким фанатизмом, своим чудовищным, самоубийственным упрямством. Но дело не в характере, не в человеческом материале, о котором поэт революции сказал «Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей»⁵², а дело в самоотверженности, с которой он живет и работает во имя рода и земли, чтобы у рода была, наконец, земля, работает, как сражается, на износ, упорно, в пароксизме самопожертвования, коммунист, не понимающий не со знающий, что на самом деле он безжалостный рыцарь Святого Воинства, пришедшего отвоевывать Землю Обетованную.

Отцы и дети тут – не банальный конфликт поколений, старого с новым, а изначальный, первородный конфликт рода-роя и вылупившегося, отделившегося от него, отвязанного индивида, самой своей непоправимой индивидуацией несущего гибель. Причем старшее поколение, сходящее со сцены, представляет жизненную силу родового единства, а новое поколение – дряхлеющее, увядшее отщепенство, втайне тоскующее по восстановлению разорванного единства с миром. В душе одного из героев, пианиста Исраэля, тоска непоправимого разрыва с родом-природой звучит музыкой грезы о единстве: «в голове его звучали отрывки из «Папа Марчелли», произведения, которое он несколько месяцев до этого зимним утром услышал в первый раз с Эллой в одной церкви в Иерусалиме, французский священник играл его на органе, плотные и медлительные звуки будто лились из других миров и дрожали в воздухе, полные благоговения и возвышенной праздничности, заполняя сумрачную пустую церковь, они окутывали его и распространялись в нем, наполняли его счастьем покоя и упоительным ощущением воодушевления, никогда прежде не испытанного, вызывая желание пожертвовать собой, раствориться и исчезнуть».

⁵² Николай Тихонов, «Баллада о гвоздях» (1919-1922).

Почти как у Тютчева:

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

И у Гольдмана перед самоубийством появляются подобные грезы о «растворении»: «Был удивительно красивый зимний вечер: темные небеса в тучах звезд, воздух прохладен и свеж, Гольдман неожиданно почувствовал легкость, и чем дальше он уходил от места свадьбы это чувство стало расти и превратилось в ощущение свободы, оно наполнило его воодушевлением и радостью, охватившими все тело, так что ему захотелось побежать и раствориться в этом приятном воздухе, который своим прикосновением, и видом этого неба, и этих пустых улиц сделал его счастливым, и ему вдруг стало неважно, знакомые это улицы, или нет, он почувствовал, что его уже ничего с ними не связывает, как и не связывает с людьми, которых он оставил в свадебном зале, да и с любим человеком».

Отчужденность от рода-природы подчеркивается тем, что действия людей часто даются в контрасте с неожиданными описаниями «равнодушной»⁵³ природы: жары, дождя, холо-

⁵³ Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

(А. Пушкин, 1829, «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»)

да, ветра, запахов. И Гольдман все время инфантильно мечтает о деревенской жизни, как о возможности соединиться с миром, навязчиво возвращаясь «к своей деревенской мечте, с которой, на самом деле, он никогда не расставался, и как она осталась запечатленной в памяти после его последнего визита, сливаясь с воспоминаниями, которые он носил в себе с давних пор, когда время от времени проводил школьные каникулы у Йоэля и Ципоры, живших несколько лет с детьми в мошаве, где у них было большое хозяйство. В памяти остались картины, будто высвеченные чудным светом покоя и гармонии, где всегда были синее небо, зеленая трава и бурая земля, и аллея темно-зеленых кипарисов с их запахом пыльного лета, таким резким, опьяняющим, и Ципора в их тени, подстригающая траву для гусей, и плодовые деревья с побеленными стволами, они с Ермияху однажды покрасили их, и крики разгневанных петухов-гордецов, и этот мягкий покой белого света, плывущего с востока, и неожиданная глубокая тишина, и участок зеленых кустов клевера, где в утреннем, еще прохладном субботнем воздухе стоит Авиноам в мокрых сандалиях и обрезает кусты серпом, и шумный курятник с теплым воздухом перьев, помета и только что снесенных яиц, собранных Эстер в ведро, и участки перца, помидоров и огурцов в остром свете дня, когда Авиноам проходит вдоль политых грядок, загорелый, красивый, вся жизнь перед ним, а дальше, за огородами, необъятные дикие поля сухой травы и цветов, где-то вдалеке переходящие в затуманенные сады, бегущие до самого голубеющего горизонта, он так любил на них смотреть в мягком, но еще теплом воздухе первых сумерек, в этой тишине, когда возвращался с Меиром или с Ермияху в двуколке с дальних участков за небольшой эвкалиптовой рощей, расслабленный, отдавшийся приятной усталости тела, или, прислонившись к стенке коровника, полного запахами сена, свежескошенной травы и помета, смотрел на Авиноама, сидевшего на табуретке и доившего корову плавными, ритмичными движениями, коров было пять, они при этом стояли неподвижно и безмятежно жевали, а струи молока били в ведро между ног с однозвуч-

ным шумом, и перед ним тоже была вся жизнь, и он знал, что в этой деревенской жизни его спасение...»

В отнюдь не святой троице антигероев-отщепенцев любопытен еще один персонаж по имени Цезарь, фотограф, отломившийся от «рода» через эротоманию и презрение к семейной жизни, он разворачивает перед другом «свои теории об идиотизме брака и крушении самого “института семьи” в современном мире, который становится все более текучим и стремится к аморфным ситуациям и отношениям», мол, «брак предназначен только для тех, кто не любит, потому что осуществление любви в браке это ее смерть». Но именно Цезарь, перелетающий от женщины к женщине, как пчела от цветка к цветку, в итоге, неумоимо трудится на благо продолжения рода.

Но в меланхолии Шабтая, в этом сквозняке смерти, веющем сквозь его романы, есть еще одна, и очень важная причина. То самое поколение отцов-основателей, бойцов и тружеников, было не только поколением, это была группа людей, объединенная общим происхождением, культурой и идеологией. Они были выходцами из Европы, и, как жена Лота, все время оглядывались на нее, без нее мучились, ненавидели эти пески и суховеи, и не могли, как ни старались, и фанатично старались, вжиться в эту чужую, за что ни возьмись, землю, это было хуже, чем ностальгия. Вот, например, история бабы Клары: «Мать Цви, Эрвина и их младшего брата Миши, уехавшего с женой в Аргентину, и еще четверых детей, двое из которых, мальчик и девочка, умерли в младенчестве, одна дочь погибла в Шoa, а четвертый сын, Юлий, был в партизанах, а после войны стал большим человеком в коммунистической Польше, он не подавал признаков жизни все годы, что занимал высокий пост в партии и органах безопасности, только в последнее время связь с ним возобновилась через брата в Аргентине, хотя он по-прежнему считал себя «поляком», точно также как брат Беша, живущий в Австралии, куда убежал от нацистов, продолжал считать себя немцем и утверждать, что ни Гитлер, ни Розенберг, и никто другой ни в праве определять для него кто он и что он,

и отнять у него его немецкость. ...только Мишу, которого она так любила и верила, что он может придать ее силы, она так больше и не увидела, потому что в это время он был занят своими делами в Аргентине и, несмотря на вежливые призывы Цви приехать, повидать мать в последний раз, не смог все бросить и прилететь в страну, где она умерла и была похоронена через сорок лет после того как впервые приехала, убежав от всех бед, с мечтой о Сионе, и притащила с собой мужа, деда Давида, который был довольно успешным скорняком и торговцем пушниной, и еще казначеем в синагоге, но она сразу же разочаровалась в Стране, оказавшейся не такой, как рисовало воображение: среди белых квадратных домиков протянулись пустынные, слепящие под тяжелым светом солнца пески, попадающие в обувь, в еду, царила жара и тучи мух, и баба Клара почувствовала себя чужой и обманутой, и прошли долгие годы пока это чувство ослабло и перестало быть таким острым, а до той поры она громогласно выражала свое разочарование залпами проклятий на идиш, польском и русском, потоком злых слов, полных презрения и обиды, и палила ими во все стороны, стараясь даже усилить их громкость сверх всякой меры, потому что они еще и доставляли ей удовольствие, веселя тех, кто ее слушал. Она возмущалась жарой, людьми, вкусом воды, раввином в синагоге, ценами, формой домов и улиц, мухами, пылью, воем шакалов, не дающим заснуть, так что приходилось каждую ночь, ложась спать, затыкать уши ватой, кроме субботы и праздников, когда она ложилась раньше, это было законом, а после того, как Миша уехал с женой в Аргентину с целью разбогатеть». Или – о родителях Теилы: «Они приехали в Страну сразу с началом Мировой войны, но и спустя много лет по-прежнему говорили с чудовищными ошибками, иврит оставался для них чужим языком, а между собой и с друзьями они говорили только по-польски, особенно мать, красивая, ухоженная женщина, всегда элегантно одетая, так и не сумела, или не хотела приспособиться ни к жаре, ни к свету, ни к шуму этой «Палестины», и смотрела на нее взглядом чужим и гордым». И почти все они были комму-

нистами и считали, что борются не за землю, а за идею, и у них не срослось с этой землей. Культура, которую они создали (Дан Бен Амоц, Ури Зоар, Йорам Канюк, Авраам Б. Йегошуа, Иошуа Соболь, Ури Авнери, Давид Авидан, Аси Даян, тот же Яков Шабтай), была культурой на песке – без прошлого и веры: в библейской истории и вере они видели врага Нового Израиля, а «их» культура должна была вырастить новый народ и построить в этих песках «город Солнца», назло старой Европе. Но, как и у коммунистов-евреев в России, тоже строивших новый мир в дикой Гиперборее, новый народ не получился: без корней нет ветвей, без прошлого ты никто, перекасти-поле. И дав развод еврейскому прошлому, они полюбили диких детей этой земли, которую сами в тайне ненавидели, они полюбили арабов, живших естественно, своим прошлым, не сомневаясь в нем и его продолжая. Возненавидев свое прошлое, они полюбили чужое, как и их братья в России и Европе, пытавшиеся забыть о происхождении и слиться с «коренными народами» на их исконных землях. А роды, как леса, живут на земле, ее соками.

ЯАКОВ ШАБТАЙ

МЕМОРАНДУМ ГОЛЬДМАНА

Роман



ISBN 978-965-7848-88-3

© עדנה שבתאי, חמוטל שבתאי ואורלי פוקס-שבתאי 2026

© Наум Вайман, перевод на русский язык, 2026

© Dan Hadani Collection, The Pritzker Family National
Photography Collection, The National Library of Israel

© Юлия Дозорец, оформление, 2026

© Книга Сефер, издание, 2026

Проект “Написано в Израиле”
Издательство “Книга Сефер”, Израиль, 2026
<https://www.knigasefer.com>
<https://www.facebook.com/KnigaSefer/>
knigasefer2002@gmail.com
(972) 502423452